

ISSN 0132-2036

# ЮНОСТЬ

8 '91







**Наталья ПАШУКОВА. г. Москва**

«Праздник». Холст, масло. 1990 г.

«Рождение». Холст, масло. 1990 г.





# ЮНОСТЬ



(435) 8 '91

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК

ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН  
В 1955 ГОДУ

Редакционный совет:  
Председатель —  
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Василий АКСЕНОВ  
Анатолий АЛЕКСИН  
Аркадий АРКАНОВ  
Юрий БОЛДЫРЕВ  
Борис ВАСИЛЬЕВ  
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ  
Генрих ИГИТЯН  
Игорь ИРТЕНЬЕВ  
Фазиль ИСКАНДЕР  
Кирилл КОВАЛЬДЖИ  
Алексей КОВЫЛОВ  
Александр ЛАВРИН  
Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ  
Игорь ОБРОСОВ  
Мария ОЗЕРОВА  
Юрис ПОДНИЕКС  
Юрий ПОЛЯКОВ  
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
Виктор РОЗОВ  
Александр СЕРЕБРОВ  
Евгений СИДОРОВ  
Виктор СЛАВКИН  
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ  
Лев ТИМОФЕЕВ  
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ  
Юрий ЩЕРБАК  
Григорий ЯВЛИНСКИЙ  
Глеб ЯКУНИН

## В НОМЕРЕ:

### Проза

Василий АКСЕНОВ. Московская сага. (12)  
Юрий ПОЛЯКОВ. Парижская любовь  
Кости Гуманкова. Повесть. (35)  
Эрик АМБЛЕР. Маска Димитриоса. Роман. (53)

### Поэзия

Вячеслав БАШИРОВ (9)  
Булат ОКУДЖАВА (10)  
Александр БЕЛЯЕВ (11)  
Марина КУЛАКОВА (26)  
Анатолий ЦВЕТАЕВ (26)  
Вера БУРДИНА (27)  
Анна ЛЫСЮК (81)

### Публицистика

Юрий БЕЛИКОВ. Я пришел дать вам долго (2)  
Георгий ФЕДОТОВ. О национальном покаянии (6)  
Майя КОМИССАРОВА. Вот приедет из Австрии... (33)  
Виталий КОРОТИЧ. Наедине (68)  
Вид с 14-го этажа. Несколько вопросов академику Юрию Алексеевичу РЫЖОВУ (80)  
20-я комната. Журнал в журнале, № 4 (89)

### Критика и литературоведение

«Без иллюзий» (28)  
Николай АНАСТАСЬЕВ. Всё во всем.  
«Улисс» Джеймса Джойса (30)

### Культура и искусство

Виктор ЛИПАТОВ. На краю бездны (32)  
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Дело было в городе Владимире (82)

### Спорт

Дмитрий ПАСЫНСКИЙ. Неутраченные иллюзии (84)

### Зеленый портфель

Герман ДРОБИЗ. Из цикла «Входят трое» (86)



# РУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Юрий БЕЛИКОВ

## Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ДОЛЮ

(Записки кладоискателя)

«Копайте, копайте, ребята, может быть,  
найдете два-три земляных ореха», —  
сказал бы Джон Сильвер.  
И был бы не прав...

Предупреждая вспышку «золотой лихорадки», автор изменил некоторые географические приметы.

25 июня 1982 года в 5.40 утра я вышел на автобусную остановку. В 6.10 из Свердловска в Чусовой прибыл профессор Анатолий Малахов, паладин самоцветов, геолог-фантаст.

В памяти прокручивается телефонный разговор:

— Мои коллеги прохладно восприняли весть о вашем участии в экспедиции. Но ничего, Юрий. Доставайте лодку. Там, в тайге, я вас буду «мирить».

...Зашел как-то к профессору Малахову, известному знатоку камня, старый учитель старатель Шахмин. Развернул на столе сверточек. Блеснула хитровой зеленью малахитовая плиточка. Да какого-то необычного подбора. Рисунчатого. Словно природа свои разводы с неким умыслом расставила.

Как попала к Шахмину эта крышка от малахитовой шкапулки, Бог весть. Самого старателя давно уж на свете нет. А плитку профессор приобрел для своей коллекции: «Будет пепельница для курящих друзей».

Так и стояла пепельница. Ждала своего часа. И однажды смутила она чем-то свердловского хирурга Анатолия Мельничука:

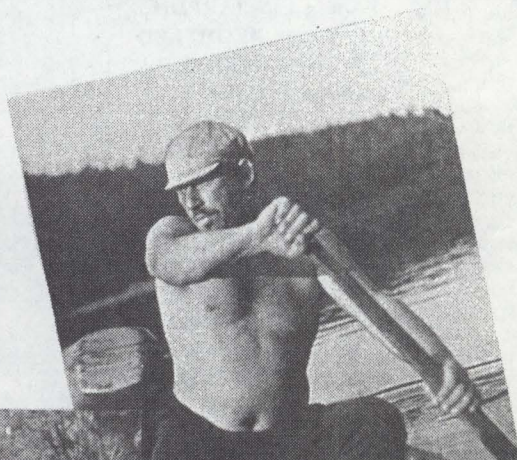
— Тут что-то не так.

Стал Малахов пристрасно «пытать» малахитовую плиточку, и открылись ему... лики! Бунтующие и скорбные, объятые страстью и закованные надменностью, мужские и женские, пожилые и юные...

Вглядываясь в обнаруженные им лики, Малахов подметил одну особенность. Головы мужчин были увенчаны высокими шапками. Такие шапки носили во второй половине XVIII века.

Вокруг необычной находки завязалась дискуссия. В «Химии и жизни» кандидат геолого-минералогических наук Локерман писал, что вещества, подобные малахиту, неравномерно отражают свет и на полированной поверхности кажутся покрытыми микрорельефом — буграми и ямками, сочетание которых легко принять за изображение. Значит, если учесть, что малахит — камушек коварный, а Малахов — автор научно-фантастических новелл, то зашифрованная летопись — игра богатого воображения.

Магма сенсации потихоньку остывала. И вот я неожиданно узнал, что доктор геолого-минералогических наук Малахов готовит экспедицию в верховья реки Чусовой. Цель экспедиции — поиск пугачевского клада. Звоню в Свердловск. Бо-





дым голосом профессор сообщил мне, что клад и малахитовая крышка — звенья одной цепочки.

...В этом месте Чусовая пытается на себя оглянуться. Мускулом гигантского плеча выгибается ее русло в излучину. Если взобраться на самую высокую точку правобережья, вдаль, где начинается поворот реки, видны очертания Белого камня. Подводная часть его надменно выпирает в реку, как нижняя челюсть. Бурлит вода вокруг Белого, точно кипящее молоко. Ниже по течению застыл огромный каменный парус. Народная молва нарекла его угрожающе: Стервятник. В старину, до того как Стервятник был взорван, почти наполовину загромождал он русло Чусовой. Не глазей по сторонам, подплывая к Стервятнику! Но как не глазеть, ежели на высоченную скалистую площадку по сигнальному костру с Белого камня выскочили и пляшут нагие девки, машут зазывно пестрыми платками?! Обалдеет купчина, рот разинет, и летит на Стервятник барка, премохонько в руки поджидающих с дубьем да кистенями угрюмых мужчин.

Рассказывают, что в 1774 году пришел сюда с верховий повстанческий отряд. Верные Пугачеву люди схоронили в расщелинах скал тайнственный груз. Схоронили, чтобы вскоре сгинуть в боях под Казанью. А в бездну времени покотилась восточка о шести бочонках с золотом...

Именно в этом месте останавливаем измученную на перекатах лодку. В подкову небольшого залива уткнулись «казанка» и плоскодонка. На рыболовной жилке, соединившей два шеста, — серебристая гирлянда хариусов, чуть тронутых солнцем. В прогалинах между ветвями вспыхивает красное полотно палатки. За длинным вкопанным в землю столом загорелая батага. Во главе — профессор Малахов. По правую руку его, как я потом узнал, крижисто восседал Юрий Белоусов. Рядом с ним — атлет с бархатной черной бородкой — Игорь Кириллович. Дальше — Александр Сергеев, худощавый, жилистый, протиснется в любую расщелину. На противоположной стороне стола — Николай Косинов, посмеивающийся, с ястребиным носом, в неизменных лохмотьях от тельняшки и помятой шляпе зеленого фетра. Из-под надвинутой белой кепочки хлопал светлыми ресницами весь в рыжеватой щетине немногословный Анатолий Рычков. Сверкал быстрыми глазами Станислав Щербаков.

Батага встретила меня испытующе и несколько растерянно. Признаться, не думали они, что я разыщу их в лесной глухомани. Поэтому за столом с минуту висела тишина.

— Ну что ж, восходите к Сфинксу! — вдруг коротко, словно продолжая начатый разговор, сказал профессор.

Утоптанная тропа увела нас в гору. Меня и моего проводника, лодочника Витко Кондакова, сопровождала Белоусов и Щербаков. Поправляя охотничий нож на боку, Белоусов сумрачно усмехнулся:

— Пять лет здесь ходим. Асфальт прокладывать можно. Тяжело дыша, выбрались на каменистую площадку. Темным, немигающим глазом смотрела на нас пещера. У входа ее старческий мешком собрались гранитные глыбы. Высоко над пещерой, там, где свисали выше из пород корни сосен, — розоватый от бликов солнца каменный исполин. Львиные лапы, переходящие в женскую фигуру...

...Мы — у подножья Сфинкса. Малахов и я. Остальные вновь пошли на лодке к Белому камню. Там на перекатах бешено берет хариус — надо пополнить запасы продовольствия.

Малахов говорит:

— Находка эта перекочевала к нам из XVIII столетия. Малахит наклеен на мрамор. В XIX веке камнерезы применяли уже металлическую основу. Предполагаю, что неизвестный мастер был крепостным Демидова. В мастерских заводчика занимался он малахитовым делом. А когда восстание Пугачева хлынуло к демидовской вотчине, сменил шлифовальные круги на резец и пику. Возможно, этот камнерез был из приближенных Емельяна. Иначе как объяснить такое скопление портретов людей, весьма похожих на повстанцев, а по описаниям — даже на некоторых сподвижников Пугачева. Вот бородатое волевое лицо. Высокая шапка монарха. Рот открыт в крике, будто человек призывает кого-то. Думаю, что это сам Емельян. В уголке плитки — портрет человека с восточными чертами лица. Не Салават ли Юлаев? У каменного лестка — мельчайший профиль. Большой вздернутый нос. Шапка съехала на левое ухо. Быть может, Иван Белобородов — полковник пугачевского войска? А ведь был он родом как раз с Урала, из-под Кунгура. На плитке есть целые жанровые сцены. Самая потрясающая — сцена порки крепостного. Видите: лежащий навзничь нагой человек. Нисходящие линии над ним — бичи. Ниже — Божья

Мать. Чтобы не видеть происходящего, она отвернула лик. А вот и дата завершения уральским Нестором каменной летописи: 1787 год. Под микроскопом цифры просматриваются хорошо...

— Есть ли у вас доказательства экспертов, что малахит рукотворен?

— Я «испытывал» плитку ультрафиолетом. В этом помог мне свердловский криминалист Патрушев. Выяснилось, что верхний слой малахитовой плитки иной по структуре, чем сам камень. Вещество излучает бледно-зеленый свет. Этого с малахитом в ультрафиолете быть не может. Предполагаю, что неизвестный мастер пользовался чем-то вроде эмали. Или при повышенной температуре втирал в камень малахитовую крошку с клеем? Неизвестно. Вероятно, рисунок шел не по малахиту, а по его покрытию.

— Как объяснить применение шифра?

— В екатерининские времена дух пугачевщины уничтожался на корню. Потому, наверное, мастер и зашифровал рисунок. Правда, для шифра могла быть еще одна причина. При исследовании плитки я сначала обратил внимание на портреты. Затем глаз зацепился за пейзажи. И вдруг в одном из этих пейзажей заметил извивы букв. Буквы сложились в слово: Тавату. Таватуй! Это же озеро близ Свердловска! А крошечные камни на малахите — скалы реки Чусовой! Начал еще внимательней изучать плитку. Открылось потрясающее: слово «КЛАДЪ». Легенда о пугачевском кладе, схема на малахите, очертания чусовских камней двоились, зыбились, пока не сошлись в одной точке... В эту точку летом 1972 года прибыла первая поисковая экспедиция. Среди ее участников был лозоходец из Ташкента, геолог Борис Бондарев. Лозоходец — это человек, который с помощью обычной ивово-вой лозы, реагирующей на «позывные» земли, может чувствовать пустоты, воду и различные месторождения, залегающие под землей. В научных кругах к феномену лозоходцев относятся неоднозначно. Без комментария я приведу только факт, подтвержденный затем научным исследованием. Над одним из участков породы лоза Бондарева среагировала на золото! Глубина залегания, по его определению, составила 15 метров. Мы оконтурили найденную аномалию. Через год у скалы, которую мы нарекли Сфинксом, были свердловские геофизики Слукин и Сконечный. Они установили здесь потенциометр — прибор, фиксирующий силу тока в электрической цепи. Проходя через различные породы, сила тока изменяет свой характер. Так можно определить глубину залегания любых природных пластов. Словом, Слукин и Сконечный пришли к выводу, что глубина той аномалии, которую «засек» Бондарев, равна 13 метрам. То есть почти один к одному. Золота они не обнаружили. Потенциометр не может зафиксировать золото, если оно в таре. А, по легенде, клад должен находиться в бочонках. Что ж... Попытались пробиться к кладу через вход в пещеру. Безрезультатно. В 1914 году на Урале заклинило все сейсмографы. Землетрясение с эпицентром в Первоуральске сместило многие породы карстовой пещеры. А ломиками, сами понимаете...

— Профессор, в своей книге «Знаки бессмертия» вы рассказывали об интрогеоскопе — аппарате, который просвечивал горные породы. Сначала — еще в XVIII веке — его изобрел уральский ученый Карамышев, дерзко назвав «Просветителем». Изобретение было утеряно. В нашем веке перед самой войной инженер Брудов из Свердловска повторил опыт Карамышева. Судя по записям Брудова — их вы воспроизводите в «Знаках», — с помощью этого прибора можно было узнать, что залегает под породой, на какую глубину и сколько. Помнится, вы описывали такой курьез: Брудов с интрогеоскопом шел мимо университетского здания геологического факультета в Свердловске и обнаружил под ним месторождение медной руды! Инженер погиб на фронте. Прибор снова исчез. Неужели, Анатолий Алексеевич, никто не пытался его воссоздать?

— Пытался. Если не возражаете, сейчас вы можете увидеть эту попытку.

— Интрогеоскоп?!

— Мой аппарат еще проходит стадию испытаний...

Малахов расстегнул походную сумку, осторожно вынул из нее таинственное устройство и жестом пригласил меня последовать к месту разработок. По просьбе профессора я опустил деревянную лестницу в неширокую, глубиной около двух метров воронку. Спустившись на одну ступеньку, Малахов вытащил прибор. На первый взгляд, он не представлял собой ничего сверхъестественного. Медная рамочка, вставленная в алюминиевую рукоятку. Об этих рамках — прямых наслед-



ницах ивовых рогулек — немало писалось в научно-популярной литературе. В Новгороде, например, по отклонению такой рамки была обнаружена старинная каменная стена, скрытая под землей, в Болгарии — еще до раскопок древних захоронений — «прочитаны» драгоценности. Но у профессора имелись свои пристрастия к испытанному коньку биолокации — датчики. Они напоминали круглые и квадратные батарейки уменьшенных размеров. В их устройство Малахов меня не посвящал. Знаю лишь одно: его походный арсенал составляли датчики глубины, веса и типа аномалий.

Рамка наматывала вокруг своей оси определенное количество оборотов. Ее словно раздражало то, что находилось под землей. Недра посылали сигналы, и прибор «считал» эту пульсацию. Профессор менял датчики и напоминал врача, внимательно прослушивающего земные хрипы. Прибор показывал: глубина — 3 метра, тип — алмазы и золото, вес — до 200 килограммов.

— По моим расчетам, осталось пройти не более метра, — объявил профессор, выбираясь на поверхность. — Завтра мы должны проникнуть к пугачевскому кладу!

Работать у Сфинкса, как и подниматься к нему, можно было только гуськом. Первый в яму прыгнул тощий Сергеев. Расширив ломиком сужающееся дно и собрав колотую породу в кухонный бак, поданный на веревке Рычковым, он уступил место Белоусову. Заухала кувалда.

— А если рвануть? — предложил я.

— Нельзя. Мы и так работаем осторожно — все осыпается. Взрыв — и у Чусовой горло раздавлено! — махнул рукой Кириллович.

Работали без обеда. Солнце, сочась сквозь ветви, постреливало уже с противоположного берега.

— Три метра! — объявил Белоусов. Вылез на свет, размазывая грязь на потном лице.

— Гнуты наши ломы, — первым подал голос Косинов.

— Да и отпуска кончаются, — заметил Рычков.

— Надо долбить еще метр! — предложил Кириллович.

Так и решили. После третьего метра прибор зафиксировал «нуль» по шкале глубины. В таком положении эта шкала оставалась и дальше. Но стоило поднять прибор вверх, как она снова «играла». Малахов недоумевал.

В одной из своих книг профессор писал о том, что золото и алмазы, находясь в сообществе, имеют свойство влиять друг на друга и путать показания приборов. Но ведь под ногами темнело уже семь метров гранита! Семь метров — и конец отпусков...

Я изучил документы ставки Емельяна Пугачева. Сразу скажу: ни о камнерезе-казначе, ни о крупных денежных суммах, тем паче драгоценностях там не упоминается. Однако это не означает, что казны и казначея не было. Не все рукописи могли уцелеть. Пугачев, объявивший себя Петром Федоровичем, в строении своей армии исходил во многом из опыта тогдашней государственной иерархии. Полки, Государственная военная коллегия, Походная канцелярия... Вполне возможно, и даже наверняка — учтем природную хозяйскую сметку Емельяна Ивановича, — у него имелась собственная — «императорская» — казна. А стало быть, и люди, отвечавшие за ее расходование и пополнение. И вот тут я наткнулся на одно загадочное письмо. Емельян пишет своей жене, крестьянской «государыне» Устинье Кузнецовой. Пропуская всевозможные августейшие любезности, цитирую: «При сем послано от двора моего с подателем сего казаком Кузьмою Фофановым сундуков за замками и за собственными моими печатями, которые по получению вам, что в них есть, не отмыкать и поставить к себе в залы до моего императорского величества прибытия».

Письмо, датированное февралем-мартом 1774 года, было отправлено в Бердскую слободу под Оренбургом, в дом казака Ситникова — «дворец Пугачева». Вспомним легенду: именно в этом году на Чусовую снаряжается отряд, переправлявший драгоценный груз.

Сундуки за замками и печатями, которые Пугачев отмыкать не велит до своего прибытия... Ясно, что в них находилось нечто очень важное. Что? Ни оружия, ни архивов — вряд ли Емельян придавал такое строгое значение бумагам — там быть не могло. Делаю предположение, что опечатанные сундуки скрывали будущий клад.

Профессор Малахов с помощью расшифрованной схемы на малахитовой плитке и биолокационного метода определил вероятное местонахождение пугачевской залежи. Прodelав длительный путь от тщательного изучения своей находки до пристального «прослушивания» чусовских пещер, он выстроил увлекательную гипотезу. Насколько верили в нее люди,

оказавшие его? Я не раз спрашивал об этом. Они неопределенно пожимали плечами. Но ежели кто-либо становился свидетелем поистине героического крушения ими камня, они заносили его имя в особый список посвященных и мрачно шутили:

— Он от нас не уйдет.

Возвращаясь в то лето по ночной реке в Чусовой, мы условились с Анатолием Алексеевичем списаться поближе к весне и установить сроки будущей экспедиции. Однако на письмо мое Малахов не ответил. Не откликнулся и Кириллович, координатор кладоискателей. Оказавшись в Свердловске, я позвонил профессору. Встретил он меня как-то настроенно, говорил скупно и туманно. Я попросил показать малахитовую плитку. Анатолий Алексеевич, странно заволановавшись, сказал, что она находится вне пределов дома в особом сейфе, потому что будто бы ее кто-то пытался выкрасть.

Подшло лето. Я томился догадками. Не раз, проезжая по автомобильному мосту через Чусовую, ностальгически смотрел, как в верховья реки уходят лодки. Наконец не выдержал, толкнулся в береговую хибарку Вити Кондакова, моего испытанного проводника, и мы, быстро собрав кое-какие пожитки, отправились к знакомому камню.

Прибыли. На стоянке — куча картошки, вываленной на землю. Под столом, за которым обычно проходила наша трапеза, — груда обуви, не бросовой — добротной: ботинки, кеды. Шесть пар. Тут же полосатые лохмотья — майка Косинова. Поодаль — неразобранное металлическое приспособление для очага. Вверху, у Сфинкса, брошенные как попало ломы, кувалда и два новых хода, прорытых неподалеку от пещеры!

Что произошло? Никогда в таком расхристанном состоянии эти люди стоянку не оставляли. Ломы прятали в тайники, приспособления для очага развинчивали и прятали тоже. Тем более новехонькую обувь. Сами же ворчали на туристов-байдарочников, имеющих свойство все ломать и растаскивать.

Значит, случилось одно из двух. Или они обнаружили клад (тогда все остальное становилось лишним грузом) и спешно сели в лодки. Или поставили мысленно крест на этом тягостном берегу: будь ты неладен!

Вернувшись домой, я снял телефонную трубку.

— Здравствуйте, Анатолий Алексеевич. Я был у Сфинкса. Чем закончилась экспедиция?

— Я ничего вам не отвечу. И не звоните мне больше!

Вскоре я узнал, что профессор Малахов умер...

Участвовал ли он в последней экспедиции? Или его подручные вели работы по расчетам Анатолия Алексеевича? В чьих руках находится сейчас малахитовая плитка — раскрытая ладошка прошлого, причудливые линии которой рассказывают нам о судьбе России второй половины XVIII века? Кто гадает теперь по этой ладошке?

...Шестнадцать лет прошло с того колдовского мига, когда рамочка геолога-лозоходца Бондарева, антенной взметнувшись над черным трансляционным раструбом чусовской пещеры, среагировала на золото. Как у овчарки, натасканной на наркотики, у Бондарева был нюх на кладези презренного металла. Причем в шарлатанстве, если бы этого возжаждал какой-нибудь научный инквизитор, Бориса Владимировича уличить было невозможно. Он был профессиональным оператором-биолокационным, не раз находил золото, о чем писала республиканская пресса. На протяжении этих лет Бондарев вел скуповатую переписку с Малаховым, но на его кладоискательский приоритет не посягал. Кончина профессора открыла перед ташкентским лозоходцем собственный путь к уральскому Сфинксу. На клич старого геолога пришли шахтеры Янгиабада под предводительством секретаря горкома ВЛКСМ Романа Пегова. Явились спелеологи из Москвы во главе с арбатским менестрелем Андреем Жеребятевым. Объявился и еще один небезызвестный романтик — Николай Иванович Рыжков. Бондарев написал ему письмо с подробным изложением истории поиска пугачевского клада. Свердловскому объединению «Уралгеология» поручили содействовать готовящейся экспедиции.

Через шестнадцать лет Бондарев отыскал заветную точку. Исследовав ее, он сначала разочаровался: кругом чернели лазы, шурфы, громоздилась колотая порода. Однако вскоре лицо лозоходца прояснилось. Над объектом «у» рамочка, как и прежде, отвесила земной поклон. Значит, клад на месте?

Убежден: любая история, равная летописи с поиском пугачевского клада, не обходится без загадочного и мистического. Надо же было такому случиться, что в начале июля 1988



года, не сговариваясь, к Сфинксу съедутся бондаревцы, малаховцы и аз грешный со товарищи! Представьте себе картину: сперва наша лодка шуршит носом по осоке, и я с мезитом-фельской усмешечкой говорю дорожному седому дядьке: «Здравствуйте, Борис Владимирович!» — и у того очки на лоб лезут, а потом приезжают Белоусов с Кирилловичем и глазам своим не верят: на их законном месте с десятком палаток раскинуто!

Не знаю, как насчет малаховцев, но моему появлению Бондарев в конце концов обрадовался. Я поделился всем тем, что отложилось в памяти со времен последней экспедиции Малахова. Лозоходец познакомил меня с кое-какими историческими свидетельствами о существовании казны Пугачева и — самое главное — поведал о вероятном месте нахождения малахитовой плитки. Была и другая причина, по которой мое неожиданное соседство устраивало Бондарева. К тому времени между Борисом Владимировичем, янгибадцами и москвичами наметились трещины будущего раскола.

— Рогом и копытом рыли, — сетовал геолог, — когда разобрали взорванный пугачевцами вход. Он вел в зал пещеры. Потом пошли трудности. И туда расщелины, и сюда расщелины. Порыв захлебнулся. У многих отпуска на исходе, а бочки с кладом не выкатили. Поэтому сейчас мне нужны надежные люди, которые не боятся пещерной темноты и физически выносливы. Беру тебя в долю.

Я пообещал Бондареву найти таких людей. Кстати, Коля Шамов, шустрый чувсовский шофер, уже скорчился со многими кладоискателями и вместе с москвичом Андрюхой Жеребятевым разрабатывал свою версию выхода на пугачевскую казну. По их мнению, нужно было сдвинуть с места огромный камень, очевидно, отколовшийся от пещерного свода при взрыве. Из-под этой угрюмой глыбы тянуло сильным холодом.

— Сердечко вешует, — карябал себя пальцем по груди Коля, — клад здесь.

Сей камень покоился рядом с тем заброшенным шурфом, в который шесть лет назад спускался с интроскопом профессор Малахов. Между прочим, Бондарев показал мне расшифровку цифр, обнаруженных профессором на малахитовой плитке. «Имеющий силу в руке (цитирую по памяти) в час равновесия сдвинет камень символического значения...»

«Час равновесия» — явно полдень. «Камень символического значения» — может быть, подразумевается тень, указующая исходящая от головы Сфинкса?

Я понял, что кладоискательство — это такая ветхозаветная болезнь, при которой никто не может предсказать, как поведут себя больные. Бондарев, например, не таясь, поговаривал:

— Я устал жить на одну пенсию. Когда клад будет найден, даже если его найдут в мое отсутствие, половина принадлежит мне. В случае чего, меня ждет космонавт Джанибеков с вертолетом.

Коля Шамов отвечал деду:

— Ты же умный человек, с высшим образованием. Закон должен знать. Нашедшему клад — двадцать пять процентов дохода. Кто найдет, тот и получит.

Серьезными претендентами на клад были и Белоусов с Кирилловичем, оставившие на стоянке своего эмиссара Станислава Щербакова.

Право, не ведаю, как бы ты повел себя, читатель, если бы выкатил из пещеры шесть бочонков с драгоценностями, в одном из которых должна находиться корона Пугачева, увенчанная большим алмазом. Клянусь Джеком Лондоном, я бы за себя не мог поручиться.

К двадцатым числам июля у Сфинкса оставалось двенадцать человек. К тому времени часть янгибадцев и москвичей покинула лагерь. Ряды кладоискателей пополнили двое свердловчан и два чувовлянина. Вскоре вышли на вертикальный шурф. Он выводил из пещеры прямо под корни деревьев, на свет. Шурф находился неподалеку от того места, где «гуляла» рамочка Бондарева. Теперь по расколу в породе надо было пройти к объекту «у». Затею с камнем возле малаховского шурфа пока оставили. Попробовали сдвинуть глыбу — сломалась лебедка. Время поджимало. У Бориса Владимировича был заказан билет на Ташкент. Геолог достал авторучку и бумагу, стал кидать на листок лихорадочные буквы:

**ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Н. И. РЫЖКОВУ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТ:**

«Пройтись к кладу на общественных началах оказалось невозможным. Пугачевцы взорвали вход в пещеру в 1774

году. За двести лет природные процессы, происходящие в карстовых пещерах, надежно «запечатали» подход к сокровищам, забив до кровли ранее существовавшие лазы. Предварительную разведку данного объекта с помощью геофизических методов и бурения считаю экономически нецелесообразной. Глубина залегания казны Пугачева зафиксирована биолокационным методом и подтверждена данными электроразведки, проведенной А. А. Малаховым. В результате этих работ установлена карстовая полость, с которой связан объект «у». Предпосылки, свидетельствующие о необходимости продолжения работ:

1. Исторические сведения о наличии казны у Пугачева (Центральный государственный архив древних актов). В материале, опубликованном Я. К. Гротом, в рапорте генерал-майора Н. Голицына генерал-аншефу П. Панину от 28 августа по старому летоисчислению имеются сведения о существовании пугачевской казны.

2. Расшифровка информации с малахитовой плитки Малахова (план, разрез, фоторепродукции) дает основу для привязки немасштабного плана к местности. В одной из частей вертикального разреза карстовой пещеры наблюдаются бочки с казной, рядом — небольшое ответвление с царской короной Пугачева, в которую вделан алмаз — третий по величине в мире.

3. Шесть человек во главе с профессором Малаховым при его жизни (до 1983 года) и после его смерти в общей сложности уже одиннадцатый год продолжают систематические раскопки (по оценке А. А. Малахова, стоимость объекта «у» превышает 2 миллиарда рублей).

В истории с поиском пугачевского клада дело дошло до того, что мне звонят и пишут (без обратного адреса) подпольные миллионеры с предложением финансировать раскопки объекта «у». В случае, если государство не займется вплотную решением этого вопроса, казна Пугачева будет утрачена.

Государство не занялось. Николай Иванович Рыжков — на заслуженном отдыхе. Зато его тезка ковбой Коля Шамов теперь отдыха не знает. С тех пор как он побывал у подножия Сфинкса, им овладела окающая сила: Коля ухлопал вдребезги ведомственную машину, сам остался цел и невредим, наплевал на трудовую книжку, сколотил ух-команду и уже года два почти не вылезает из леса, затеря в долги, которые он с горячащимся хладнокровием вращивает в счет дележа будущего клада, и когда уставшая от золотоносных ожиданий Колина супруга говорит ему: «Если ты не пошьешь огуречную рассадку, я тебе, бездомный, всю башку расшибу», — Коля отвечает ей с резонным возмущением:

— Мне, миллионеру?!

г. Пермь

*Р. С. Летом 1991 года на Чусовую отправилась новая экспедиция. Автор этого материала получил строжайшее редакционное задание «Юности»: клад — найти.*

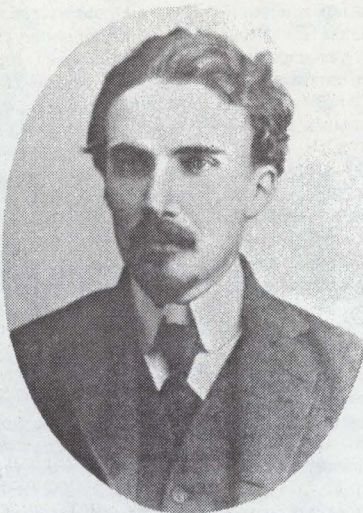


И ликует, смеясь над тобой, сатана,  
Что была ты Христовой звана.  
В. Иванов (Cor ardens)



## РУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

### Георгий ФЕДОТОВ



## О НАЦИОНАЛЬНОМ ПОКАЯНИИ

Творчество историка  
и философа культуры  
Георгия Петровича ФЕДОТОВА  
(1884—1954) — это долгая  
русская экспедиция, затруженная,  
но не прерванная и в эмиграции...

Быть может, религиозная судьба России сейчас лишена того, что называется общественной актуальностью. Внешне побежденная религия в России загнана в подполье. Верность церкви, участие в ее жизни равносильны отказу от внешней не только политической, но и профессиональной работы. Социальные процессы, совершающиеся в России, приобрели столь оголенно-материальный, стихийный характер, что, кажется, трудно внести в их бесчеловечную механику такой невосомый, такой «ирреальный» момент, как религиозная вера христианского остатка. Огромное множество живущих и действующих в России людей, особенно молодых, вероятно, просто не замечают явления религиозной жизни; во всяком случае, не относятся к нему серьезно. Утверждать при этом, что падение большевиков необходимо связано с религиозным возрождением России, кажется нестерпимой фальшью. Большеизм может пасть от саморазложения своей идеи, от сопротивления экономической стихии гораздо раньше, чем религиозность в России станет заметной общественной величиной.

Но совершенно иначе встанет вопрос, когда мы от разрушения большеизма перейдем к восстановлению России. Россия для нас — не голое «месторазвитие», не условное имя Восточно-Европейской равнины с конгломератом народностей, вовлеченных в техническую цивилизацию Запада. Представим себе, что нам суждено вернуться в освобожденную Россию и работать для нее остаток наших дней. Что мы увидим, что мы узнаем от России? Культура, моральный облик, самая внешность, от одежды до физического типа людей (отяжелевшего, заострившегося), так изменились, что мы можем не признать в них своих, как они в нас. Что же останется от России?

Язык? — он столь переродившийся, что каждое слово будет мучительно резать ухо. Земля? — единственно неизменная, всегда любимая... но которая может стать для нас кладбищем, где, среди развалин и исторических памятников, нам останется только плакать о России. Среди «младого, незнакомого» племени утешит ли нас горячка американского строительства, самодовольство грошовой просвещения, даже физическое здоровье новой, грубой расы — утешат ли они в гибели того, что мы все, даже не верующие в онтологический смысл этого слова, называли душой России? Эту душу мы ощущали безотчетно в каждой интонации родной речи, в том, что просвечивало сквозь телесно-зримую оболочку русского этнографического типа, и, сопоставляя это «безотчетное» с тем, что мы считали самым подлинным, самым русским в нашей культуре, мы спокойно констатировали их тождество. Народ и его культура были едиными. Народ творил культуру.

Не трудно видеть, что и эта культура и душа этого народа были существенно христианскими. Вся русская литература XIX века, в основном своем русле, да и почти во всех своих побегах, — была, по крайней мере в этическом смысле, христианской. Для Запада это бросалось в глаза с полной ясностью: та любовь и сострадание, та жертва и нискождение, в которых иностранцы видят пафос русской литературы, бесспорно, принадлежат к христианскому наследию в уже дехристианизированной культурной среде. Можно уточнить

и дальше и признать не только христианский, но и восточноправославный характер этой культуры. Признать родство русской интеллигенции, даже в безбожном ее стане (а может быть, особенно в безбожном), с типом древнерусской религиозности. Подвижники, юродивые, страстотерпы обернулись опрошенцами, народниками, мучениками за волю и счастье народа. Хотя отступничество от имени Христа не прошло и для них даром. Мрачные тени легли на иконописные лики безбожных праведников. Искажение, потом разложение христианской души уже начиналось — в диалектике революции.

В большеизме этот процесс разложения закончился. Ему удалось воспитать поколение, для которого уже нет ценности человеческой души — ни своей, ни чужой. Убить человека — все равно, что раздавить клопа. Любовь — случайка животных, чистота — смешной вздор, истина — классовый или партийный утилитаризм. Когда схлынет волна революционного коллективизма, эта «мораль» станет на службу личного эгоизма. Французская революция была не менее грандиозной, планетарной, эсхатологической. Но, когда волны ее потопа вошли в берега, на дехристианизированной земле поднялся и процвел мещанин — расчетливый и скопидомный стяжатель. Судьба обезбоженной России будет ли иной? Если чисто буржуазное мещанство в наш век как будто невозможно, то остаются другие формы: мещанство государственное, мещанство смешанное, наконец, мещанство социалистическое. Но и мещанство не последняя ступень человеческого падения. Человек без Бога не может остаться человеком. Обезбоженный человек становится зверем — в борьбе или домашним животным — в укрощенной цивилизации.

Культура — эти сгустки накопленных ценностей — замедляет процесс бестиялизации обезбоженного человека, задерживая его в этических, эстетических планах человеческой душевности. Вот почему слабость культурной прослойки в русской жизни беспощадно оголяет зверя. Прошедший через революцию русский человек быстро теряет не только национальное, но и человеческое лицо.

Но если это так, то восстановление России, мыслимой как национальное и культурное единство, невозможно без восстановления в ней христианства, без возвращения ее к христианству как основе ее душевно-духовного мира. При всякой иной — даже христианской, но не православной — религии это будет уже не Россия. Без религии — это не нация,

а человеческое месиво, глина, из которой можно лепить все, что угодно, камень, дерево, металл, который можно дробить на какие угодно части. Имена Евразии, Восточно-Европейского государства и т. п. уже указывают возможные формы ее гибели.

Это новое крещение России, конечно, может совершиться только силами ее христианского остатка. Он существует. Мы не только верим в него, но и знаем о нем. Он носит в себе образ и форму будущей России — если ей суждено возродиться.

Если? Возможно ли здесь сомнение? Не преступно ли самое сомнение?

Есть два рода сомнения. Одно разлагает, убивает мужество, зовет к бездействию. Иное — сомнение борца. В сущности — не сомнение, а сознание опасности, которое заставляет напрячь все силы в борьбе за бесценное благо, поставленное на карту. В борьбе, напротив, беспечность, наивная



уверенность в успехе являются нередко источником поражений. Римский сенат когда-то благодарил консула, легкомысленно погубившего свое войско в сражении с Ганнибалом: «Варрон не отчаялся в спасении отечества». Среди обуревающего многих безверия и пессимизма хочется приветствовать веру в Россию пореволюционного поколения. Беда лишь в том, что борьба наша не с внешним, а с внутренним, прежде всего духовным, врагом. Презирать его — значит открыть ему двери. Читая страницы некоторых наших мессианистов, нельзя отделаться от ощущения, что Ганнибал не у ворот, а в стенах города.

В недавно вышедшем романе Таманина «Отечество» автор сводит религиозные счеты с Россией. Его герой, пройдя сквозь муки первых большевистских лет, приходит к религиозному просветлению и вместе с тем к преодолению своего природного, натурального национализма. В этом я готов видеть положительный смысл идеологического романа. Зато страшным и религиозно необоснованным мне представляется его разрыв с Россией: «Не знаю, откуда это чувство, даже почти уверенность, — что она погибла... Не строй погиб, а страна, русская нация». И еще: «Наших мучений ни одно государственное устройство уже не стоит. А родина стоит ли? Когда-то от обольщения родиной погиб целый народ. И перед нами то же, как во дни Тиверия: опять страшный выбор между родиной и Богом сделать надо».

Не знаю, какое право имеет автор (хотя бы устами героя) говорить о совершившейся гибели России. К тому же слова эти относятся к тем годам, когда сопротивление России коммунизму носило героические формы: в военной борьбе и христианском мученичестве и мужественном сопротивлении большей и лучшей части интеллигенции. С тех пор многое изменилось — к худшему. Сжался, поредел верный остаток... И все же, пока он существует, пока духовная борьба за душу России не прекратилась, мы не можем говорить о гибели России. Таманин сказал громко лишь то, что про себя шепчут многие в эмиграции: оттого и бегут в иностранное подданство, в католичество, в чужую жизнь.

Честь молодежи, которая не поддалась малодушию и, наперекор всему, не потеряла веру в Россию. Однако и ей есть к чему прислушаться в словах таманинского героя. Выбор между родиной и Богом все-таки нужно сделать. Хотя бы для того, чтобы восстановить истинную иерархию ценностей, чтобы не в одном духе и смысле произносить соблазнительные слова: «За веру и отечество» (для других еще и «царя»).

Христос требует жертвы — самым дорогим и священным, что есть у человека: отцом и матерью, следовательно, и родиной. Так как Он есть вечная жизнь, то ничто живое в Нем не погибает. Он вернет человеку мать и отца, вернет и родину, но вернет иными, для иной, более чистой любви. Любовь во Христе есть любовь к идеальному образу любимого лица. Она не исключает и плотской теплоты и служения целостному душевно-телесному существу, но она подчиняет все низшее, хотя бы и оправданное, хотя бы и прекрасное, духовному образу. Христианская любовь к родине не может ставить высшей целью служение ее интересам и ее могуществу — но ее духовный рост, творчество, просветление, святость.

Впрочем, все это охотно признается современным мессианством. Ведь и для него высшее — духовное призвание России — благая весть, которую она несет миру. Соблазн русского мессианства в другом: прежде всего в гордости своего призвания.

Гордость призвания! И какого призвания... Как будто такое призвание можно носить легко и удобно, как хорошо сшитое платье. Такое призвание, если только помнить о нем, жерновом ляжет на плечи, бросит крестом на землю, пронзит сердце кровоточащей раной. Ведь дело идет не о чем ином, как о спасении мира. Для христианского сознания только жертва имеет спасительное значение. И так как эта жертва принесена раз навсегда за весь мир, то спасение теперь может означать лишь принятие этой голгофской жертвы, лишь соучастие в ней. Так правильно понял свое призвание польский мессианизм, основавший свою веру в Мессию-Польшу на безмерности ее страданий и ее веры.

Я думаю, что и польский мессианизм был не прав. Ибо в христианском мире не может быть народов-мессий, спасающих человечество. Каждый народ, спасая себя, участвует в общем спасении — имеет свое, хотя и неравное по дарам и значению, призвание — миссию. Но, если когда-нибудь был мессианизм относительно оправданный, то это мессианизм польский.

Русскому мессианизму всегда не хватало одного из двух

существенных моментов — или страдания (в прошлом), или верности (в настоящем). Впрочем, русские славянофилы, с присущим им религиозным тактом, никогда не говорили о мессианизме России. Однако многое из этой польско-католической идеи переносилось ими на Россию. Россия, спасающая мир, — такова была их эсхатологическая утопия. Христианская неправда ее была в том, что Россия мыслилась ими во всеоружии своей государственной мощи и славы. Жертвенное спасение подменялось империализмом Кесаря. Младшее поколение славянофилов стало жертвой этого грубого нехристианского соблазна и этим сорвало дело православного возрождения в России. Достоевский-публицист именно здесь предаст художника-провидца.

С тех пор утекли океаны воды. Совершилось — вернее, обнажилось воочию — религиозное отступничество России. Когда-то один из самых чутких глашатаев нашего христианского возрождения вопрошал Россию:

**Каким ты хочешь быть Востоком,  
Востоком Ксеркса или Христа?**

Уже поколение Александра III дало на этот вопрос ясный, хотя и бессознательный, ответ. Идеал правды был принесен в жертву славе и мощи. Стилизованный по-православному Ксеркс стал идеалом православного царя и всего русского мнимохристианского национализма. Отступничество революции было предвосхищено давно — Леонтьевым и Данилевским. Большевизм, сорвав все маски, строит Россию Ксеркса.

Если трудно издала видеть Россию, судить о происходящих в ней социальных и культурных процессах, то еще труднее судить о совершающемся в ее духовной глубине. Во всяком случае, нет ничего, что бы оправдывало безответственное ликование. Кричать сейчас о победе христианства в России — все равно, что затягивать свадебную песню на похоронах. Правящая, активная, молодая Россия, насчитывающая, во всяком случае, миллионы... глоток, гонит христианство с яростью одержимого. Горсть мучеников умирает в каторжных тюрьмах и ссылке. Масса не поднимается на защиту ее вчерашних святых. Звериная борьба за жизнь поглощает ее всецело. Трудно судить, остается ли еще уголок в ее душе, доступный нездежнему Слову. Может быть, еще как вздох о невозвратном, утраченном и невозможном...

Как бы ни оценивать силы борющихся сторон, ясно одно. Сейчас происходит отчаянная борьба за душу России и ее духовную судьбу. Сколько праведников спасают Содом? Кто сочтет? В руках архангела повисли весы над бездной, и чашка их колеблется под тяжестью бедных человеческих душ. Таково должно быть наше восприятие совершающегося. Это страшно. Это страшнее, чем у постели тяжело больного в час кризиса. И в этот час — молчания и молитвы — кощунственна осанка иерихонских труб, неуместны торжественные гимны на тему: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь...»

Если же не молчание, а слово, то о чем? Какое слово может быть религиозно действительно, может помочь спасительному выходу из кризиса? Только одно: вечное слово о покаянии.

Покаяние — ужас и отвращение к себе («и трепещу и проклинаю»), ненависть к прошлому, черта, рубеж, удар ножа, — новое рождение, новая жизнь...

Почему Россия — христианская Россия — забыла о покаянии? Я говорю о покаянии национальном, конечно. Было ли когда-нибудь христианское поколение, христианский народ, который, перед лицом исторических катастроф, не видел в них карающей руки, не сводил бы счеты со своей совестью. На другой день после татарского погрома русские проповедники и книжники, оплакивая погибшую Русь, обличали ее грехи... Жозеф де Местр видел в революции суд Божий. А в православной России не нашлось пророческого обличающего голоса, который показал бы нашу вину в нашей гибели. Это бесчувствие национальной совести само по себе является самым сильным симптомом болезни. Пореволюционные националисты в этом отношении, как две капли воды, похожи на своих отцов: националистов школы Александра III. Если от последних христианская совесть требует покаяния в грехах старой России, то от первых, стоящих на почве революции, требуется покаяние в ее грехах. Каково должно быть пореволюционное христианское сознание? Оно прежде всего исполнено ужаса перед революцией как своим грехом, грехом своего народа, и стремления начать новую жизнь, чистую от



кровавых воспоминаний, хотя и на почве, политой кровью, в условиях, созданных революцией.

Вместо этого христиане говорят о переключении революционной энергии. Это значит: та ярость, та одержимость злобы, которые сегодня направлены на построение классового и безбожного Интернационала, завтра будут направлены на созидание национальной и православной России. Какой кошмар! Рука, убивающая сегодня кулаков и буржуев, завтра будет убивать евреев и инородцев. А черная человеческая душа останется такой же, как была; нет, станет еще чернее...

Я знаю, что ничего такого не хотят пореволюционные христиане. Но, не требуя покаяния, но, преклоняясь перед разливом революционных стихий, такое будущее они готовят. Самое страшное, что в этой перспективе нет ничего невозможного. Ненависть, больная и ослепляющая, как и мания преследования, легко может изменять свой объект. Народ, который за несколько лет до революции избивал социалистов, стал избивать буржуев, оставшись, в сущности, самим собой. Если отвлечься от религиозной темы, то переключение революционной энергии в национальную — самое обыкновенное явление. Наполеон вырастает из Дантона, как Муссолини из Гарибальди. Только никакими переключениями зла нельзя получить ни скрупула добра. Оцерковленное, оправославленное зло гораздо страшнее откровенного антихристианства.

Бесконечно тяжело, что наше национальное возрождение хотят начинать, вместо плача Иеремии, с гордой проповеди Филофея. Бедный старец Филофей, который уже раз отравил русское религиозное сознание хмелем национальной гор-

дыни! Поколение Филофея, гордое даровым, незаработанным наследием Византии, подменило идею русской Церкви («святой Руси») идеей православного царства. Оно задушило ростки свободной мистической жизни (традицию преп. Сергия — Нила Сорского) и на крови и обломках (опричина) старой, свободной Руси построило могучее восточное царство, в котором было больше татарского, чем греческого. А между тем Филофей был объективно прав: Русь была призвана к приятию византийского наследства. Но она должна была сделать себя достойной его. Отрекаясь от византийской культуры (замучили Максима Грека!), варварская рука схватилась за двуглавого орла. Величайшая в мире империя была создана. Только наполнялась она уже не христианским культурным содержанием.

Трижды отрекалась Русь от своего древнего идеала святости, каждый раз обедняя и уродуя свою христианскую личность. Первое отступничество — с поколением Филофея, второе — с Петром, третье — с Лениным. И все же она сохраняла подспудно свою верность — тому Христу, в которого она крестилась вместе с Борисом и Глебом — страсто-терпцами, которому она молилась с кротким Сергием. Лампада преп. Сергия, о которой говорил Ключевский, еще теплилась до наших дней. И вот теперь, когда всей туче большевистских бесов не удалось задуть ее, вызывают, как Вия, из гроба старца Филофея: не задует ли он?

Будем верить, что не задует и что из всех блужданий и блуда, освобожденная от семи бесов, Россия, как Магдалина, вернется к ногам навсегда возлюбленного ею Христа.  
1933 г.

**В № 11 «Юности» за 1990 год мы опубликовали письмо много-летнего подписчика журнала А. В. Васильева из Ленинградской области. Он, инвалид, вынужден был отказаться от подписки на любимый журнал из-за возросшей цены. Такого рода писем было много.**

**Редакция обратилась с просьбой ко всем организациям, фирмам, частным лицам, кто хотел бы оказать помощь инвалидам и многодетным семьям в подписке на журнал.**

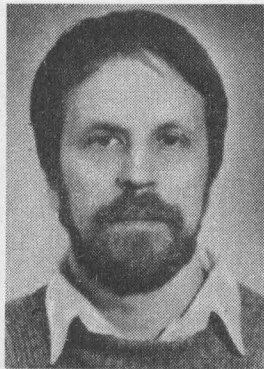
**Мы благодарим всех тех, кто откликнулся на просьбу журнала. В скобках отметим, что, на удивление, наибольшее сочувствие проблемы наших малоимущих читателей нашли отнюдь не у богатых, крупных фирм, а у рядовых людей.**

**СПАСИБО!**

**Бариновой М. М., Мансурову З. З., Дорогой С. А., Воцоловой Л. Я., Максименкову А. П., Складневскому В., Беспамятному Л. Т., а также читателю, не назвавшему своего имени, из поселка Мяунджа Магаданской области.**

**За прошедший год финансовое положение большинства наших подписчиков, судя по письмам, не улучшилось. Мы опять обращаемся с тем же призывом ко всем, кто хочет и может помочь инвалидам и многодетным семьям в подписке на журнал «Юность» на 1992 год. Мы ждем ваших предложений!**





**Вячеслав  
БАШИРОВ**

### *От имени народа*

Вещали нам от имени народа,  
скупали мы от имени толпы,  
звучали речи гуще год от года,  
трещали небеса от похвалыбы,  
Одолевала всех одна забота —  
безвольную дремоту одолеть...

Не спи, народолобец, не копи ты,  
не все, певец, успели нам воспеть!  
Свободу подрифмуешь ты к народу,  
а на него есть рифма — баловство...

Но вот, представь, действительно — свобода!  
И что с ней делать, делать-то чего?..

Одни не видят брода из болота,  
другие не хотят расстаться с ним.  
А кое-кто в огонь и воду — с исходом  
за Патриот Народычем Квасным,  
взывающим от имени народа,  
от имени и отчества его  
к походу на... Попы иных приходов  
зовут кого-то также на — кого?..  
Когда одни во всех народных бедах  
винят других, то изо всех свобод  
нужна единственная — виноватых  
сыскав, им, гадам, сделать укорот!..

Что хочешь пой, но только бесноватых  
на смертный бой не поднимай, рапсод!  
Кому-то, понимаешь, очень надо  
раздор в народах сеять и разброд...

Неопытную, юную свободу  
хотят с дорожки честной совратить,  
в трех соснах с ней проделать то и это  
и, опороченную, возвратить  
под власть родительскую, — мол, паскуду  
такую надо под замком держать,  
чтоб прелестями грешными народа,  
бесстыжая не стала совращать...

### *Сон о беге*

Я видел сон. Мне снился стадион,  
где, в креслах сидя, пробегали дяди,  
причем они сидели не на том,  
на чем ты думаешь, а на зарплате...  
По кругу друг за другом  
они бежали цугом,  
и это был, как видно, марафон,  
поскольку слишком долго длился сон...  
И, кстати, результатов в смысле смысла  
я так и не увидел в результате.  
Поэтому, наверное, и смысла  
из сна, который снился, снился, снился...  
На фотографии тот сон запечатлен,  
хотя и не цветной, но групповой,  
и в книжке трудовой он воплощен  
печатью круглою.  
Вот, брат, какой факт биографии...

### *Сон об одиноком вахтере*

Когда я в тесной проходной,  
злой, непроспавшийся, дурной,  
совал в стеклянную клетушку  
за полминуты до восьми жетон вахтеру: на, возьми! —  
толкнув другой рукой вертушку,  
лица его я не видал, он нажимал свою педаль  
всегда без лишних разговоров,  
так, на мгновение одно в окошке — смутное пятно...  
Да кто же смотрит на вахтеров!..

И вот мне снится, что я сижу за стеклом  
и демонстрирую совершенство отлаженного механизма:  
вижу пропуск — нажимаю педаль,  
вижу пропуск — нажимаю педаль,  
вижу пропуск — нажимаю педаль,  
пропедаль выжимаю.

А они так торопятся прошмыгнуть побыстрей,  
будто предчувствуют, что это может случиться:  
вижу пропуск — нажимаю педаль,  
вижу пропуск — нажимаю педаль,  
вижу пропуск — нажимаю педаль,  
вижу — не нажимаю.

А они так оторопевают и накапливаются в толпу,  
и я вижу приплюснутые к стеклу лица передних,  
и я вижу, что у них есть лица,  
но они сливаются в одно пятно,  
и я куда-то проваливаюсь со страшною мыслью:  
а может быть, они все живые?

Мне снится пропасть, я ключник тот,  
который пропуск при входе рвет.

Служитель права не видит лиц,  
что прут оравой с глазами ниц.

Мне имя — камень, а им — песок.

Без счета к яме всех гонит рок.

Но я ведь тоже, как все, глядел.

За что же, Боже, мне сей удел?

Когда навек ты в душе умолк,

стал человек человеку — долг.

Зачем оставил нам этот вот

бездушных правил бумажный свод?

Представил мнимость добром и злом.

Друг другу снимся мы за стеклом.

Скрипят вертушки, кружат во сне,

где друг для дружки вахтеры — все.

Но вот приснится лицо одно.

Другие лица с ним заодно.

Оно теряется среди них и проявляется вдруг на миг,

чтоб запрокинуть глаза наверх,

во тьму, и сгинуть уже навек...

### *Кино в юности*

Милое кино шестидесятых,  
серьезно-ироничный разговор  
(романтиков сердечно-грубоватых  
с наивными прагматиками спор),  
где между поцелуями и твистом  
любой конфликт, конечно, разрешим...  
(Оно имело склонность к альпинистам  
и прочим покорителям вершин.)

Решались там глобальные проблемы.

Царил за кадром синхрофазотрон.

(Лирическую развивая тему,  
поскрипывал тоскливо саксофон.)

Там в дыме сигарет рождались мысли,

те самые, что приходили к нам,

и крупным планом, просто так, «как в жизни»,

лицо в толпе выхватывалось там.

(Свидание, шаги по тротуару,

молчание, над городом рассвет,

прощание, страдание под гитару,

в конце куплет, в котором весь сюжет.)

Из темноты сегодняшнего зала

мы поглядим — и все ему простим

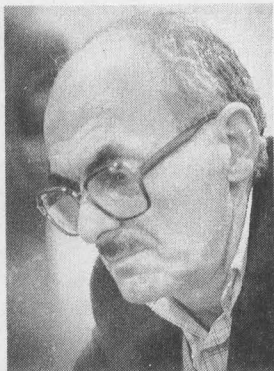
(конечно, мало с жизнью совпадало)

за то, что юность так совпала с ним...

Из глубины в голубизну глядим.

г. Казань





## Бул ОКУДЖАВА

### Несчастье

Когда бы Несчастье явилось ко мне  
в облики рыцаря да на коне,  
грозящим со мной не стесняться, —  
я мог бы над Ним посмеяться.

Когда бы Оно мою жизнь и покой  
пыталось разрушить железной рукой  
и лик Его злом искажался —  
уж я бы над Ним потешался.

Но дело все в том, что в природе Оно  
неясною мерою растворено  
и в тучке, и в птичке взлетевшей,  
и в брани, что бросил сосед на ходу,  
в усмешке, мелькнувшей в минувшем году,  
в газете, давно пожелтевшей.

Но в том-то и дело, что нам не видать,  
когда Ему выпадет нас испытать  
на силу, на волю, на долю.  
Как будто бы рядом и нету Его,  
как будто бы нет вообще ничего —  
а раны посыпаны солью.

Нельзя быть подверженным столь уж всерьез  
предчувствиям горьким насмешек и слез,  
возможной разлуки и смерти...  
Гляди: у тебя изменилось лицо!  
Гляди: ты боишься ступить на крыльцо,  
и пальцы дрожат на конверте!

И все ж не Ему достаются права,  
и все же бессильны Его жернова:  
и ты на ногах остаешься,  
и, маленький, слабый, худой и больной,  
нет-нет да объедешь Его стороной,  
уйдешь от Него, увернешься.

Наверно, в амбарах души и в крови  
хранятся запасы надежд и любви  
(а даром они не даются).  
И вот, утверждая свое торжество,  
бывает, погоны срываешь с Него...  
Откуда и силы берутся?

☆☆☆

Решайте, решайте, решайте  
за Марью, за Дарью, за всех.  
И в череп свой круглый вмещайте  
их слезы, позор и успех.  
Конечно, за голову эту  
при жизни гроша не дадут...  
Когда же по белому свету  
вас в черных цепях поведут,  
сначала толпа соберется,  
потом, как волна, опадет...  
и Марья от вас отвернется,  
и Дарья плечами пожмет.

☆☆☆

На странную музыку сумрак горазд,  
как будто природа пристанище ищет:  
то голое дерево голос подает,  
то почва вздохнет, а то ветер просвищет.  
Все злей эти звуки, чем ближе к зиме  
и чем откровеннее горечь и полночь.

Там дальние кто-то страдают во тьме  
за дверью глухой, призывая на помощь.

Там чей-то слезой затуманенный взор,  
которого ветви уже не упрячут...  
И дверь распахну я и брошусь во двор:  
а это в дому моем стонут и плачут.

☆☆☆

Не уезжай, жена моя, в леса  
ни в лодке, ни в машине, ни в телеге.  
Провидческие слышу голоса...  
Еще нам предстоит разъезд навеки.

Его приход, увы, неумолим,  
его шаги расчетливы и скоры.  
Повременим, мой друг, повременим  
седлать коней и заводить моторы.

Из бытия земного своего  
в грядущие не верю обещанья —  
ведь там уже не будет ничего:  
ни боли, ни прощенья, ни прощанья.

И поражений горьких, и побед  
и жертвы, и охотники мы сами...  
Не уезжай, мой ангел: счастья нет,  
тем более за дальними лесами.

☆☆☆

Мерзляковский переулочек  
так приятен для прогулок.  
Там не выпекают булок,  
зато музыка звучит.  
Да, звучит она, хоть тресни,  
даже если люд окрестный  
дни печальные влачит.

Этот остров музыкальный  
то счастливый, то печальный  
возвышается в тиши.  
Этот остров неизбежный,  
словно знак твоей надежды,  
словно флаг моей души.

С нами дни его пребудут,  
даже если позабудут,  
как тот остров величать.  
Даже если зло восстанет,  
даже если перестанет  
мир права свои качать...  
Будет музыка звучать.

☆☆☆

Русского романса городского  
слышится загадочный мотив,  
музыку, дыхание и слово  
в предсказанье судеб превратив.

За волной волна, и это значит:  
минул век, и не забыть о том...  
Женщина поет. Мужчина плачет.  
Чаша перевернута вверх дном.

☆☆☆

Что-то сыночек мой уединением стал тяготиться.  
Разве прекрасное в шумной компании может родиться?  
Там и мыслишки, внезапно явившейся, не уберечь:  
в уши разверстые только напрасная просится речь.

Папочка твой  
не случайно сработал надежный свой кокон.  
Он состоит из дубовых дверей и зашторенных окон.  
Он состоит из надменных замков и щеколд золотых...  
Лица незванные с благоговением смотрят на них.

Чем же твой папочка в коконе этом прокуренным занят?  
Верит ли в то,  
что перо не продаст, что строка не обманет?  
Верит ли вновь, как всю жизнь,

в обольщения вечных химер:  
в гибель зловещего Зла и в победу Добра, например?

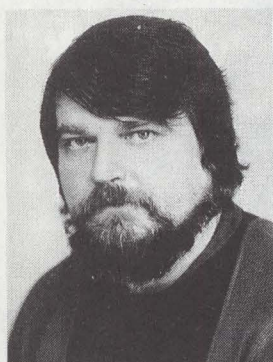
Шумные гости, не то чтобы циники — дети стихии,  
ищут себе вдохновенья и радостей в годы лихие,  
не замечая, как вновь во все стороны щепки летят,  
черного Зла не боятся, да вот и Добра не хотят.



Все справедливо. Там новые звуки рождаются глухо.  
Это мелодия. К ней и повернуто папочки ухо.  
Но неуверенно как-то склоняется вниз голова:  
музыка правится, но непонятные льются слова.

Папочка делает вид, что и нынче он истиной правит.  
То ли и впрямь не устал обольщаться,  
а то ли лукавит,  
что, мол, гармония с верою будут в одно сведены...  
Только никто не дает за нее даже малой цены.

Все справедливо.  
И пусть он делеет и холит свой кокон.  
Вы же ликуйте и пронизируйте шумно и сконом,  
но погрузите хотя бы, увидев, как сходит на нет  
серый, чужой, старомодный, сутулый его силуэт.



Александр  
БЕЛЯЕВ

Дебют в  
ЮНОСТИ

☆☆☆

Я не имел начала и конца,  
И я не помню колыбельный лепет.  
Смерть не коснется моего лица,  
И белый гипс мне очи не залепит.

Я не рожден и не спешу к концу —  
Невняты мне глухие волны Леты.  
Судьба моя, спускаясь по кольцу,  
Смыкается концами киноленты.

Я пустоты небесной не боюсь  
И не бегу от сладости распада —  
Душа, как жертвенный дымится гусь,  
И в каждом слове — новая отрада.

Ни прошлого, ни будущего нет —  
Куда мы прилетим — не знаем сами.  
Мерцает впереди Генисарет,  
А позади толпятся марсиане.

Душа спешит на перепись морщин  
Своих неисчислимых воплощений,  
А воздух горних сфер неистощим  
И раздувает ноздревые щели.

И я уже не помню, где я был,  
Кого любил, с кем чокался бокалом.  
На середину Нила я заплыл,  
А утром очутился за Байкалом.

Во тьме времен затерянный птенец,  
Я отыскал генисаретский паспорт —  
О Господи, я пас твоих овец  
Безропотным и ласковым подпаском.

Твое лицо являло лик весны,  
И гневное евангельское лето,  
И кольца, где апостольские сны  
Смыкаются концами киноленты.

Я в Междуречье ноги промочил —  
Я время не терял, я ставил банки,  
Я терпеливо звал тебя в ночи —  
В постели, на полу, на полустанке...

Мне снится не Россия, не Левант,  
А незакатный свет Генисарета,  
И на твоей ладони мой талант  
Мерцает, как старинная монета.

☆☆☆

Как ноздри раздуваются — то запах  
Ветхозаветных пазух — это воздух  
Писания и знамений внезапных,  
И козых пастбищ, сладостно навозных.  
И тучная земля очам являет  
Потопом промываемые поры,  
Но горький дым Содомы и Гоморры  
Пророческое утро отравляет.

## Памяти О. Э. Мандельштама

Еще в почете в дольном мире  
певучий эолийский строй,  
И впереди — в страну Наири  
благословенная гастроль.  
И говор дикого нарзана  
сухое горло холодит,  
И муза трезвого Сезанна о царстве разума твердит.  
На кухне пахнет керосином,  
в сортире крысы делят пай.  
Гремит посудным клавишином  
московский коммунальный рай.  
Как встарь, стоит на месте мебель,  
но кисой ластится беда,  
И в час бессонницы на небе  
горит масонская звезда.  
И колокол-язык немеет,  
и под рубахой дремлет страх,  
В угрюмом русле кровь мелеет,  
стекая с донетровских плах.  
Цветут полипы и наросты  
на кумачовых площадях,  
Растут горбатые помосты,  
котлы татарские чадят.  
Не слышно городского трама —  
дыра, во времени провал,  
Кривые бревна катит Кама,  
и бьет крылом седой Урал.  
Пойдешь налево — ногу сломишь,  
направо — выест очи дым.  
И ворон каркает — Воронеж,  
и черный грач кричит — Чердынь...  
И муза с черного перрона  
швыряет лиру в пустоту.  
Обезумевшая Горгона  
с кошачьей головой во рту...

## Муму

Ужели позабыт потоп,  
Когда на палубе ковчега  
Живой поднялся небоскреб,  
Члена ячейки для ночлега  
Ягненка, льва и человека?  
Но возгордился царь земли, —  
Надев блистательное платье,  
Рогатых и крылатых братьев  
Рыдать оставил на мели...  
В полях печали бледный лик,  
Я древнюю лелею думу:  
Как подъяремному уму  
Избыть безвременную дрему.  
И от угрюмого му-му  
Прийти к Ньютонову бинному  
И просветленному псалму...  
В траве блеснул росы янтарь,  
В лесах проснулись птичьи гамы.  
Природы звонкий инвентарь  
Копытом бьет, трубит рогами  
Под сыростью бичами.  
И я читаю, как букварь,  
Земли таинственные норы,  
Берлоги, лазы, косогоры,  
Откуда за дарами Флоры  
Ползет затравленная тварь.

г. Москва





Василий АКСЕНОВ

# МОСКОВСКАЯ САГА

## Глава десятая. ЗОРЬКИ, ГОЛУБКИ, ЗВЕЗДОЧКИ...

Есть ли что-нибудь более заброшенное на земле, чем улица русского села? Не говоря уж об убожестве материального состава, есть ли что-либо более безнадежно отдаленное от праздника жизни, от феерии революции? Так несколько в гоголевском духе думал партийный пропагандист Кирилл Градов, проходя ранним вечером мимо чахлых хат по улицам Горелова и удивляясь, почему из-за каждого плетня выглядывают в этот час страждущие лица хозяек.

Бабы между тем всматривались в медленно приближающееся облако пыли. Они выходили из-за плетней и останавливались у ворот, каменели, скрестив под грудями руки. Они были явно не в силах осознать происходящее, противное всякому смыслу и самой русской природе. Вместе с облаком приближалось громоподобное мычание. Ведомое растерянными пастухами-комсомольцами, брело в село недоенное коллективизированное стадо.

Кирилл остановился, пропуская коров. По мере приближения стада бабья каменность трескалась; не владея больше собой, женщины начинали громко причитать и звать к своим бывшим питомцам и кормилицам с тоской и с той нежностью, что всегда была характерна для русских женщин по отношению к их коровам. «Зорька, мамочка моя! Да пошто ж тебя

Рисунок Евгения Мацевского

Продолжение. Начало см. №№ 5, 6, 7 за 1991 г.



отняли от меня?!», «Голубка, девонька моя родная! Глянь на мамку-то свою, глянь хоть глазиком!», «Звездочка, кормилица, да ты ж вся немытая, нетертая! Загубили тебя супостаты колхозные!».

Видя свои родные, еще не остывшие дворы и слыша еще не забытые голоса, то одна, то другая коровы начинали выбираться из стада и, как в старые, совсем еще недавние времена, направляться восвояси на отдых и ласку. Иные из женщин бросались к ним в тоске и отчаянии. Растерянные комсомольцы без разбора лупили хлыстами по спинам коров и головам женщин. Одна из женщин, узнав в пастухе собственного сына, волокла его за вихор и поддавала лаптем под зад.

«Что-то тут не то, — думал Кирилл, наблюдая эти сцены. — Что-то тут не так». Кроме этих двух фраз ничего не рождалось в его голове. Потрясенный бессмысленной пронзительностью происходящего и собственной оборонительной тупостью, он стоял с каменным лицом возле плетня. Закат отсвечивал в его глазах. Вдруг отчетливо возникло и проплыло перед глазами, будто лента телеграфа: «Да есть ли в мире что-либо более дорогое мне, чем эти бабы и коровы?»

Подшел смущенный секретарь ячейки Петя Птахин, забормотал, краснея:

— Вы уж, пожалуйста, не обращайтесь внимания на этих баб, товарищ Градов. Ноль классового сознания, частнособственнические ин-стик... ин-спик-цы, да, вот что это такое...

Стадо прошло. Утихла улица. Легла пыль. Кирилл и Птахин продолжили путь к сельскому клубу. Клуб, разумеется, располагался в церкви, то есть, как и везде, просвещение брало верх над предрассудками. Полуразвалившееся здание с дырявыми куполами и перекошенным крестом являло собой то ли следствие боя, то ли мирного надругательства. Слева и справа от входа висели два объявления. Одно гласило: «Коллективизация и стирание граней между городом и деревней. Лектор товарищ Градов». Второе оповещало: «Происки британского империализма на ближнем Востоке. Лектор товарищ Розенблюм». И день и час начала у обеих лекций совпадали. Над ними, в срединно как бы примиряющей позиции висел портрет Сталина с подвешенным к нему, словно красная борода, лозунгом: «Даешь 100-процентную коллективизацию!».

Толпа сумрачных мужиков перед входом курила махорку.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Кирилл.

Никто не ответил, даже не посмотрел в его сторону. Многие зато нехорошо поглядывали на комсомольского секретаря.

— Что же вы, Птахин, две лекции назначили на одно и то же время? — спросил Кирилл. — Зачем тут конкуренция?

Птахин, подававший мужикам знаки «спокойно, не дурить», расторопно ответил:

— А не извольте беспокоиться, товарищ Градов. Наших, гореловских, мы для вас мобилизовали, а этих, из Неелово, ну, из «Заветов Ильича», для товарища Розенблюма пригнали. Помещения предостаточно.

Захватить свою аудиторию Кириллу не удалось ни историческим экскурсом к утопическим коммуна Сен-Симона и Фурье, ни лучезарными перспективами. Гореловские мужики сидели с каменными лицами, а если у кого-нибудь что-нибудь в лице и оживлялось, возникало ощущение, что московского лектора хотят взять на мушку. Между тем, из соседнего зала, где неведомый Розенблюм бил по британскому империализму, то и дело доносились дружный смех и аплодисменты. Кирилл решил поскорее сворачиваться и, перепрыгивая через параграфы, помчался к своему мощному завершению.

— Программа партии, товарищи, предусматривает

возникновение грандиозных сельскохозяйственных комплексов, в которых для труда и быта колхозников будут созданы самые современные условия. Грань между городом и деревней, как учил великий Ленин, будет практически стерта в кратчайший срок, и тогда окончательно забудется подмеченный еще Марксом «идиотизм сельской жизни»!

Лекция была явно окончена, а мужики как сидели, так и сидят, не шелохнувшись. Ну, не раскланиваться же. Встрепенулся Птахин, захлопал в ладоши, подавая пример. Мужики тоже захлопали. Кирилл, красный от стыда, начал собирать бумаги.

— Вопросы, мужики, задавайте вопросы! — крикнул Птахин. — Товарищ Градов ответит на любые вопросы!

Заросший бородой, будто лесной дух, старик приподнялся:

— А лечить-то народ где будете, гражданин объясняющий? В больнице?

— Лечить? От чего лечить? — озадаченно спросил Кирилл.

— От идиотизму-то где будут лечить?

В полном замешательстве Кирилл вытер пот. Издается старик или на самом деле ничего не понял? Петя Птахин, однако, знал, как проводить линию партии.

— Ты, дядя Родион, думаешь, идиотизм у тебя в жопе, а он у тебя в башке. Понятно?

Мужики вяловато, как бы для проформы, поржали. Старик мрачно сказал:

— И это есть.

— Лекция окончена, товарищи, — сказал Кирилл и тут вдруг подумал, что никому из этих людей он в товарищи не годится.

Все вышли в коридор. Из соседнего зала, то бишь церковного притвора, слышались взрывы смеха и какая-то неуклюжая возня. Кирилл от досады сломал свою папироску-«гвоздик».

— Этот Розенблюм, вот видите, умеет найти общий язык с колхозниками. Слышите, Птахин, какая живая реакция!

— Ну, не иначе, как нееловские самогону туда протащили, забурели, вот-те и ре-ак-ция.

Двери распахнулись как бы под натиском бурнейших аплодисментов. Вышли нееловские мужики, все красные, смурные, гогочущие. Иные основательно покачивались. А вот и лектор, тот самый знаток крестьянских душ Розенблюм, и им оказывается, к полному изумлению Кирилла, не кто иная, как Цилька Розенблюм, одна из Нининых «синеблузовок», с которой он не раз «смыкался» во время жарких споров в Серебряном Бору на почве близости к генеральной линии партии. Молодая, рыжая и, несмотря на густую россыпь веснушек, не лишенная даже привлекательности женщина. Страннейшая комбинация одеяний — модная лет двадцать назад шляпка, военная гимнастерка, подпоясанная командирским ремнем, длинная юбка чтицы-декламатора, кирзовые сапоги — создавала даже определенный стиль.

— Да-да, товарищи, — говорила Цилька сопровождающим ее мужикам. — Британский лев сейчас — это главный враг мирового пролетариата.

Мужики реагировали с уважением.

— Лев, оно, конечно, зверь серьезный, гибкий, окладистый. Ему-ить тоже жрать-то надо!

Кто-то хмыкнул, кто-то прыснул, лекция явно удалась: эх, час без горя!

Кирилл в изумлении смотрел на Цицилию. Ее появление в этом медвежьем углу, где так все не похоже на теоретические модели, где просто, честно говоря, руки опускаются, где испаряются самые строгие убеждения, обрадовало и вдохновило его: вот наша девчонка, москвичка, марксистка, большевичка, дерзко



работает тут в самой гуще бывших антоновцев, значит, и повсюду есть наши, нас — тысячи, мы промоем глаза этому народу. Цицилия заметила его стоящим у стены, на которой еще видны были затертые образы святых, хохотнула и подошла с протянутой рукой.

— Градов, физкультпривет! Дай пять!

Крепко пожимая ее руку, Кирилл воскликнул:

— Розенблум! Вот уж не думал, что этот лектор Розенблум — это ты, Розенблум! Сколько ты здесь будешь?

— Дней пять, — сказала Цицилия.

— Я тоже! Значит, и поедем вместе!

Они улыбались друг другу. Над ними по церковной стене был протянут лозунг «Отрубим когти кулаку!».

— Пошли шамать! — предложила Цицилия.

— Пошли пошамаем! — с восторгом согласился Кирилл, хоть ему раньше и претил жаргон московской «комсы».

По лицу присутствующего Пети Птахина проходили счастливые блики. Он явно мечтал о системе партийного просвещения.

В один из этих последующих пяти дней, а именно в один из мрачнейших, гнусно морозящих полудней Кирилл и Цицилия тащились по еле проходимым потокам грязи. Дожди заливали Горелово. Урожай гнил в полях, утро колхозного строя было исполнено «поросычьего ненастья». Молодые люди продолжали теоретический марксистский спор.

Цицилия, будто отмахивая ритм рукою, вещала:

— Деревня сейчас развивается в строгом соответствии с нашей теорией, и Сталин как великий марксист прекрасно понимает, что мы не можем от нее отклоняться. Это научный закон, Градов, понимаешь? Элементарная диалектика революции!

Кирилл вдумчиво следил за прохождением каждой мысли из ее уст в сумрачные хляби, кивал.

— Я с тобой согласен, Розенблум. Теоретически у нас нет расхождений, но в практике, мне кажется, мы иногда перегибаем палку...

Они завернули за угол единственного в селе двухэтажного каменного дома, где помещались совет и правление колхоза, и тут их спор прервался. В той части села, что открывалась за поворотом, происходило что-то необычное. Посреди дороги стояла колонна из полудюжины армейских грузовиков с откинутыми бортами. Красноармейцы, державшие винтовки с примкнутыми штыками, мелькали в крестьянских усадьбах по обе стороны улицы, выгоняли из изб рыдающих и вопящих баб, визжащих от страха детей и ошеломленных стариков, вышвыривали в грязь жалкие пожитки. Вертевшиеся тут же сельские активисты на месте «коллективизировали» оставшийся мелкий домашний скот, а также уток и кур, разгоняли пинками и камнями бесполезных членов хозяйства, собак и кошек. Кошки, по свойственной им природе, немедленно удирали, кто с глаз долой, кто на недосягаемые ветви деревьев, чтобы оттуда созерцать происходящее в вечном, начиная еще с пирамид, качестве созерцателей человеческой истории. Собаки, не в силах преодолеть верности своим домам, были единственными, кто сопротивлялся, то есть рычал и бросался на захватчиков. До Кирилла и Цицилии со всех сторон долетали человеческие вопли: «Да что же вы творите, проклятые?!», «Безбожники, креста на вас нет!», «Мучители проклятые! Кровососы!».

Мелькнул с диким воплем расстегивающий кобур у нагана командир отряда.

— Молчать, дерьмо кулацкое! Стрелять буду! — Пальнул все-таки в воздух.

Потрясенные происходящей практикой, Кирилл и Цицилия забыли о теории. Они медленно шли вдоль колонны, не в силах вымолвить ни слова. У одного из

грузовиков натолкнулись на своего гореловского чичероне, комсомольца Птахина. С деловым видом он делал какие-то пометки в блокноте.

— Что тут, черт побери, происходит, Птахин? — спросил Кирилл.

— Д-пор-тация классово чуждых элементов, товарищ Градов. — Птахин начал вроде бы сурово, а потом нервно хихикнул. — Для их же собственной пользы отправляем кулацкие семьи на широкие просторы братского Казахстана. Не пешком, товарищ Градов, видите, автомобиль за ними прислали, такая работа.

— Вот этих вы кулаками называете? — спросил Кирилл, еле-еле удерживаясь от содроганий. Цицилия предупреждающе взяла его за руку. — Практика иногда, увы, расходится с теорией, увы, неизбежные издержки, однако, Петр, вы уверены, что это все кулаки?

В птахинской расторопности Кириллу виделось что-то от старорежимного приказчика, хотя откуда тут взяться приказчику, в тмутаракани?

— Не извольте беспокоиться, товарищ Градов, и вы, товарищ Розенблум! — зачастил Петя. — Все проверено-перепроверено. Все они тут у меня в списочке, кулаки и середняки-подкулачники, а списочек-то утвержден тама-а! — с чрезвычайной значительностью показал большим пальцем в небо. Грязная туча, волокущаяся сейчас поперек села, как бы не оставила никаких сомнений.

Кирилл и Цицилия расстались с Птахиним и прибавили шагу, чтобы поскорее миновать тягостную сцену. Погром между тем продолжался. Красноармейцы выхватывали у женщин и швыряли в грязь излишки имущества — одеяла, подушки, часы-ходики, самовары, сковороды и кастрюли. То и дело для разъяснения пускались в ход приклады. Иногда слышался предупредительный выстрел.

Как шагнули за околицу, все это сразу стало быстро отходить, как кошмар хоть и мизерной, но все-таки цивилизации. Исконная, не именуемая даже словом «Русь», природа вносила умиротворение, и в мрачности она сулила простор, широкий горизонт. Свернули на боковую дорогу, здесь было сущее. Цицилия вздохнула:

— Что поделаешь, классовая борьба...

Кирилл было промолчал, поднял какую-то палку, потом сломал ее о колено и остановился.

— Нет, это уж слишком, Розенблум! Ты видела этих кулаков... нищие, несчастные... Я слышал краем уха, не хотел верить, но... сюда прислали какие-то неслыханные разнарядки, может быть, в отместку за антоновский мятеж... Никому не нужные крайности! Мы разрушаем самую суть российской агрокультуры! Не знаю, как ты, но я собираюсь сообщить в ЦК о своих наблюдениях!

Он кипятился, лицо его пылало, а она смотрела на него каким-то новым взглядом.

— Слушай, Градов, разве ты не слышал выражения «лес рубят, щепки летят»? Сталин все знает и превосходно понимает ситуацию со всеми ее эксцессами. Хватит об этом! — Внезапно она положила свои руки Кириллу на плечи и глубоко заглянула в его глаза. — Послушай, Градов, а как ты насчет небольшой полочки?

Кирилл ошарашенно отпрянул.

— Что ты имеешь в виду, Розенблум?

Темноватая усмешка, будто тень стрекозы, блуждала по ее веснушчатому лицу.

— Ну, просто легкое физиологическое удовлетворение. Разве мы этого не заслужили после недели политпросвещения? Давай, Градов, не будь буржуазным неженкой! Вон, глянь, сарай на холме! Отличное место для этого дела!



Брошенный сарай выглядел малопривлекательным даже для «этого дела». Крыша зияла прорехами, на сгнившем полу, в бочках стояли лужи. На дверях висел ржавый замок, но отодвинуть доски на стене и пробраться внутрь не составляло никакого труда.

Цицилия деловито осмотрелась и быстро нашла более-менее сухой угол, бросила туда охапку более-менее сухого сена, расстелила там свое пальто, стащила пальто с Кирилла, потом с той же деловитостью сняла юбку — под ней оказались несколько отталкивающих лиловые штаны по колено, расстегнула гимнастерку, повернулась к Кириллу: «Ну, давай, Градов!».

Кирилл ничего давать не мог, он был полностью сконфужен и не знал, что делать. Она стала вываливать то, чем он был совершенно потрясен, — две большие, как белые гуси, груди. Откуда такие? Продолжая усмехаться, она полностью взяла инициативу в свои руки.

По завершении «легкой половушки» они лежали рядом и смотрели в прорехи на крыше, где все мутнее и темнее клубилась непогода. Ошеломленный потоком новых для него эмоций, Кирилл прошептал:

— Ты... ты... ты удивительная, Розенблюм... ты просто чудо...

Цицилия села, прокашлялась, как старая курильщица, белые гуси неуместно потряслись, будто на воде под внезапным порывом ветра, продула папирину, спросила насмешливо:

— Как это вы, товарищ Градов, умудрились сохранить девственность до 28 лет? — Нагнулась и стала целовать Кирилла с неожиданной нежностью. — Ну что ж, добро пожаловать в мир взрослых, профессорский сынок!

Вдруг она заметила, что Кирилл отвлекся от любовной игры, что он смотрит с тревогой за ее плечо. Оглянулась и сама увидела чьи-то глаза, взирающие на них из угла, из-за свалки всякого хлама. Оба вскочили.

— Кто там прячется? Выходи! — вскричал Кирилл.

Глаза исчезли. Кирилл бросился в угол, расшвырял прогнившие бочки и брошенные хомуты, вытащил из укрытия мальчишку лет 7—8, вонючего и до крайности истощенного. Мальчишка пытался вырваться, защититься, замахивался, но сил у него хватило только на то, чтобы схватить кулачки. Он даже пытался кусаться, но зубы его оставляли на руках Кирилла только слабые вмятинки. Эти жалкие попытки защитить свое беспомощное тело пронизывали Кирилла острейшей, почти невыносимой жалостью.

— Паршивец, зачем подглядывал?! — Начал было он грозно, но тут же стих и уж больше не тянул мальчишку, а лишь поддерживал. — Что ты здесь делаешь, мальчик? Как тебя зовут? Кто твои родители?

Мальчишка разевал рот, вроде бы кричал, но крик его звучал как шепот:

— Пусти! Кровопийцы, безбожники, мучители! Сдохнуть-то хоть дайте! Я не хочу в Казахстан!

В конце концов он потерял сознание в руках Кирилла.

Когда Кирилл с мальчишкой на руках и бредущая за ними Цицилия появились на главной улице села, операция погрузки «социально чуждых элементов» в грузовики была почти завершена. Красноармейцы, как жнецы после хорошего рабочего дня, отдыхали у плетня, перебрасывались шуточками, делили табачок. И Петя Птахин был доволен: все списки проверил, все сошлось. Вот только неосознанное бабье ведет себя некорректно. Макарьевна, например, из грузовика кулаком грозит, обзывает «антихристом».

— Не болтай, Макарьевна! — благодушно сказал ей Птахин. — Раз не было Христа, значит, нет и Антихриста.

— Слышишь, Градов? — рассмеялась, услышав, Цицилия. — По Достоевскому прошелся Птахин!

Комсомолец обернулся, увидел Кирилла с мальчишкой на руках, счастливо ахнул:

— Вот удача! Где ж вы его пымали, товарищ Градов?

— Кто он? — спросил Кирилл.

— Да кто ж еще, если не Митька Сапунов, кулацкое семейство! Валите его прямо в грузовик, товарищ Градов. Загружено под завязочку, а все ж одного-то пацана как-нибудь втиснем. В тесноте, да не в обиде, верно, бабы?

— Где его родители? — спросил Кирилл.

— Да ведь сгорели ж все! Вы ж сами видели пепелище-то, товарищ Градов. Митькин родитель Федор давно еще сказал: чем в колхоз иттить, лучше все свое пожгу, и себя, и семью в придачу. Как раз за ним товарищи с орденом должны были приехать, когда он совершил вредительство. Давайте-ка, я вам помогу, товарищ Градов, Митьку засунуть.

— Руки, руки! — с неожиданной для себя самого угрозой сказал Кирилл. — Забудьте об этом мальчишке, Птахин. Он поедет в Москву со мной и с товарищем Розенблюм.

Комсомолец даже побледнел от такого оборота, нелепо как-то суетнулся, из-за поясного ремня вытащил свою папочку с кальсонными завязочками.

— Да как же так, товарищ Градов? Вот ведь здесь новейшие инструкции, а по ним все кулацкие элементы должны быть изъяты отсюда, не глядя на возраст! Все отправляются в Казахстан для более полезного проживания! Вы чего-то тут против инструкций говорите, товарищ Градов. Я не могу тут своеволия разрешить! Придется сиг-на-лизировать!

Он оглянулся вокруг в поисках командира отряда, но того поблизости не было видно, а побежать за ним он боялся: как бы товарищ Градов с кулацким отрядом не утек. Кирилл тоже охватила некоторая паника. Он почему-то не мог себе уже и представить, что может расстаться с тельцем, свисающим с его рук и слабо постанывающим, скулящим в полубезыбытии. Однако если в следующую секунду здесь появится командир отряда, все будет кончено.

В действие вдруг вступила Цицилия, взяла комсомольского вожака под руку, отвела в сторону, нажимая на локоть и запястье, обдала женским жаром.

— А тебе, товарищ Птахин, когда-нибудь приходило в голову, что ты можешь быть не всегда прав в твоей интерпретации классово-политической партии? Разве ты никогда не страдал от недостатка образования? Я могу тебе одолжить некоторые работы наших величайших теоретиков. — Из своей раздутой сумки она вытащила несколько брошюр, стала их совать Птахину за пояс. — Тут тебе, Птахин, Зиновьев, Калинин, Бухарин, Сталин Иосиф Виссарионович... Возьми их, товарищ Птахин, и учись. Учиться, учиться и учиться, как завещал Владимир Ильич!

Ошеломленный благоговейный Птахин держал себя за пояс. Цицилия освободила наконец его от своего партийного полубога, ласково подтолкнула — иди, мол, учись! Кирилл между тем удалялся с Митей на руках. Цицилия хорошей партийной поступью зашагала ему вдогонку.

Минут через десять мимо них прорывалась, заваливаясь в колдобины и разбрызгивая лужи, армейская колонна. Из грузовиков слышались рыдания и вой, мало уж чем отличающийся от коровьего мычания.



## Глава одиннадцатая. ТЕННИС, ХИРУРГИЯ И ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Осень 1930 года не спешила. Иной раз по утрам явственно пахло снегом, вроде бы даже начинала слетать с небес еле заметная белая моль, но вдруг, словно по заказу для нашего повествования, возвращалось «бабье лето», и в его сомнительной голубизне Серебряный Бор предстал пышнейшим, ярчайшим по гамме дворцом природы.

В такое вот утро из калитки градовского участка вышли Никита, как всегда в полной форме и с портфелем, который обычно появлялся у него в руках, когда он направлялся в Наркомат, Вероника в теннисном костюме и с ракеткой под мышкой, а также их четырехлетний уже сын Борис IV в матроске, но с саблей через плечо.

— Пожалуйста, помни, Никита! — капризным, но сердитым тоном, то есть всерьез, говорила Вероника. — Ни под каким предлогом я не собираюсь возвращаться в Белоруссию! Хватит с меня! Я все-таки урожденная москвичка! Ни малейшего желания губить все свои молодые годы в глуши не испытываю! Ты должен наконец прямо сказать в Наркомате, что хочешь перевода в Москву! Твои статьи печатаются в журналах, тебя считают теоретиком! Наберись наконец мужества!

Никита нервничал, поглядывал на часы.

— Хорошо, хорошо, успокойся, пожалуйста. Я уверен, что мы остаемся в Москве. Уборевич недвусмысленно сказал, что видит меня в Главштабе. Я просто почти уверен, что... то есть я хочу сказать...

Из-за угла уже выезжал автомобиль Наркомата Обороны. Бориса IV стали обуревать противоречивые чувства — побегать ли к автомобилю или остаться при матери. Победило рыцарство.

— Мама права, — сказал он отцу. — Здесь лучше. Я тоже хочу здесь жить с Пифагором.

— Да разве ж я не понимаю, — виновато мялся комдив. — Семья может верить, что я и сам этого хочу...

Наконец-то Вероника улыбнулась.

— Я абсолютно уверен, — ободрился комдив. — Абсолютно почти уверен в непременном переводе в центр!

Он поцеловал жену и сына и сел в машину.

— Почему ты не играешь в теннис, папа? — строго спросил Борис IV.

«Жизнь полна тайн, — подумал Никита. — Ведь еще вчера мой бумбульончик только чмокал и фукал, а теперь задает вопросы бытия».

Машина тронулась.

На теннисном корте Веронику уже ждали ее напарник, пожилой красавец мужчина, и еще двое тоже немолодых атлетов. Все трое представляли тип уцелевшего в революции и ожившего «знаменитого адвоката», который, впрочем, занимался теперь чем угодно, но только не защитой обвиняемых. Игра началась споро, и через несколько минут Вероника уже летала по корту, стремительная и раскрасневшаяся, прекрасно понимая, что выглядит она просто очаровательно, ну неотразимо!

— Мы вас громим, мальчики! — кричала она противникам, и те просто сияли от этих «мальчиков», прямо молодели на глазах под ударами умопомрачительной «красной генеральши».

— О, ты, Вероника, богиня тенниса!

Борис IV тоже был при деле, носился вокруг корта, ловил отлетающие мячики. Среди немногих зрителей

в углу дощатой трибуны, сдвинув фуражку на глаза, сидел военный. Вероника уже заметила, что это был не кто иной, как комполка Вуйнович.

Между тем в одном из больших кабинетов Наркомата Обороны шло совещание группы высших командиров РККА. Карта СССР и прилегающих стран была развернута во всю стену. Перед ней с указкой прогуливался, как само воплощение сдержанной мощи, командующий Особой Дальневосточной Армии, командарм первого ранга Василий Блюхер. Доклад Блюхера о стратегической ситуации захватил Никиту Градова не меньше, чем его жену — теннис.

— Центр военно-политической активности, направленной против нашей страны, сейчас смещается к Дальнему Востоку, — говорил Блюхер. — Особое значение приобретают планы Японии по созданию марионеточного маньчжурского государства на нашей границе. Прошу вас снова обратить внимание на карту, товарищи. Синими стрелками здесь отмечены недавние передвижения японских сухопутных сил и флота.

Синие стрелы японских сил, будто рыбыны, тыкались в вымя и под хвост огромной коровы Советского Союза. Блюхер подправлял их указкой. Командиры увлеченно делали пометки в блокнотах.

— В ближайшие месяцы мы должны быть готовы к серьезной конфронтации, — продолжал Блюхер, — может быть, к прямым столкновениям с очень сильным врагом. Японцы воевать умеют... — Он улыбнулся, — ...и любят. — Улыбка командарма явственно говорила: «Как и мы это дело любим», — и все присутствующие так и понимали.

Блюхер пересек комнату, остановился возле Никиты Градова, поставил ногу в сверкающем сапоге на перекладину стула.

— Именно у нас, на Дальнем Востоке, Никита Борисович, вы найдете применение своим стратегическим талантам. Я предлагаю вам стать моим начальником штаба в Хабаровске.

Пораженный Никита вместо лица командарма взирал на сверкающее голенище. Все, улыбаясь, повернулся к нему. Предложение было из тех, о которых молодой командир может только мечтать! Это ли не трамплин для грандиозного взлета?!

— Это очень неожиданно, Василий Константинович, — пробормотал Никита. — Мне, начальником штаба?.. В Хабаровске?..

Блюхер протянул ему руку.

— Ну, согласен?

— Как я могу отказаться от такого предложения?

Четко встал, оправил складки под ремнем, пожал протянутую руку. Вдруг подумал: что-то есть общее между Блюхером и покойным Фрунзе. Все присутствующие весело зааплодировали: красное воинство, боевое братство!

По окончании доклада Блюхер вышел в коридор в сопровождении Никиты и группы своих подчиненных из Хабаровска. На ходу он уже отдавал практические распоряжения.

— Комполка Стрельников будет вашим заместителем, Никита Борисович. Знакомьтесь. Комбат Сетаных назначается вашим старшим адъютантом. Остальных членов вашей группы подберете сами. Все свободны до 2 часов 35 минут.

Тут же все разошлись. Никита медленно двинулся по коридору и остановился возле еще одной карты СССР — ими богат Наркомат. Зелень долин и коричневый горб Урала, потом опять луговое разлитие Западной Сибири, подпирающие с Юга кочки Алтая и... так далее... Хабаровск... Восемь тысяч километров от Москвы... Вероника бросит меня... Сзади кто-то сильно хлопнул его по плечу. Он вздрогнул. Этот



стиль запанибратских отношений давно уже был изжит; что касается Никиты, то он ему даже и на гражданской войне не нравился, а теперь уж и подавно. Особенно если тебя со всего размаху хлопают, а потом еще и сияет прямо тебе в лицо какая-то полужнакомая физия в чине майора НКВД. Он не сразу узнал Семена Стройло. Со времен Нинкиного отъезда в Тифлис не только не видел, но и думать о нем забыл.

Стройло шумел:

— Поздравляю, комдив! Вот ведь удача! Значит, будем работать вместе! Меня только что назначили в особый отдел при твоём штабе!

— Простите, не имею чести вас знать, — со злостью сыграл Никита.

Стройло тут же уловил интонацию и сам сразу же заиграл с коварством.

— Ну, чего ты, Никита, лейб-гвардию из себя строишь! Мы ж с тобой чуть не породнились до того, как Нинка-то сбежала от своих троцкистских дружков в Тифлис...

Никита резко отодвинул его в сторону, мимолетно удивился, что не такой могучий человек оказался, как ожидалось, и быстрыми шагами удалился. Стройло с кривой улыбкой смотрел ему вслед. Выдуманный и давно забытый пролетарий в нем теперь проснулся и был глубоко уязвлен.

Никита направился прямо во временный кабинет Блюхера. Командующий что-то писал, сидя под портретом Сталина. Никита решительно приблизился.

— Простите, что явился без приглашения, Василий Константинович, но я вынужден отказаться от поста начальника штаба ОДА.

Блюхер дописал фразу и только тогда глянул хмуро. Как и все люди, держащие под командой многотысячные войска, он немедленно менял отношение к тем, кто шел поперек.

— Ваша причина?

— В особый отдел при штабе назначен человек, которому я полностью и решительно не доверяю, — сказал Никита и подумал, что наживает себе в этот момент могущественного неодолимого врага.

Между тем неприязнь так же мгновенно, как и возникла, отлетела со лба командующего. Такая «постановка вопроса» была ему понятна. Человек из его окружения выбирает свое окружение — это понятно, это по-военному и без лицемерия. Он вынул список новых назначений. Золотое немецкое перо остановилось на имени Стройло.

— Этот?

Никита сдержанно кивнул.

— Да. Майор НКВД Семен Стройло.

Золотое перо резко вычеркнуло нежелательное имя. Блюхер внимательно посмотрел на комдива Градова, оценил ли тот такой акт доверия, и увидел, что оценил.

Быть может, как раз в этот момент Вероника окончательно уж наплясалась в теннисе и прекратила игру. Тут же она и заметила Вуйновича.

— Вадим, какими судьбами?! Ой, воображаю, какая я сейчас страшная! Что же вы столько лет пропадали? Просто испарился человек с горизонта!

Вуйнович, донельзя смущенный, клянувший себя за то, что не ушел на пять минут раньше — что делать, никак не мог оторвать взгляда от скачков грации, — вертящий в руках так и не укравшую его фуражку, бормотал что-то несусветное:

— ...Слепой случай... удивительное совпадение... шел мимо, слышу стук мяча... лаун-теннис... никогда не видел раньше... зашел, и вдруг... вы, собственной персоной... ей-ей, меньше всего ожидал...

Не прерывая, она смотрела на него с улыбкой, как бы давая ему понять, что его страсть ей вовсе не противна, если она останется в таких вот милых романтических пропорциях. Он замолчал, и тогда она снова вступила все в том же отлично, как ей казалось, найденном тоне:

— Ах, вот как? Значит, вы обо мне никогда и не думаете? Хорош друг. Ну, ладно, ладно, вы арестованы, комполка! Идемте на дачу, все вам будут рады!

От этого приглашения у Вадима сильно дернулись лицевые мышцы. Особенно профессор будет рад, подумал он. Надел фуражку, взял под козырек.

— Простите, не могу, Вероника Александровна. Спешу на вокзал. Как раз сегодня уезжаю в Таджикистан.

— Надолго ли? — с досадой воскликнула она и подумала: как в книгах.

— Может быть, навсегда, — сказал Вадим и быстро пошел к выходу.

Какая сильная прекрасная фигура, подумала, глядя ему вслед, Вероника. Легко представить, как бы он меня взял. Тут подбежал совсем ошалевший от двухчасового кружения Борис IV.

Пользуясь неожиданными благами «бабьего лета», Градовы вынесли на веранду самовар. Потекло традиционное летнее чаепитие с домашними вареньями разных сортов и с государственными бубликами.

За столом в этот вечер сидели Борис Никитович, его помощник Савва Китайгородский, Мэри Вахтанговна, прислуга, или по нынешней терминологии «домработница», Агаша, «богиня тенниса» Вероника, ее сын, исполненный достоинства Борис IV, а также новый член семьи, «кулацкое отродье» Митя Сапунов.

Прошло чуть больше недели с того дня, как полуживого мальчика привезли в Москву и водворили в Серебряном Бору, вызвав жуткий переполох всего семейства. Теперь его узнать было нельзя: отъелся, был вымыт, пострижен, одет в хороший свитерок. Только взгляд его остался страшноватый; легко было бы сказать «затравленного волчонка», если бы временами в нем не мелькало совсем уж что-то непостижимое и ужасное, некий взгляд-невзгляд. Впрочем, мелькало все реже, а иногда Митя даже улыбался, когда мама Мэри гладила его по голове и подкладывала на тарелку кусочек сыра или ветчины. Совсем уж нежно он улыбался, когда друг дома Пифагор вдруг обдавал его жарким дыханием и клал ему свою морду на сгиб руки.

Тем временем Борис Никитович и Савва обсуждали свои профессиональные дела.

— Коллегия наркомата одобрила наше предложение. Так что готовьтесь, Савва, — сказал Градов.

— Да неужто? — Савва радостно заволновался. — Значит, можем действительно войти в практику? Значит, внедрение анестезии по Градову не за горами?

— Нет, не за горами, — улыбнулся профессор. — А еще точнее, оперируем послезавтра.

В этот как раз момент на веранду со стороны сада начала подниматься молодая марксистская пара. Они держались за руки и в четыре очковых стекла сияли друг на друга. Все на них смотрели, а они ни на кого не обращали внимания. Агаша налила им чаю, они сели рядом с жарким самоваром. Палящий его бок как бы еще ярче вздул веснушки Цицилии. Ни чай, ни варенье не интересовали Кирилла, только лишь эти веснушки.

— Кирилл, что с тобой? — строго спросила Мэри Вахтанговна. Нельзя сказать, что она была в восторге от выбора младшего сына.

— Да мы только что расписались с Розенблум, — сказал Кирилл.



Агаша всплеснула руками.

— А, батюшки! И без свадьбы?

Вероника фыркнула.

— Интересно, вы и в постели друг друга называете по фамилии?

— Вероника! — осадила ее свекровь.

Кирилл же просто подхихикнул Веронике, он бес- толково кивал домашним, сжимая под столом руку Цицилии. Пропал сумрачный догматик, уступив место влюбленному школяру. Он даже шутил!

— Раз уж мы умудрились заиметь восьмилетнего сына, мы должны были пожениться!

Мэри Вахтанговна тут же обеспокоилась.

— А вам не кажется, что Мите будет лучше, если его усыновим мы с Бо?

Цицилия сразу же отвлелась от любовного отсве- чивания, высказалась категорически:

— Позвольте, Мэри Вахтанговна, ребенок должен быть со своими родителями, то есть с нами!

— Ну, вот я и опять дед! — весело воскликнул Борис Никитович. — Мог стать четырежды отцом, а стал дважды дедом!

— А что ты сам, Митенька, думаешь? — спросила Мэри мальчика.

Тот вздрогнул с набитым ртом, потом опустил глаза и буркнул:

— Я чай пью.

— Ответ, достойный Сократа! — вскричал профес- сор. Все заплодировали.

Мэри оставалась чрезвычайно серьезной, голос ее слегка дрожал.

— Я настаиваю, я даже требую, чтобы Митя оста- вался с нами, хотя бы пока вы не получите приличную квартиру.

Подняв подбородок, с видом оскорбленного досто- инства она покинула веранду. Почти немедленно из дома стал доноситься взволнованный рокот рояля.

— Слышишь?! — грозно сказал Борис Никитович Кириллу, после чего повернулся к своему ассистенту и отъединился от сложных дел семьи.

— Завтра берите день отгула, Савва, и ничего не делайте. Расслабляйтесь, отдыхайте. Операция долж- на пройти безупречно и с блеском, батенька мой.

Савва засобирался домой, хотя ему вовсе не хоте- лось уходить. Всякий раз, когда он бывал в Серебря- ном Бору, ему казалось, что он встречается с Ниной. Агаша, прекрасно понимавшая страдания молодого специалиста, принесла ему сверточек со своими корон- ными пирожками. По дороге с кухни она заглянула в окно и пропела сладким голоском:

— А вот и Никитушка возвращается с Наркомата Оборона. Вон какой веселый шагает, моя ладушка.

Вероника увидела идущего от калитки мужа и кар- тинно закурила папиросу: «Что-то он слишком весе- лый возвращается».

Через день в хирургической клинике Первого Мо- сковского медицинского института состоялась долго- жданная операция с применением нового метода ане- стезии. На амфитеатре вокруг операционного стола не было мест. Пришлось ограничить число зрителей только врачами и аспирантами. Студенты старшего курса толкались на застекленном балконе под потол- ком.

Все прошло на удивление гладко. Разработанный в последние месяцы анестезирующий состав прекрасно действовал на столбы и окончания нервов. Пациент был спокоен, шутил с сестрами. «Как себя чувствуете, Юзеф Александрович?» — каждые пять минут спра- шивал его Градов, и каждый раз почтенный настрой- щик роялей с неизменной бодростью отвечал: «Пре- красно, Борис Никитович». Теперь Савва Китайгород- ский накладывал последние швы. Вскоре больного

увезли. Хирурги отступили от стола и сняли маски. Амфитеатр разразился аплодисментами.

— Итак, товарищи, можно считать, что с сего- дняшнего дня анестезионная система Градова — Ки- тайгородского продвинута в общую практику! — гро- могласно объявил профессор.

Савва смотрел на своего шефа с ошеломленным видом, да и все присутствующие были удивлены: мало кто из профессоров так просто делился славой с моло- дыми помощниками.

Когда они остались одни в кабинете Градова, сестра принесла две мензурки с разведенным спиртом. Савва и Борис Никитович чокнулись.

— Ух! — сказал Савва и потер лицо двумя ладоня- ми. — Да как же так, Борис Никитич? Система Градо- ва — Китайгородского? Ей-Богу, я не заслужил!

— Очень даже заслужили, — возразил профессор. — Вы были со мной с самого начала, Савва, работали, как вол, и в лаборатории, и в клинике, внесли столько блестящих предложений! Да и вообще... — Он чуть было не сказал: «Вы мне как сын». Вместо этого положил молодому человеку руку на плечо. — Скажи- те, Савва, как получилось, что вы тогда, в двадцать седьмом, не поженились с Нинкой?

Савва был в полном замешательстве. Сладкая то- ска, столь неуместная в стенах хирургической клини- ки, бурно подкатывала к горлу...

— Ну... я, право, не знаю... сначала Семен, потом Степан... Разочарование в Семене, увлечение Степа- ном... Ведь они же поэты, Нина и Степа, не правда ли?.. А я — лишь скромный докторишка... Боже мой, да я люблю вашу дочь больше всех на свете!.. Я толь- ко о ней и думаю, когда... когда не оперирую, Борис Никитич...

— Она скоро возвращается, мой друг, — сказал Гра- дов.

Он испытывал к ассистенту острую симпатию и жа- лость. Скромный докторишка... Когда он ухаживал за Мэри в конце прошлого века, медицинский диплом считался верхом престижа. При нынешней власти все привычные престижи подвергаются унижению.

— Нина возвращается! — вскричал Савва, но тут же осекся, отвернулся к окну. Там на ветке березы раскачивался воробей. Крохотная капелька слетела у него из-под хвоста. Победно взъерошившись, он взмыл в неизвестном ему самому направлении.

## Глава двенадцатая. ШАРМАНКА-ШАРЛАТАНКА

К северу от грузинской столицы в прозрачном воз- духе виден был отдаленный горный хребет. Еще более впечатляющие пики гор сияли на фанерном щите сразу за входом в городской зоопарк. Перед этим хребтом изображен был стройнейший, осиная талия, кавказец в черкеске с газырями на груди и с кинжалом на поясе. Вместо лица — овальная дырка. В нее-то и влезает круглая русская физиономия беспутного «по- путчика» Степы Калистратова. Вуаля — вот он уже и романтический абрек. Фотограф с усами а ля Виль- гельм (или командарм Первой Конной Семен Буден- ный) поднимает магниевую вспышку, ныряет под по- крывало.

— Скажите «изюм», батоно!

— Кишмиш! — крикнул Степан.

Магний вспыхнул. Фотограф вынырнул.

— Bravo! Вы моя лучшая модель за весь год! Куда прикажете прислать фотографии? Москва, Париж, Монте-Карло?

— В Соловки, мусье! Все приличные люди отдыха- ют сейчас в Соловках, очевидно, это будет и мой адрес на ближайшее будущее, — отвечал поэт.

Он явно играл на зрителя, но, оглядевшись, был



очень разочарован, не найдя вокруг никого, кроме своего неизменного Отари, рыцаря печального образа. Зрители же, на которых все работалось, группа хохочущих молодых людей и среди них личная жена Нина, находились неподалеку, но не обращали на Степу никакого внимания.

Вся компания — Нина, ее кузен Нугзар, молодой поэт Мимино, танцовщица Шалико и художник Сандро Певзнер — приплывала перед клеткой, из которой, поднявшись на задние лапы, взирал на них огромный бурый медведь. Кто тут был зрителем, а кто исполнителем, нелегко разобраться. Все, включая, кажется, и медведя, преисполнены были какой-то фальшивой иронии и дешевой театральности, какие возникают порой в молодых компаниях после большого ночного пира и утренних «хаши» с водкой.

Особенно старалась Нина, она простирала руки и взывала к медведю:

— Дорогой мой русский медведь! Земляк! Соотечественник! Попутчик жизни! Бедный, что ты почувствовал, когда проснулся после своей сладкой спячки и обнаружил себя в этой гнусной клетке?! Дитя мое! Ты мой Лермонтов, заброшенный на Кавказе! Как я хочу тебя поцеловать!

Она вроде бы не замечала никого вокруг, но краем глаза все же видела своего мужа с его Отари, и сквозь хмель и расхристанность в ней поднималась какая-то злинка. Вдруг, не отдавая самой себе отчета, она перепрыгнула через барьер, подбежала к клетке и рванула дверь. Замок оказался незащелкнутым, слетел, и дверь открылась. Нина вошла внутрь. Медведь, будто Собакевич в театральной интерпретации великой поэмы, медленно к ней повернулся. Не раздумывая, Нина встала на цыпочки и запечатлела на его морде великопелепнейший поцелуй. Опять же краем глаза заметила, что Степан со всех ног бежит к месту действия, а за ним, заламывая руки, поспешает Отари. Донесся крик мужа:

— Нинка, ты совсем рехнулась!

Возле клетки Нугзар перехватил Степана, зажал ему рот, скомандовал железным тоном:

— Перестань вопить!

Медведь между тем положил передние лапы на плечи Нины и топтался возле нее, опять же как Собакевич в гостинной, точно боясь наступить на ногу. Пасть его была приоткрыта, оттуда разило застойной вонью. Все давно уже перестали смеяться. Кто может предвидеть следующий шаг скучающего медведя? Только Нина еще храбрилась, старалась не потерять ноту.

— Бедный мой медведь! Мой Лермонтов! Дитя мое!

На самом деле она боялась шелохнуться под лапами зверя. Мелькнула даже мысль: какой немислимый конец! Медведь же явно не собирался упустить беспрецедентной возможности позабавиться.

Степан оттолкнул Нугзара, завопил истерически:

— Сторожа позовите! С пожарным шлангом!

Сандро Певзнер, бледный, превозмогая головокружение, полез было через ограду, не ведая зачем. Что тут можно сделать? Спугнешь зверя, изувечит любимую, Нашу Девушку, звезду Тифлиса. Нугзар железной рукой стащил его вниз, а затем, демонстрируя полное хладнокровие, повторил путь Нины. Медведь в этот момент оказался к нему задом. Он распахнул дверь и дал ему сильного пинка. Ошарашенный зверь опустился на все четыре. Нугзар мгновенно вытащил Нину и захлопнул дверь. Медведь дико взвыл от разочарования. К месту действия бежали служащие зоопарка.

— Безобразие! — вопил старшой. — Хулиганство! Все арестованы! — Он схватил за грудки Сандро. — Ты кто такой, тунеядец?

— Я Сандро Певзнер, художник.

Муть похмелья и стыда переполняли молодого авангардиста, которому недавно определенные товарищи строго порекомендовали перейти на рельсы реалистического пролетарского искусства.

— Вот он, зачинщик! — завопил сторож. — Певзнер зачинщик!

Всех выручил опять же Нугзар. С исключительной авторитетностью он отвел старшего сторожа на пару шагов в сторону, незаметно для других показал ему красную книжечку НКВД и веско сказал:

— Спокойно, спокойно, дорогой товарищ! Никто не пострадал, ваш питомец цел и невредим. Девушка пошутила, батоно. Легкая поэтическая вольность. А клетки нужно запирать, батоно, чтобы не произошла вражеская вылазка...

Служащий мгновенно затих и забыл обо всех претензиях. Богемная компания направилась к выходу. Хмель улетучился. Все, кроме Нугзара, чувствовали себя отвратительно из-за недостатка проявленного мужества. Нина кляла себя за неуместную браваду и крикливо. Нугзар взглянул на часы.

— Пардон, пардон, мне пора улетучиваться. Увидимся вечером у Папы Нико.

По-родственному он поцеловал Нину в щеку и немедленно удалился своим стремительным шагом, исчез за ближайшим углом. Вскоре и вся компания рассеялась.

Ранним вечером того же дня Нина и Степан медленно шли по горбатой улочке старого города по направлению к маленькому ресторанчику, на котором поверх старой вывески «Духан Папы Нико» белой краской, словно в примитивистско-кубистской картине, было намазано «Столовая № 7 Горнарпита». Степан временами на несколько шагов отставал от жены. Однажды она повернулась и увидела, что он втягивает в нос с руки белый порошок. Она презрительно дернула плечом.

— Прекрати это, Степан! Ты уже шагу без этого ступить не можешь! Скажи, ты запаковал свои вещи наконец? Или ты забыл, что мы завтра в Москву отправляемся?

Степан бросил на нее странный взгляд, пробормотал:

— Подожди, Нинка, нам надо поговорить. Давай сначала зайдем к Папе Нико.

В духане, несмотря на сталинскую пятилетку, все еще царил особая тифлисская атмосфера. Ресторанчик был излюбленным местом извозчиков и богемы. На стенах висели яркие примитивистские картины в стиле Пиросмани. Только сам папа Нико, «Король духанщиков», как его называли в городе, был невесел. Вместо того, чтобы, как обычно, встречать гостей и раскрывать всем объятия, он сидел у стойки со своим другом — художником и жаловался ему на то, что он больше у себя не хозяин, а «замдиректора».

— Все забрали, все кастроли национализировали, все, кроме твоих картин. Я теперь никто. Прислали партийца. Кончилась, мой друг, целая эпоха!

Художник утешал духанщика со свойственным этому племени легкомыслием:

— Подожди, Нико, дорогой. Время придет, тебе дадут миллионы за мои картины.

Нина и Степан прошли в угол и спросили бутылку вина.

— Большую, — вдогонку официанту сказал Степан.

— Можно сразу две, — добавила Нина. — Что происходит, Степка? — спросила она и положила свою руку с двумя кольцами, подаренными Паоло и Тицианом, на его подрагивающий кулачок.

Степан весь как-то поплыл, заныл словно от зубной боли, показывая ей, смотри, мол, как страдаю, потом



встряхнулся, волосы двумя руками отправил назад и сказал:

— Я не еду в Москву.

В центре города в этот час стояли шум и суета. Надвигались со всех сторон переполненные трамваи. Трубили автомобили. Кричали друг на друга извозчики. Нугзар, словно торпедный катер, разрезал толпу. Подошел к уличному торговцу лимонадом. Вместе со стаканом влаги торговец передал ему тяжеленький сверток. Нугзар положил сверток в карман, с наслаждением опустошил стакан. Затем исчез под аркой проходного двора.

Нина и Степан пили вино, не глядя друг на друга.

— Что-то лопнуло в наших отношениях, Нинка, — печально сказал Степан.

— Хорошее слово — лопнуло, — сказала еще печальнее Нина. — По отношению к надутому шарiku...

— У тебя успех, а я выпадаю в осадок, — сказал Степан.

— О чем ты говоришь, какой успех? — с досадой сказала она.

Степан вдруг на мгновение вспыхнул.

— Этот проклятый медведь, после него мне все стало ясно! Это была какая-то проба, которую мне судьба подсунула, и я оказался полным говном!

— Ну что за вздор, — удрученно и раздраженно протянула она.

В тот же час председатель Центральной контрольной комиссии Ладо Кахабидзе сидел в своем просторном кабинете под картиной, на которой его любимый вождь читал газету «Правда». Замечалось, если не бросалось в глаза, отсутствие портрета Иосифа Сталина. Входящему как бы предлагалось настроиться на тон серьезности и деловой партийной чистоты, ибо что может быть чище и серьезней в мире, чем Ленин, читающий «Правду»? Ладо Кахабидзе после целого дня совещаний и встреч сидел в одиночестве, прочитывал бумаги и делал пометки.

Где-то в глубине дома скрипнула дверь. Послышались быстрые легкие шаги. Они приближались. Дверь кабинета открылась. Кахабидзе поднял голову. Вошедший целился в него из пистолета. Кахабидзе открыл было рот и был тут же убит на месте.

В «Духан Папы Нико» между тем забрел известный всему городу шарманщик с попугаями. Вся троица и старая машина были сегодня в ударе, звучала вполне различимая старая мелодия, шарманщик подпевал, птицы порхали над столами. В Тифлисе часто спорили, почему попугаи не улетают от шарманщика, может быть, он привязывает их за лапки какими-то невидимыми ниточками? Только редкие пьяницы понимали, что шарманщик представляет для попугаев понятие «родина».

Степан говорил своей жене с жаром:

— Я люблю тебя по-прежнему, Нинка, но не могу ехать с тобой. Я стал бояться Севера. Север пожрет меня, как мамонты когда-то пожрали коз.

— Мамонты были травоядными, невежда, — с досадой возразила Нина. — Что ты будешь здесь делать один, Степан? Ты и на пропитание себе не заработаешь.

Степановского жара хватило на одну фразу. Он вдруг весь опять обвис, вяло забормотал:

— Ну, что-нибудь придумаю... Вино здесь дешевое... Сыр... Зелень... Потом не забывай, что мой

верный Отари всегда со мной.

Вот о ком она постоянно забывала, как не помнят о тени человека, а он ведь и вправду ходил за ее мужем, словно тень. Она обернулась туда, куда показал подбородком Степан. За одиночным столиком сидел томный, будто лебедь, Отари. Он явно дожидался конца их разговора. Нину вдруг осенило, она наконец-то догадалась, в чем причина такой магнитной неразделимости двух мужских персон. «Ах, вот в чем дело! А я-то и не догадывалась, дура!» Она начала хохотать и все хохотала и хохотала, даже голову на руки от хохота уронила.

Из внутренней дверцы духана тут вышел плотный мужчина, подпоясанный военным ремнем, только что назначенный директор «столовой Горнарпита». Решительно пройдя меж клиентами, он двумя руками подтолкнул шарманщика к выходу.

— Пошел вон, кинто несчастный! Частный промысел запрещен!

Два попугая с розовыми билетиками в клювах вдруг разом сели на его плечи. Директор инстинктивно схватился за пояс, где у него еще совсем недавно висел вохровский наган. Папа Нико горько вздохнул: эпоха кончилась, да здравствует эпоха! И это кончится, вздохнул изгоняемый философ, частным промыслом Божьим.

Полный беспорядок и смятение царили этой ночью в доме фармацевта Галактиона Гудиашвили. Вбегали и выбегали женщины с криками: «О горе! О ужас!». Хозяин дома лежал на диване в полубессознательном состоянии и только повторял: «Нет, нет, я не верю, мой Ладо жив...». Любимый племянник Нугзар с окаменевшим от трагизма лицом сидел на валике дивана, держал за запястье отброшенную дядину руку. В такой вот момент в дом вбежала Нина, бросилась к дяде.

— Что случилось, дядя Галактион?

Дядя закрыл ладонью глаза, проговорил:

— Нугзар прибежал со страшной вестью, Ладо убит в упор у себя дома... Соседи прибежали, подтверждают, весь город уже... Нет, нет, не верю, мой Ладо жив...

Нина схватилась за голову, потом заломила вверх руки тем же движением, что и все грузинские женщины. Подошел Нугзар, отвел ее в сторону:

— Нина, будь мужественной...

— Кто мог это сделать? — почему-то шепотом спросила она.

Нугзар ответил тоже шепотом, но очень громким шепотом:

— Я слышал, что троцкисты посчитались с ним за старые долги.

Она отмахнулась.

— Это вздор, троцкисты не прибегают к личному террору!

Он заглянул ей в лицо, как показалось, не без лукавosti:

— Откуда ты это знаешь, Нина?

Нина ударила себя кулаком в ладонь, схватила со стола из открытой коробки папиросу, отбросила ее.

— Как будто ящик Пандоры открылся! — воскликнула она.

— Что еще случилось? — живо спросил Нугзар.

— Ничего не случилось, но завтра у меня поезд... понимаешь?... утром уезжаю в Москву... вещи не собраны... полный развал... эти новости... — Она, что называется, металась.

— Вещи — это не проблема, — солидно сказал Нугзар. — Пойдем, я помогу тебе собраться. Доверься кузену.

Будто схваченная этой фразой, Нина остановилась спиной к нему, потом медленно посмотрела через



плечо. Волна дикой радости прошла через тело Нугзара. Сегодня мой день. Ничего не говоря, она отправилась наверх. Он последовал за ней.

В ее комнате все было разбросано, пустые чемоданы раскрыты. Войдя, Нина стала швырять все, что под руку попадалось — белье, туфли, книги, — на дно чемоданов. Нугзар подошел сзади, взял за плечи и повернул к себе. Сопротивляться ему сегодня она не могла. Напротив, ее вдруг неудержимо потянуло кому-то в чем-то до конца, до какого-то конца, ей неизвестного, дальше конца, то есть окончательно, признаться. Он это почувствовал и проговорил срывающимся голосом:

— Ты девочка что надо, не боишься медведей...

— Не боюсь и пострашнее бестий, — с темной улыбкой прошептала она и стала расстегивать его рубашку.

Он потянул с ее плеч жакетку. Движения их были медлительны, как будто они старались, чтобы ни одна секунда этой тристии не пролетела незаметно.

Когда поезд этих секунд все-таки прошел, Нина долго еще не могла успокоиться. С закрытыми глазами она целовала плечи и шею своего мужчины. Вдруг до нее долетел его бесконечно подлый голос:

— Я вижу, тебе понравился абрек.

Все кончилось. Она открыла глаза.

— Это ты абрек?

Нугзар рассмеялся.

— Конечно, я абрек, смелый разбойник!

Нина отодвинулась от него. Их нагота вдруг показалась ей постыдной.

— Абреки не шантажировали женщин, — сказала она, хотя прекрасно понимала, что начинает — это после столь бурных откровений и признаний — хитрить, самой себе представляться запуганной жертвой. Вдруг ее поразила догадка, она села в постели. — Вай! Теперь я все поняла! Это ты убил дядю Ладо Кахабидзе!

Нугзар мгновенно бросился на нее, схватил грудь, повалил, потом зажал рот ладонью и зашептал горячо в ухо:

— Никогда больше не повторяй этой чепухи, дура! Иначе все мы будем убиты, и я, и ты, и все, кто услышит! Ты поняла?

Снова все началось. Отвернув от него голову, глазами, полными страха и тоски, Нина смотрела в темное окно.

## Глава тринадцатая. ЖИЗНЕТВОРНЫЕ БАЦИЛЛЫ

На даче Градовых в Серебряном Бору с утра опять семейная идиллия, все семейство собралось за завтраком: сам профессор, профессорша, старший сынкомдив, очаровательная комдивша, их важный сын Борис IV, средний сын-марксист с марксисткой же женою, их сын, рожденный в восьмилетнем возрасте Митя, и хлопотливая управительница Агафья, ну и, конечно, главный идеолог таких гармоний молодой овчар Пифагор.

— Все должны каждое утро выпивать по стакану простокваши, — наставлял свое семейство Борис Никитович. — Великий Мечников обнаружил в ней жизнотворные бациллы, секрет долголетия. Все пьют простоквашу, все без исключения. Никита, тебя это тоже касается!

Начальник штаба Особой Дальневосточной Армии вздрогнул.

— Как, меня тоже? — Торопливо опустошил стакан.

Хороший мальчик, сказал ему взгляд Мэри.

— На фиг нам это долголетие? — бросила вызов теннисистка. — Гнить в тунгусских болотах на Дальнем Востоке?

Никита потупил глаза. Мэри приняла мяч.

— Вероника, что за выражения? Здесь же дети!

Митя, ставший тут уже явным любимчиком, зашелся в смехе.

— А на фиг, а на фиг нам это долголетие?

Борис IV, потеряв важность, даже подпрыгнул:

— На фиг! На фиг!

Мальчики явно подружились, несмотря на разницу в возрасте. «Кулацкое отродье» изменился до неузнаваемости. Агаша даже расчесывала ему волосы на косой пробор, чтобы был похож на ребенка «из хорошей семьи». Только по ночам еще он иногда с закрытыми глазами вскакивал и куда-то с мычанием рвался, но все реже и реже.

Борис Никитович погрозил Веронике, все свое племя обозрел с притворной строгостью, остался собственной ролью весьма доволен, посмотрел на часы и встал. Что-то все-таки мешало почувствовать полный утренний комфорт. Вдруг вспомнил — опера! Грозный и справедливый Грознаправ сразу пропал, профессор слегка заюлил.

— Мэричка, можно тебя на минуточку?

Мэри уже почувствовала неладное, прошла за ним в кабинет.

— Что случилось, Бо?

— Мэричка, наш поход в оперу придется отложить.

— Ну вот, я так и знала! Мы никогда до оперы не доберемся!

Он торопливо забормотал:

— Понимаешь, Главное медицинское управление Наркомата Обороны просит в самые кратчайшие сроки представить доклад по нашему методу местной анестезии. Поэтому мне пришлось созвать всю нашу исследовательскую группу. Мы просто не управимся до начала спектакля.

Мэри была очень оскорблена. «Поход», как он выражается, в Большой на новую постановку для нее был событием — сегодня и проснулась-то с радостным предвкушением, — а для него это всего лишь досадная причина спешки, препятствие на пути к новым успехам. Как-то не так все это представлялось в молодости! Именно в опере, в консерватории, в музыке все это представлялось. Да, конечно, труд, быт, борьба, но все это рядом с музыкой, с чистым вдохновением, иначе мы лишимся духовной свободы!

— Я вижу, Борис, ты просто потерял способность отказывать начальству! Ты получил свои награды и высшие посты, но потерял духовную свободу!

Градов умоляюще простирает руки:

— Ты не права, моя дорогая!

В это время кто-то продолжительно позвонил в дверь. Агаша прошелестела открывать. На пороге выросла внушительная фигура бывшего младшего командира РККА, ныне участкового уполномоченного Слабопетуховского. Он что-то тихо сказал на ухо Агаше. Та всплеснула руками, схватила его за рукав, обходным путем, чтоб в столовой не увидели, повлекла в кабинет. Здесь уж затопала ножками, замахала кулачками, шепотом закричала, показывая на него хозяевам.

— Борюшка, Мэрюшка, да вы подумайте только — за Митенькой пришел Слабопетуховский! Чтоб мои глаза тебя никогда не видели! Пошел вон, бесстыдник!

Участковый пятнами покрылся от возмущения, уселся на скамью, скулить выпятилась, будто скифский курган.

— А при чем тут Слабопетуховский, Агафья Васильевна? Слабопетуховского вызвали, куда следует,



поставили по стойке «смирно» и приказали. Получен сигнал из Тамбовской области. Несовершеннолетний кулацкий элемент незаконно вывезен и помещен в семью профессора Градова. Немедленно, до соответствующих указаний, изъять несовершеннолетнего из семьи и поместить в детприемник. Зачем же вы, Агафья Власьевна, «бесстыдником» меня потчуете? Ешьте его сами, вашего «бесстыдника»!

В большой обиде он задрал голову и через анфиладу дверей увидел кухонный шкаф с граненым стеклом, за которым — он знал это лучше других — всегда стоит графин с крепкой настойкой.

— Да они совсем уже осатанели, эти мерзавцы! — вскричала Мэри. Грузинский ее темперамент никогда не заставлял себя искать.

— Это уже просто за пределами добра и зла, — раскипятился Градов. — Изъять несовершеннолетнего, каково!

Он еле сдерживался, чтобы не присоединиться к крику жены: «Мерзавцы!» Мерзавцы, осатаневшие от полной безнаказанности, исчадия ада!

— Надеюсь, ты этого не допустишь, Бо?! — на той же ноте обратилась к нему жена.

Он вдруг скомандовал, словно и сам был представителем большевистской бюрократии:

— Мэри, остаться! Слабопетуховский и Агафья, можете идти! Ждать! Никому ничего не говорить!

На кухне участковый одной рукой обротал Агашу, другой привычно потянулся за графином. Агаша слабея под его полуобъятьем.

— Слабопетуховский, как ты мог? Где же твои клятвы, Слабопетуховский? Ведь они же мне все как родные, а Митенька пуще других, сиротка. — Вдруг решительно стряхнула могучую длань, скомандовала: — А ну, сей же час ступай к начальству, скажи — Мити дома нету. Скажи, с мамашей Цицилией уехал в партийную санаторию!

Слабопетуховский восхитился находчивостью подруги, повеселел.

— Слушаюсь, Агафья Власьевна, однако позвольте для бодрого настроения кавалерийским способом пополнить ваш поцелуй и двести граммчиков напитка.

В кабинете тем временем Борис Никитович решительно направился к телефону, однако не успел он положить руку на трубку, как телефон сам зазвонил. Мэри трагически сжала руки на груди.

— Савва? — удивился Градов. — Хорошо, что вы позвонили именно в этот момент. Пожалуйста, известите всех, кому надо знать, что я отменяю сегодня операцию и все встречи. Что? Вы счастливы? Как прикажете понимать? Ах, вот что! Ну что ж, увидимся вечером. — Он повесил трубку и обратился к жене: — Вообрази, Нина и Степан возвращаются сегодня. Она прислала телеграмму Савве, и он пришел в экстаз, несчастный.

На Мэри даже эти новости не подействовали.

— Пожалуйста, Бо, Нина — потом! Сейчас — только Митя, Митя, Митя! Надо спасать мальчика!

Профессор сел за стол, открыл сафьяновую записную книжку, нашел номер коммутатора Кремля. Боже, как ему не хотелось туда звонить! Каждая минута отсрочки казалась ему выигрышем.

— Мэри, принеси мне тот костюм, ну, тот, с их дурацкими орденами, — попросил он. Как только она вышла, снял трубку. — Девушка, соедините меня, пожалуйста, с секретариатом председателя ЦИКа товарища Калинина!

Мэри уже прилетела обратно, неся темный костюм с двумя орденами Красного Знамени. Теперь его пошлИ награждать едва ли не перед каждым праздником, и все эти ордена, здоровенные бляхи, полагалось носить на «парадном» костюме. Не отрываясь от телефонной трубки, он начал переодеваться. Снял пиджак. В это время на другом конце провода проклонился секретариат, бойкий мужичкий голосишко какого-то «выдвиженца». Градов солидно заговорил:

— Здравствуйте, у телефона профессор-орденоносец хирург Борис Никитович Градов. Мне необходимо поговорить с товарищем Калининым. Простите, дело не терпит отлагательств. Да, да... Что вы сделаете, товарищ? Провентилируете обстановку? Пожалуйста, провентилируйте ее. Да, я подожду.

Он снял ботинки и брюки и уже принял от жены официальный костюм, когда услышал в трубке тversкую малокупеческую скороговорочку: Калинин.

Почему я раньше не замечала на правой голени у Бо этой синей вены, подумала Мэри, глядя на бесштанного мужа. Это, должно быть, от многочасового стояния на операциях.

Градов уверенно и с должной долей почтительности, словом, как надо, говорил с козлобородым «всесоюзным старостой», о котором в Москве распространялось, что в общем-то не злодей, только охальник и трус.

— Мне необходимо поговорить с вами, Михаил Иванович. Убедительно прошу принять меня прямо сегодня. Отниму у вас не более четверти часа. — Держа трубку между ухом и плечом, он ловкими движениями завязывал галстук. — Да? Чрезвычайно благодарен. Немедленно выезжаю.

Повесив трубку, он при всех регалиях предстал перед женой. Мэри поцеловала его, чуть отодвинулась, любуясь. Даже эти варварские ордена ему к лицу.

— Я была не права, Бо, ты не потерял духовной свободы!

К вечеру все окончательно и самым счастливым образом разрешилось. Заветная фраза кремлевских владык: «Можете спокойно работать, товарищ Градов», — была произнесена. На даче воцарилось веселье. Митя гонялся за Борисом IV по всем комнатам, не подозревая, что он подделал «изъятие», а только лишь чувствуя праздничное возбуждение, которое всегда охватывало этот дом в дни «полного сбора». В столовой играл патефон и открывались бутылки. Самым счастливым был, разумеется, Пифагор, который все знал. Кроме того, и это, может быть, даже главное: Нина, Нина приехала, любимая сестра! Мэри раскраснелась, все время награждала носителя стойкой духовной свободы, то есть своего мужа, поцелуями.

— Наш папочка сегодня герой! Наш папочка сегодня герой!

Борис Никитович с большим значением, хотя и не без сдержанного юмора, повествовал об аудиенции.

— Вот что значит быть русским врачом, друзья мои! Член правительства... да-с... хм... да еще такого правительства... говорит с тобой на равных!

Он посмотрел внимательно на Нину. Дочь была бледна, как будто не с юга приехала, а из туманного Питера. Вдруг до него дошло, что она одна.

— Ба, а где же Степан?

Нина ничего не ответила, но зато тут же выступил вперед донельзя возбужденный, если не сказать сияющий от счастья, Савва Китайгородский.

— Вообразите, леди и джентльмены, поезд приходит, Нина выпрыгивает из вагона, и я вижу, что она... она одна, леди и джентльмены! Я оглядываюсь вокруг: увы, Степана нет, он просто не определяется в пространстве! Я даже в вагон в поисках Степана, но его



и там не было... Он просто драматически отсутствовал, леди и джентльмены!

Он оглянулся на Нину, и она ему, персонально ему, ассистенту кафедры общей хирургии, улыбнулась. Чуть-чуть рассеянная улыбка, но с явным адресом, не просто в воздух.

Профессор тут тоже улыбнулся понимающе, обратился к Савве:

— И вы были этим отсутствием чертовски удручены, мой друг, это нелегко.

Может, впервые со времен «дела Фрунзе» Борис Никитович был так замечательно оживлен, как сегодня. Он перешагнул на лету своего внука Бориса IV и посадил его к себе на колени.

— Надеюсь, хотя бы этот отпрыск, Борис IV, пойдет по стопам деда и станет великим русским врачом.

— Пойду, пойду, дед! Где твои стопы?! — вскричал Борис IV.

С кухни всем присутствующим салютовал граненым стаканчиком участковый уполномоченный Слабопетуховский. Агаша сновала туда-сюда с блюдами пирожков и холодца. Никита, Вероника, Цицилия, Кирилл, Нина и Савва, то есть вся взрослеющая к этим временам, к 1930, крепнущая посреди «великого перелома» молодежь градовского дома, вышли на веранду покурить.

— Подумать только! — пыхнул папиросой Никита. — Старик никому ничего не сказал и все устроил сам. А ведь я бы тоже мог через Блюхера... он член ЦК...

— Тише, товарищи, Митя ничего не знает, — предупредила Цицилия. — Да и не нужно ему ничего знать о его прошлом. Пусть вырастет полноценным советским человеком.

Нина в этот момент метнула на нее явно грузинский взгляд, но ничего не сказала. Никита усмехнулся.

— А все-таки, Цилька и Кирка, этот случай не очень-то подходит к вашим историческим классификациям, а?

— Исключения не опровергают процесса как такового, — со странной для него мягкой академичностью возразил Кирилл.

Шикарно хохотнула Вероника.

— Предпочитаю все же подпадать под исключения, чем под процесс!

Приближалась «счастливая концовка» нашей второй части. Агаша звала всех к столу. В доме, невзирая на все тревожения, а может быть, благодаря им, несмотря и на идеологические шероховатости, распространялась всеобщая веселая влюбленность.

— Ну, почему, почему мы не можем всегда все жить вместе?! — восклицала мама Мэри.

И только Нина улыбалась вымученной улыбкой. Она еще не приехала. Медленно, будто поезд, проходящий через узловую станцию, проходили через нее события последних дней: объяснение со Степаном, убийство Ладо Кахабидзе, ночь с убийцей, и самое последнее — короткий эпизод по дороге с юга, железнодорожное впечатление современной Анны Карениной.

...Поезд медленно двигался через узловую станцию Ростов — Нахичевань. Нина стояла в проходе своего «международного вагона», курила. Она не могла оторвать глаз от окна. В тошнотворном свете станционных огней перед ней проплывали бесконечные вагоны-теплушки, «сорок человек, восемь лошадей», в которых вывозили на Восток, на вечное поселение, кулацкие семьи Украины и Кубани.

В крохотных окошечках под крышами вагонов набито было месиво глаз и губ, общее, бледное до желтизны лицо. Кое-где, видимо, вопреки приказу,

двери теплушек были чуть приоткрыты для притока воздуха. Оттуда неслись проклятья, вопли, детский плач. Вдруг истерически взвизгнула гармошка. Известно, сколько лошадей, но людей там явно было сверх нормы. Между составами на путях расставлена была охрана — кургузые красноармейцы с винтовками. Иногда, ведя собак, проходили специалисты, энкаведешная вохра.

Нина не могла оторвать взгляд от этих вагонов смерти. И вдруг кто-то ответил на ее взгляд. Из окошечка теплушки прямо на нее, молодую красивую женщину из «международного» вагона, смотрело распухшее страшное лицо неопределенного пола, именно общее лицо с непересчитанным количеством глаз. Смотрело с ненавистью и презрением.

## Антракт пятый. ГАЗЕТЫ

*XVI съезд ВКП(б) проходит под лозунгом «Пора кончить с правой оппозицией!». Партия очень терпеливо старалась и старается выправить линию сбившихся с ленинского пути товарищей. Однако лидеры правых не доказали, что они готовы вскрыть все сделанные ими ошибки, что они безоговорочно порывают со своими ошибками, не оставляя ни малейшей лазейки для своих правооппортунистических колебаний. Статья тов. Бухарина не только не говорит о признании им ошибок, но дает основания думать, что он остается на правооппортунистической позиции. То, что сказали на съезде вожди правых тт. Угланов, Томский и Рыков, заставляет съезд партии насторожиться. Партия вправе ждать от т. Рыкова более прямых и ясных ответов. Пропаганда и защита правых взглядов несовместимы с принадлежностью к ВКП(б). Бывшим сторонникам этих теорий надо доказать на деле, что они борются с правыми. Партия не «ноев ковчег», а боевой союз единомышленников. Только единство даст нам возможность победить всех врагов коммунизма.*

*Досрочная массовая подписка на заем «Пятилетку в четыре года» развернулась на заводах и фабриках Ленинграда. Массовая волна инициативы охватила Урал.*

*По сообщению МОСПО, мясные талоны третьей декады июня за №№ 13, 14, 15 действительны по 3 июля включительно. Срок действия мануфактурных талонов рабочих и детских второго квартала продлен на третий квартал.*

*К 25-летию восстания: Мировой фильм «Броненосец Потемкин»!*

*Урожай колхозных полей собрать полностью! Большевицким примером повести за собой единоличников!*

*Всесоюзная авто-вело-мото эстафета прибывает в Москву. На стадионе «Динамо» состоится передача рапортов.*

*В месячный срок сдать бумажную макулатуру! Японские краболовные суда хищничают в советских водах.*

*Из заключительного слова товарища Сталина. 3 июля 1930 года. ...Лидерам правых надо... порвать окончательно со своим прошлым, перевооружиться по-новому и слиться воедино с ЦК нашей партии в его борьбе за большевистские темпы развития, в его борьбе с правым уклоном. Других средств нет. Сумеют сделать это бывшие лидеры правой оппозиции — хорошо. Не сумеют — пусть пеняют на себя. (Продолжительные аплодисменты всего зала. Все встают и поют «Интернационал».)*

*Ко всем строителям дирижабля «Правда», всем группам содействия, редакциям газет. Просим сообщить, сколько собрано средств, и перевести собран-*



ные средства на текущий счет дирижабля «Правда».

...Текстильщик Иванов внес 25 рублей золотом. «Посылаю вам для пролетарской казны — 25 р. зл. Долго их хранил, хотел сделать себе зубы, да вижу не время. Предлагаю открыть сбор золотых вещей. У каждого найдется что-нибудь. С тов. приветом, Иванов».

...Журналисты, отдыхающие в сочинском доме отдыха, и работники печати вместо венка на могилу Тараса Кострова вносят в фонд дирижабля 420 рублей.

К 27 сентября поступило 193.452 р. 97 коп., 3000 итальянских лир, 150 рупий, 7 германских марок, 4 золотых кольца и разные ценные вещи. «Правда» будет рвать над советской землей!

Ударными обозами хлеба покрыть сентябрьский недобор!

Сильнее огонь по кулаку и правым оппортунистам, тормозящим коллективизацию!

Шире и крепче опереться на инициативы масс в борьбе за новые миллионы колхозников!

Мы, дехкане-единоличники кишлака Зариент Маргеланского района, убеждаемся в преимуществе колхозов и вступаем в колхоз имени Сталина!

Интерес к дирижаблестроению огромен!

С мест. Под маской анонимок. Прения по докладу об итогах съезда в Институте им. Плеханова как будто обнаружили согласие с генеральной линией партии... а между тем значительное количество анонимно поданных записок свидетельствует о наличии среди участников собрания ряда товарищей, или несогласных с решениями съезда, или сомневающихся в их правильности. Некоторые авторы анонимок издевательски указывают на то, что коллективизация провалилась.

...При проработке решений XVI съезда партии ячейке Московского Института Народного Хозяйства им. Плеханова необходимо заострить внимание на факте наличия примиренческих настроений у части партийцев и дать им решительный отпор. По-боевому убирать и заготавливать!

Привлечь к строжайшей ответственности виновников порчи огородной продукции!

Подсудимые есть, почему их не судят?

Мобилизовать в двухнедельный срок 30 писателей, включив их в состав ударных бригад! Ликвидировать отставание литературы от требований социалистического строительства!

Новости дня. В Астане начался процесс над кооперативными вредителями.

Первые закрытые распределители в Ленинграде.

Обнаружены большие залежи свинца.

В Сталинабаде состоялся процесс над работником Автопромторга Кубицким, избившем шофера-таджика. Общественность с негодованием осудила этот ярко выраженный случай великодержавного шовинизма.

На решающем этапе ликвидации кулачества.

...Пока вопрос «кто кого» не решен и классовая борьба в нашей стране продолжает обостряться. Мелкотоварное производство ежедневно и ежечасно рождает капитализм... На основе сплошной коллективизации мы наносим жестокий удар кулаку, особенно в зерновых районах. Под колесницей победоносного социализма он напрягает последние отчаянные усилия, пытается увлечь за собой середняка и бедняка и даже отдельные слои городского пролетариата. Задача ликвидации кулачества как класса есть наша центральная задача.

Органами ГПУ в Москве ликвидированы две новые группировки «бывших людей». Одна из них возглавлялась типичным кулацким идеологом проф.

Кондратьевым. Рядом существовала оформленная группа меньшевистских и меньшевистствующих интеллигентов — Громана, Базарова, Суханова и др. За рубежом. Подозрительные перелеты польских самолетов. Восстание туземцев в Индокитае. Оживление деятельности белогвардейцев в Харбине. Лидер германских фашистов Гитлер проводит переговоры с промышленными магнатами Рурской области.

ОГПУ раскрыта вредительская и шпионская организация в снабжении населения важнейшими продуктами питания, имевшая целью создать в стране голод и вызвать недовольство среди широких рабочих масс и этим содействовать свержению диктатуры пролетариата. Вредительством были охвачены: Союзмясо, Союзрыба, Союзконсерв, Союзплодоовощ и соответствующие звенья Наркомторга.

Из показаний проф. Рязанцева (бывшего помещика и интендантского генерала): «...Я считал, что основным классом, носителем культуры является буржуазия...»

Проф. Каратыгин (бывший редактор кадетской газеты): «...Характерным для нас являлось неверие в восстановление хозяйства страны советской властью, отрицание коллективизации, установка на индивидуальное хозяйство, необходимость сохранения частно-капиталистических отношений...»

За свою вредительскую работу в холодильном деле я получил от Рязанцева всего 2.500 рублей...»

Левандовский (зав. отделом сбыта и распределения Союзмяса): «Мы хотели, чтобы государство ушло из мясного дела, передав этот рынок частному капиталу...»

Отклики в стране на разоблачение вредительской группы.

Беспощадно раздавить вредительскую гадину! Привет стражу революции ОГПУ! Больше бдительности!

Трующиеся отвечают на вредительство в пищевой промышленности еще большим сплочением вокруг большевистской партии, обязательствами с честью вступить в третий, решающий год пятилетки. На места одиночек-вредителей рабочий класс выдвинет в аппарат сотни и тысячи организаторов социалистического строительства.

Металлисты электрозавода требуют беспощадного приговора. Амовцы приветствуют ОГПУ — меч пролетарской диктатуры. Мы требуем применить к вредителям высшую меру наказания — расстрел! Демьян Бедный. ГПУ во вчерашней публикации разоблачило махинации. Вредители проиграли войну. Они — в плену! Контрреволюция движется, движется! Мы у власти! Гоп-ля! Уже тянулась к власти интеллигентская жидица, кондратьевско-громанская сопля! Просчитались однако же, стервы. Подвели их мясные консервы!

К стенке! Требуем возмездия агентам международного буржуазии!

Коллегия ОГПУ, рассмотрев по поручению ЦИК Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Совнаркома СССР дело о контрреволюционной организации в области снабжения, постановила: Рязанцева, Каратыгина, Карпенко, Эстрина, Дардыка, Левандовского, Войлощикова, Купчина, Нигзбурга, Быковского, Соколова... (всего 48 человек)... как активных участников вредительской организации и непримиримых врагов советской власти — РАССТРЕЛЯТЬ.

Приговор приведен в исполнение.

Председатель ОГПУ Менжинский. «Борьба за качество продукции — борьба за социализм!» Из выступления тов. Куйбышева на конференции по качеству продукции.



*Редактору газеты «Правда». Уважаемый товарищ редактор! Прошу поместить мое заявление.*

*В № 9 дискуссионного листка «Правды» была помещена моя статья «К XVI съезду партии». Сейчас я прихожу к выводу, что был глубоко не прав, а правы товарищи, выступившие против меня. Мои взгляды по вопросам коллективизации соответствовали не линии партии, а линии правого оппортунизма. Признаю свое выступление вредным и ошибочным и полностью разделяю взгляды партии по вопросам коллективизации. На деле постараюсь исправить допущенные мной ошибки.*

*С коммунистическим приветом*

*Мамаев.*

## Антракт шестой. ШУМ ДУБА

Среди многочисленных деревьев Нескучного сада, что над Москвой-рекою, чуть на отшибе, на склоне пологого холма стоял восьмидесятилетний дуб. Верхние его ветви шумели: «Буташевич, Буташевич!», средние и нижние подпевали: «Петра-шевский!», клесты в ветвях свистали: «Дост! Дост!».

В отличие от других деревьев парка, это зародилось в основательном отдалении, в сотнях верст к северу, во влажном устье короткой, но полноводной реки. После разгона кружка зародившийся дуб, почти бестелесный, еще долгое время лежал у протоки, в которой отражались дворцы и мосты, и шпили, и облака, и сам, почти еще несуществующий, совершенно невидимый будущий дуб, воплотивший идею разогнанного либерального кружка. Как-то раз, однако, разыгрался шторм, пропыхала гроза, мощными турбулентциями зародившийся дуб, или даже идея дуба, поднят был в несущийся к югу поток воздуха, летел среди других идей, частиц, спор и вытянутых из болот мелких лягушек, пока не упал на склон пологого холма в Нескучном Саду старой столицы.

Случилось это теплой и влажной ночью, в небе боролись южное и северное начала, вдруг все озарялось, высвечивались колонны круглой беседки, в которой дерзкая парочка предавалась любви, стволы, рябь пруда и кочковатость реки. Зародившийся дуб, или просто идея дуба, цеплялся за родное, кем-то родным недавно взрыхленное, пахучее, черное под ливнем, и рыхлое, и липкое вещество, и патетически боялся: неужели не привьюсь? Привился.

Привился, и вот восемьдесят лет спустя, в 1930, он стоит, хорохорится под ветром, занят, как все окружающие, обычным древесным делом, в основном фотосинтезом, от него уже, согласно недавним изысканиям, все остальное, но в ветвях или меж ветвей, все еще живет память о кружке, вернее, расплывчатые идеи кружка, гулкое сбрасывание кожаных галош в передней, обмен литературой, взглядами, «письмо Белинского Гоголю», Федор, душа моя, прочтите вслух, головоломки допросов, барабанный бой фальшивого растрела.

Однажды под вечер в беседке оказалась парочка, мужчина лет под сорок и юная дева. Как и когда-то его белый противник, красный командарм Блюхер был влюблен в адъютантшу штаба. Головка ее лежала на его широком кожаном плече, трогательный носик рядом со звездой маршала, а он смотрел на ветви дуба и думал: надо что-то делать, может быть, именно сейчас, может быть, скоро будет уже поздно, пойти на риск, войти в историю спасителем революции... Неплохо думает, размышлял дуб, посылая ободряющие волны. Думай дальше. Технически все сделать несложно, продолжал свою думу Василий. Приехать в следующий раз из Хабаровска с укомплектованной группой охраны, войти в Кремль, арестовать мерзавцев, а особенно главного, рыжего таракана, выступить по радио, попросить всех оставаться на своих местах, отменить коллективизацию, вернуть нэп, предотвратить надвигающийся голод.

Предательская сырость шла со стороны реки. Страх плотным сваявшимся облаком медленно двигался от центра города, будто выхлоп тепловой электростанции. Дуб старался отгонять внимание командарма от этих угнетающих подробностей, пел свое: Буташе-евич — Петра-ашевский, свистал клестами: Дост! Дост!.. Струйки уныния, однако, проникали под кожаную сбрую, тревожили и звезду, и трогательный носик. Шансов на успех такого дела мало, все-таки ничтожно мало. Идти на операцию без союзников в центре немыслимо, искать сейчас союзников значит провал: ищейки Менжинского повсюду. То, что убьют, неважно, важно, что в историю войдешь не спасителем, а предателем революции.

Тем временем на пустынной аллее Нескучного сада к беседке под дубом приближался еще один спаситель революции, палач Кронштадта и Тамбова командарм Михаил Тухачевский. На его плечо склонилась головку еще одна юная дева вооруженных сил, парикмахерша наркомата. Такое тогда было поветрие: железные люди режима искали романтических утех.

Дуб взбудоражился всем своим существом. Сближайтесь, мальчики, увещевал он, Вася и Миша, станьте друзьями, ведь вы же думаете одну и ту же думу.

Между тем, заметив друг друга, командармы спешили со своих будущих конных памятников, сердца их трепетали в испуге. Тухачевский резко развернул свою даму, мелькнул и растворился в еловых сумерках. Одновременно Блюхер, подхватив своего трогательного носика, сбежал по ступеням беседки, сапоги его крепко застучали по асфальтированной тропке и пропали. Помимо всего прочего, оба командарма не были уверены в том, что их девушки не работают на Менжинского.

«Слабодушные», — краешком кроны прошелестел дуб и отвлекся всей душою к разворачивающемуся над Москвой закату.





**Марина  
КУЛАКОВА**

☆☆☆

Я иду по улице новых дней.  
Я не знаю, куда я приду по ней.  
Я поглощаю свет, я поглощаю звук,  
Я — новый пациент докторов наук.  
У меня есть диплом, и притом не один.  
При моем приближении вызывают 01,  
а заодно — 02, а заодно — 03.  
У меня нет предохранителя внутри!  
У меня внутри — паук Чингачук.  
Я — новый пациент докторов наук.  
Я ненавижу шум, предпочитаю гром.  
Я ненавижу лица за «круглым столом».  
Я никогда не ем из незнакомых рук.  
Я — новый пациент докторов наук.  
А вокруг стоят миллионы больниц.  
И в окно глядят миллионы лиц.  
И у них наперевес миллион алых рук.  
Это все пациенты докторов наук!  
Я иду по улице растрченных лет.  
Одичавшие люди смотрят мне вслед,  
Они лают мне вслед, а я молчу в ответ.  
Они бегут за мной, но теряют след.  
У них знания дыбом, а хозяина нет!  
Тихо!.. Тише... не будите осторожных людей.  
Не будите осторожных людей!  
Они проснутся, напугаются, и всех перепугают.

☆☆☆

Не будите осторожных людей.  
Если ты можешь мало — отрегулируй лицо.  
Ты пока еще не тот человек, который может все.  
Мы все — прибрежные люди.  
Нам только брызги в лицо —  
когда мимо летит на подводных крыльях  
человек, который может все.  
В управлении любви при Госкомглавнабе  
он достал распределитель любви.  
он поставил на себя, на тыщу пятьсот —  
и мы все, все, все вышли на орбиту  
человека, который может все.  
Кто не привык... кто не привык?  
Кто не привык — покупайте регулятор лица.  
Покупайте регулятор лица!  
Покупайте регулятор лица  
и регулируйте себе лицо без конца.  
Покупайте регулятор лица!

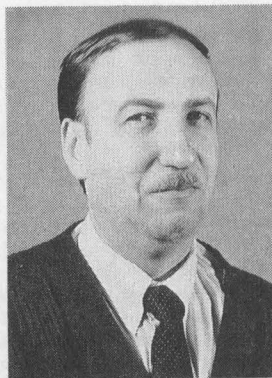
### **Человек, никогда не читавший книг**

Человек, никогда не читавший книг,  
к моему окну молчаливо приник.  
В мою комнату ночью тихо проник  
Человек, никогда не читавший книг.  
Он смотрел мне в лицо, и в его зрачках  
шевелилась ночь, шевелился страх.  
Он не знал — откуда, он не знал — куда,  
Он не знал — зачем он пришел сюда.  
Он сказал: «Привет!» Он пришел на свет.  
У него есть дом. У него есть хлеб.  
У него нет чувства, что он нелеп.

Он знает телевизор. Он знает телефон.  
Он знает парафин. Он знает поролон.  
Он слышал: мораторий. Он видел микрофон.  
Бойтся: КПЗ. Смеется: па-те-фон.  
Он терять не привык. Он меня настиг.  
В мою комнату ночью тихо проник.  
К моему окну молчаливо приник  
Человек, никогда не читавший книг.  
Человек, никогда не читавший книг, —  
это тайна, загадка, мой друг.  
Он себе давно вечный памятник воздвиг  
на руинах проблемы рабочих рук.  
Он сам себе вечный памятник воздвиг,  
Он стоит на вершине нечитанных книг.  
Он не хочет посмотреть на чем он стоит.  
Он не хочет посмотреть, на чем мир стоит.  
А еще он слышал, что книги — вред.  
Что атомную бомбу придумал Архимед.  
...и совместно — советские и американские ученые...  
А теперь весь мир говорит: «Нет!»  
И он тоже вносит свои предложения  
в гонку ядерного разоружения  
продвижения  
выдвижения  
снабжения...

Он исчез на секунду, и снова возник.  
Он окончил два вуза, он многолик.  
Чемпион квартальных гонок, — он многого достиг.  
Когда мы купим вертолет, он купит броневику.  
И остальное перечислит в фонд  
борьбы с открытым небом.  
Нам нельзя терять общий язык.  
Мы поставлены перед необходимостью —  
не терять общий язык! —  
С Человеком, никогда не читавшим книг.

г. Нижний Новгород



**Анатолий  
ЦВЕТАЕВ**

*Дебют в  
ЮНОСТИ*

### **Фотограф**

Я памятник воздвигну ретушеру —  
Его нерукотворным чудесам.  
Как «сделал важность» мой приятель Жора  
Прическа ветренным и вздернутым носам!  
Склоняясь с тонкой кисточкой над лупой,  
Красавицам увядшим «сделал губы».  
И деликатным становился грубый,  
И прозорливым становился глупый,  
И храбрецом становится трусливый,  
И гордецом становится подлиза,  
И даже я, и то кажусь счастливым,  
Когда слегка подкрашен и прилизан.  
И люди знают: Жора нам поможет —  
И занимают очередь у двери  
Умней — сильнее — приятнее — моложе!!!  
Никто сегодня зеркалу не верит.

### **Дежурство в отделении**

Позабыли выключить трансляцию.  
При «разгрузке», суете и шуме,  
Заглушая вопли, ругань, клацанье,  
В отделение тихо входит Шуман.



Сквернословит женщина продажная.  
Бомж скучает, колобродит пьяный.  
А из репродуктора — адажно!  
Теплым ливнем хлещет фортепяно.  
А из репродуктора — капрично  
Бурным начинается стакатто.  
Бомж проснулся, пьяный закапризничал,  
Пол хрустит осколками стакана.  
Хлещет мат. Ругает МУР зека,  
Наркоман свалился на колени.  
И над ним, как мать, рыдает музыка  
В двадцать пятом шумном отделении.

### Гуманизация волков

Смотрите, он совсем не страшный.  
Под носом «Жигулей» и «Волг».  
Совсем ручной, почти домашний  
В продрогшем мелкоколесе — волк.

Урвал огрызки финской курицы  
И скрылся, словно суслик, в просе.  
Смотрите, волк, а тоже жмурится.  
Смотрите, волк, а тоже просит.

И сеттер от восторга вспучился,  
И пудель начал громко укать...

А волк когда-нибудь научится  
Лизать карающую руку?

### Первая любовь

Как мы любили Астрономию!  
Как верили заезжим лекторам,  
Точили линзы, экономили,  
Стремясь к созданию рефлектора.  
И наше страстное дыхание,  
Казалось, согревало космос,  
Крутило звездную механику  
И жизни бытовую косность.  
Как верили мы в силу Разума,  
В державный пафос Созидания,  
Но, сколько помнится, ни разу мы  
Не думали о сострадании.  
Какая музыка прекрасная —  
Реданты, бета Водолея,  
Парсеки (ничего напрасного  
Нет в жизни) Лета, Лорелея...  
Я бредил наяву фантастикой.  
А мама все сердилась: «Ишь как...»  
Неся белишко в утлом тазике,  
В мои заглядывая книжки.

### Личный музей

«Приходит время камни собирать,  
И я, как видишь, в меру сил стараюсь».  
Друг указал на сумрачную рать  
И выкатил тележку из сарая.  
Скрижали, изразцы, купели, жернова,  
Устои, гнеты, упокои, крыши...  
Уходят в пыль шершавые слова  
С несокрушимой верою — услышат.  
На ледяном ветрище просипев,  
Умолк плакун, укрывшись в шкуру лисью,  
И солнце — золотой велосипед —  
Прошелестело в облетевших листьях.

### Бульдозерист

Красный, крупно пропотев, как в бане,  
Саня выезжает покурить.  
Остывая медленно, как кратер,  
Срезал дудку для малышки Кати,  
Влез в мотор, там можно щи варить.  
А потом всю рощу выдрал с корнем,  
Развернулся и пошел на ивы.  
«Знать, так надо»... Почему покорность  
Всюду притворяется наивной?

г. Волхов, Ленинградская обл.



Вера  
БУРДИНА

Дебют в  
«ЮНОСТИ»

☆☆☆

«...стрижи проводят ночь в полете, поднимаясь на высоту до трех километров».

«Наука и жизнь».

Ночуют в небесах стрижи —  
надежней гнезд простор эфира...  
Любовь — прибежище души  
от злой вещественности мира.

Лишь высота — надежный кров,  
чудесны сны в ночном полете,  
где мысль свободная от слов,  
а страсть — от униженья плоти.

Но ветром уличным дыша,  
шепчу себе, идущим мимо:  
— Прибежище любви — душа  
вне рабства и соблазнов мира.

☆☆☆

Меня разбудит ночь, шепнув мне на ушко:

— Ты слышишь меня, дочь? —

— Я слышу, матушка.

И черный легкий шелк закроет очи мне.

— А он уже ушел? — спрошу об отчине.

— Ушел. — Я засмеюсь,

и мы пойдем с ней в жимолость,  
развесим кисею туманов, снов и вымыслов.

Вдруг спросит грустно ночь,  
коснувшись лба ресницами:

— Ты с ним не ладишь, дочь? — И полыхнет зарницами.

Мы сядем, обнявшись, под черным ее кружевом.

Я жалуюсь на жизнь, она молчит и слушает.

Дрожит звезда у губ. Ни вздоха, ни движения.

— Как он на ласку скуп, как щедр на унижения!  
Жесток он и спесив, как деспот в бедной вотчине...

Ах, матушка, спаси, спаси меня от отчима!

И голубая тьма ответит шумом дождика:

— Все знаю и сама, но что могу я, доченька?

☆☆☆

Девочка во поле с дудочкой ивовой,  
чем ты поранила веточку вешнюю?  
Плачет у губ она утренней иволгой,  
плачет все горше и все безутешнее.  
Так неужели и я была дурочкой —  
ветки ломала и ранила ножичком?  
Девочка во поле с ивовой дудочкой,  
дай поиграть мне на ней хоть немножечко.  
В речке заметней усталости отмели,  
в сердце заметнее мели отчаянья.  
Девочка с ивовой дудочкой во поле,  
кто нас наполнил, изранив, звучанием?  
Все мы, наверно, как вешние веточки  
срезаны временем с Божьего дерева...  
Во поле с дудочкой ивовой девочка,  
дудочка эта не мной ли потеряна?

г. Ленинград



## «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ»



Открывая новую рубрику, мы хотели бы вместе с известными деятелями литературы и искусства, философами, политиками оглянуться назад и подытожить опыт минувших шести лет по переустройству страны. Вспоминая, как все начиналось, с какой искренней заинтересованностью, отрываясь от своей научной работы, от диссертаций, от творчества, ученые и писатели ринулись в водоворот политической жизни, понимаешь, что все надеялись на скорое и счастливое разрешение наших проблем. И первыми оказались «шестидесятники», ранее уже обманутые иллюзиями свободы и демократии. Многие безоговорочно поверили в живительную силу предлагаемых ограниченных реформ, другие, энергично участвуя во всех изменениях, выступали за радикальное обновление. Попытаемся выслушать всех.

Сегодня наш собеседник — крупнейший писатель и общественный деятель русского Зарубежья Владимир Емельянович Максимов. Эмиграция, в которой семнадцать лет пребывает писатель, — расплата за критическое отношение к нашему социально-политическому строю — оказалась лишь внешней. Его мучительные раздумья о судьбе России, внимательное изучение происходящего в стране находили свое выражение на страницах зарубежной прессы и в первую очередь в журнале «Континент», создателем и редактором которого он является. В период нашего цензурного гнета само существование русскоязычного журнала, объединившего прогрессивно мыслящих людей Запада, являлось дополнительной нравственной силой для тех, кто оставался здесь.

Только два года назад имя Максимова появилось на страницах советской прессы. Свое первое интервью Владимир Емельянович дал нашему журналу. С тех пор на родине опубликованы его книги, и сам он трижды приезжал в Советский Союз. Каждый его проезд — это новые статьи, выступления, интервью, наполненные тревожными размышлениями об увиденном. «Прежде всего мы должны освободиться от идеологии, признать, что она нас привела в тупик и тупик трагический». С этого начался наш разговор в редакции.

— Человеку нужно предложить возможность естественно-го существования. Дать ему право владеть землей, иметь имущество, проявить частную инициативу. Но мешает всему этому идеология. Мне кажется, власть, как во всех цивилизованных странах, должна ставить перед собой политические задачи и не вмешиваться в экономику. А не вмешиваться в экономику мешает опять-таки идеология. И это нас остано-

вливает в развитии так называемой «перестройки». Не надо, по-моему, никаких программ, поскольку это то же насилие. Правительство должно заниматься политикой, а не экспериментами над общественной жизнью. Вмешательство государства не только в частную жизнь каждого отдельного человека, но и в частную жизнь самого общества порочно. Я постоянно вспоминаю то место из «Доктора Живаго», где Пастернак полемизирует с русскими радикалами. Он говорит — мол, что вы все стремитесь жизнь переделать? Ее не надо переделывать, она сама себя переделает. Вот в качестве иллюстрации: я в прошлый раз был у своей родни в Московской области, в Узловом, и, наблюдая за их жизнью, за их бытом, увидел, что живут они сейчас гораздо лучше, благополучнее, чем это было 20 лет назад, что постепенно, на самом нижнем массовом уровне происходит накопление каких-то и материальных ценностей, и ценностей нравственных. Узловское кладбище — когда-то это было заросшее бурьяном место, скорее пустырь; теперь оно ухожено, очень много памятников, чего никогда не было, — то есть люди начинают постепенно вспоминать о самих себе, о традициях, о прошлом... И вот этот абсолютно спонтанный процесс свидетельствует о том, что если бы сверху не вмешивались в жизнь, она вот так, клеточно себя бы восстановила. Но постоянные эксперименты над обществом не дают восстановиться этой ткани. Избранная государством доктрина ломает в человеке творческий потенциал, делает из него потребителя, который считает, что ему все должно дать государство. Даже сейчас, когда произошло раскрепощение каких-то потенциальных возможностей в обществе, все демонстрации требуют удовлетворения экономических требований — **немедленно**. А немедленно это невозможно. И это опять-таки проклятое наследие социализма, сделавшего из человека паразита общества.

— Но в эмиграции вы, судя по выступлениям, пришли к выводу, что и западный путь развития для нас неприемлем.

— Отвечая на этот вопрос, я постоянно говорю, что надо искать какой-то свой, третий путь, извлекая уроки из западного и из нашего восточного опыта. А мы опять хотим ученически копировать чужое. Мы уже один раз скопировали марксистскую доктрину, и видите, что из этого получилось не только у нас, везде. Хотя я о Западе ничего плохого сказать не могу: я все-таки нашел там убежище, нашел признание... Но, столкнувшись с реальными фактами жизни, я увидел, что и там многое уродливо. Мне кажется, Игорь Шафаревич, как бы мы с вами к нему ни относились, в статье, опубликованной в «Новом мире», «Два пути к одному обрыву» абсолютно прав: и тот и другой путь, в общем, ведет к одному и тому же социальному и духовному обрыву.

— Будучи хорошо знакомы с Солженицыным, зная его взгляды и позицию относительно обустройства России, могли бы вы сказать, что писателем найден выход из тупика?

— Мне симпатичны многие положения статьи Солженицына «Как нам обустроить Россию», но я вижу в этой программе и определенную опасность. Это опять какие-то жесткие формы, в которые общество должно вписаться. И, кстати сказать, многое в ней довольно наивно, поскольку Солженицын не видит и не чувствует, что здесь происходит. Ну, согласитесь, нельзя же, сидя в Вермонте, делить границы. Это смертельно, огнеопасно — говорить сейчас о границах. Даже если ты прав — они так сложились в течение последних 70 лет, и с этим теперь уже ничего не поделаешь. Сегодня невозможно даже с украинским интеллектуалом спокойно говорить о Крыме как о части России. Если потребуются, естественный ход событий сам сформирует новые границы. И рассуждать об этом, мне кажется... политически безграмотно и нравственно бестактно. Хотя многие положения в этой статье меня, так сказать, греют. Но, знаете, кто-то остроумно заметил: «Мы ждали Александра Исаевича, а он нам письмо прислал». Вот в чем дело-то! С нашей стороны давать советы — некорректно, мягко говоря, некорректно. Я имею в виду даже тех, кто приехал и уехал себе спокойно, — а здесь-то люди живут конкретной и очень трудной, драматической жизнью.

— По моим наблюдениям, печальный итог прошедших шести лет в том, что новое, молодое поколение устало верить. Появилось ощущение бессмысленности всякого рода деятельности, и как следствие — многие вновь устремились за рубеж. Знаю, что и здесь, и в Париже к вам обращаются с просьбой помочь устроиться на Западе, как вы к этому относитесь?



— Я сталкиваюсь с этими молодыми людьми, и не только молодыми, у которых именно ощущение безнадежности. Они полны желания, полны инициативы, полны идей, но нет уверенности в том, что эти их стремления будут востребованы. Их угнетает невостребованность. Очень многие приходят ко мне за помощью: как можно остаться, адаптироваться в западной среде, просят совета, помощи конкретной — я сталкиваюсь постоянно с этими явлениями, и главное, я подчеркиваю, главное, ими движет безнадежность. Не то что многие из них хотят красиво жить — красивой жизни там никто не приготовил, и большинство из них это прекрасно понимают, но они надеются на себя, на свой потенциал, считают, что выстоят, и дай им Бог!

— *Может быть, желание остаться, зацепиться на Западе идет еще и от боязни надвигающегося краха, который предсказывают экономисты?*

— У меня ощущение скорее преддверия краха. Полного краха как бы еще и нет, как бы еще жизнь сама по себе происходит, то есть куда-то она движется. Но мы стоим в преддверии того, что страна может остановиться полностью. В прошлом нашем разговоре я восхищался поведением шахтеров — как они провели свои первые забастовки, на каком высоком уровне политического сознания, когда они все-таки поставляли минимум угля для того, чтобы заводы не останавливались. А теперь уже тотальная забастовка, которая носит, в общем, шантажный характер. Встает угольная промышленность, затем металлургическая, легкая начинает медленно и верно останавливаться — и что же дальше? В любом цивилизованном государстве — а мы любим, я имею в виду средства массовой информации, говорить о цивилизованности — политические забастовки запрещены. Вы можете ставить экономические требования, а политические — нет: политические требования реализуются на выборах.

— *Несколько лет назад вы были противником Горбачева, а сейчас как лидера его признаете и поддерживаете, — не связано ли это с тем, что вам вернули советское гражданство и вы изменились в своем отношении официальных властей?*

— Ответить на этот вопрос очень просто: я гражданство не принял. Почему же я должен меняться, если я его не принял? Между прочим, как это ни странно, мне до сих пор официально никто не сообщил о возвращении гражданства. Ну, хотя бы письмо могли прислать из советского посольства? А к Горбачеву я и сейчас отношусь критически, но я не вижу альтернативы в оппозиции ему. Потом, у меня еще такое свойство характера — я когда-то очень болел за «Спартак», в юности, а теперь я болею, как правило, за тех, кто проигрывает. Вот соединить бы авторитет Ельцина с трезвостью прогнозов. А он свой авторитет растрачивает на пустые обещания.

— *У многих ощущение, что Ельцин пытается что-то сделать, в то время как союзное правительство только издает непопулярные указы. Например, программа «500 дней» была поддержана и американскими экономистами.*

— Я считаю, что это программа авантюрная, и меня удивляет, что крупнейшие экономисты могли подписаться под этим любительским документом. Что это за кентавр такой — социализм и рынок? Чаще всего в таких случаях приводят в пример скандинавские страны — ерунда все это, господа! Все забывают, что это социалистическая **форма распределения**, а форма производства — капиталистическая. И, кстати сказать, я не знаю, что сказали Шаталину эксперты в Америке, а Василий Леонтьев, лауреат Нобелевской премии по экономике, на вопрос «что делать?» ответил просто: «работать!» Планы и модели можно выдвигать самые разнообразные — они не учитывают, с каким человеческим материалом имеют дело: с человеческим материалом, который в течение нескольких поколений ломали. Человека-производителя мы можем получить только тогда, когда ему дадим не только полную свободу инициативы, но и уверенность в том, что завтра его инициатива не будет раздвлена новым законодательным порядком. А сейчас, хотите не хотите, надо работать.

— *Как вы думаете, за минувшие 17 лет ваши взгляды изменились или остались прежними?*

— Раньше я выступал против системы, против идеологии, считая, что это главный виновник наших бед, но я никогда не собирался выступать против страны как таковой, как понятия исторического. И сейчас, глядя на то, что происходит, начинаю задумываться, а был ли я прав. Не выплеснем ли мы, если дальше так пойдет, вместе с водой ребенка. Видич-

ку идеологическую надо выплеснуть, вытереть этого ребенка и ухаживать за ним, давать ему расти. В этом смысле я изменился: раньше, наоборот, считал, что чем хуже, тем лучше, лишь бы исчезло это проклятое идеологическое, которое на нас повисло. А сейчас я за процессы более поступательного, более постепенного характера. Такую систему надо демонтировать очень осторожно; социализм — тот крючок, который легко проглотить, но очень трудно выплюнуть. Сейчас уже не до амбиций, — речь идет о судьбе нашей страны вообще, не только о социализме, я в этом убежден. Если действительно мы покатымся, мы потащим за собой весь мир. Ведь смерть такого организма так просто не пройдет для Европы.

— *В Европе как будто это понимают и тем не менее не спешат с практической помощью, с просьбой о которой уже в открытую вопиют многие депутаты.*

— Не спешат, потому что нестабильная обстановка — это значит выбрасывать деньги в пропасть. Но в то же время не стремятся и радикальные процессы подогреть, потому что боятся, очень боятся. Ведь мы всегда были, во все века, щитом между Азией и Европой, исчезновение такого щита делает Россию Азией.

У меня такое ощущение, что мы уже сели на поезд в Сараево, — это еще незаметно, и кажется, что здесь все пропадет, а Европа будет себе сидеть процветать. Нет. Югославия превращается, как в 20-е и 30-е годы, в пороховую бочку Европы, там уже все готово к междоусобице. После «нежной», так называемой, революции разваливается Чехословакия, оказывается, и она — империя... Национализм — пусть что хотят говорят обо мне, — но национализм любого толка, русский, грузинский, — это СПИД нашего времени, полная потеря иммунитета, вообще инстинкта самосохранения. Казалось бы, Европа-то пошла по пути интеграции, объединения, а не разъединения. А мы — не успели выйти из тоталитарного лабиринта, как принимаемся искать новые лабиринты.

— *Сегодня, когда кризис социализма и марксистского учения наблюдается во всей Европе, многие упорно продолжают оставаться в коммунистической партии; разочаровавшись, поддерживают ее существование членскими взносами. Как вы относитесь к подобному консерватизму?*

— Я не принимаю ни этой идеологии, ни этой партии — ничего, а все-таки отдаю должное тем, кто не побегал. Это легко и, главное, престижно теперь. Противно, когда некоторые, не успев выйти из одной партии, уже в другой и дают интервью во всех газетах... Сразу возникает вопрос: а зачем ты, сукин сын, туда вступал? Причем вступал не в экстремальной ситуации. Это конъюнктура, а конъюнктура всегда противна, и иногда действительно отдаешь должное людям, которые говорят: «А вот сейчас-то я и не пойду».

— *«Континент» — не только общественно-политический, но и художественный журнал. Что происходит сейчас в литературной жизни? У нас ощущение некоторой усталости от политики, книг, разговоров — такой штиль во всем.*

— Уверю вас, на Западе тот же самый процесс, только в других формах. Штиль перед наступлением страшного цунами — даже не бури, а цунами. Нет ощущения развития. Может быть, идет количественное накопление, которое должно в конечном счете привести к какому-то качественному скачку. Мне кажется, что раз в 20 лет должен приходиться художник. Вот 20 лет Солженицыну, он свою эпоху исчерпал — должен прийти художник.

— *Вы, как говорится, воочию стали свидетелем падения интереса Запада к России. Это связано с тем, что «перестройка» затягивается?*

— Крупнейший магазин французский обанкротился, закрылся... То есть он не закрылся, но распродается. Не идет ничего. В Бельгии я прихожу в русский магазин — они уже там водочку поставили, продают и продукты... Потому что нет спроса. Если даже один человек в магазине работает, это очень дорого. Не идет что-то — ни книга, ни газета...

— *И все-таки оптимизм остается?*

— Да если бы его не оставалось...

*Беседу вела Анна ПУГАЧ.*





Николай  
АНАСТАСЬЕВ

## ВСЁ ВО ВСЕМ



(«Улисс» Джеймса Джойса)

Оборачиваясь издали на путь, пройденный литературой XX века, все время упираться взглядом в вершину с мифологическим названием «Улисс».

Роман остается неиссякаемым источником художественной энергии, по-прежнему дразнит загадкой своего величия.

Современники сразу ощутили масштаб события. Не то чтобы все изогнулось в почтительном поклоне, многие, верно, восхищались, но были и скептики, и даже ниспровергатели.

Дело, однако, не в пристрастиях и оценках. Нравился роман, не нравился — все признавали: «Улисса» не миновать.

Все сбылось, все подтвердилось.

К нам эта книга пришла с большим опозданием<sup>1</sup>, и, наверное, те, кому хватило терпения одолеть ее до конца, не раз ловили себя на ощущении: знаем, читали. У Фолкнера и Хемингуэя, Томаса Вулфа и Кортасара, Беккета и Грасса, Гарсиа Маркеса и Апдайка, у многих других — больших, не очень больших и даже совсем малых. Только ведь они пришли после Джойса, следовали дорогами, которые он развдал.

Фолкнер сказал как-то: к «Улиссу» надо подходить так же, как подходит безграмотный проповедник-баптист к Ветхому Завету: с верой.

Можно, разумеется, воспользоваться этим советом, и тогда останется ощущение какого-то первобытного хаоса, не желающего знать никаких пределов, презирующего любые нормы: мчитесь, все сметая на своем пути и тебя, между делом, подхватывая, неудержимый словесный поток.

Ну а если веры нет? Или, скажем, есть не только мистическая вера, но и желание понять, разобраться? Тем более что в безумии есть некоторая система, хаос управляется железной волей творца — это тоже начинаешь постепенно ощущать.

При чтении возникают гигантские трудности, с первых же шагов спотыкаешься о видимые, а часто и невидимые препятствия. Вообще говоря, в «Улиссе» есть сознательный расчет на непонятность, она входит в стратегию романа. «Я насытил текст таким количеством загадок и темных мест», говорил Джойс в беседе с одним французским критиком, — что профессорам понадобятся столетия, чтобы решить, что я имел в виду». Честно говоря, и столетий вряд ли хватит — в иных случаях туман не рассеется никогда.

Есть, однако же, и такие непонятности, которые могут

и должны быть расшифрованы. Но как это сделать?

От читателя «Улисса», в идеале, требуется колоссальная, на уровне авторской, эрудиция.

Историческая — роман самым тесным образом связан с многолетней борьбой Ирландии за национальную независимость.

Культурная — как известно, все 18 эпизодов «Улисса» тесно соотнесены с «Одиссеей», и надо хорошо ее помнить, чтобы вполне оценить смысл происходящего в Дублине 16 июня 1904 года (место и время действия романа). Но это, разумеется, далеко не все.

Герои постоянно вспоминают Фому Аквинского и философ-номиналистов XIV века, мудрецов Платоновской академии и Ницше, как и многих иных мыслителей, оставивших след в истории умственной жизни. И эти переключки, часто совершенно неочевидные, тоже следует иметь в виду, иначе сдвинутся смысловые пропорции, скособоится все огромное здание.

Далее, нужны чисто литературные знания. В романе огромное количество скрытых цитат из писателей самых разных стран и эпох, а одна из сцен вообще представляет собой пародию едва ли не на всю историю английской литературы — от Мэлори до Карлейля и Диккенса.

Наконец, проблема «Улисса» — это в немалой степени проблема языка, причем в самом буквальном значении. Не говоря уже о многочисленных словесных ребусах, иные из которых дешифровке так и не поддаются, в романе масса фраз на латыни, французском, немецком, итальянском. И даже венгерский идет в ход: отца Леопольда Блума звали «Virag», по-венгерски — «цветок», как и «Blume» — по-немецки, как и «Flower» — псевдоним Блума в любовной переписке — по-английски.

Тут следует сказать, что переводчики — покойный В. Хинкис, начавший работу еще 20 лет назад, и С. Хоружий, ее завершивший, — великолепно справились со своей немислимой трудной задачей. Впрочем, эта тема заслуживает особого разговора; здесь отмечу лишь, что авторам перевода удалось сохранить рассчитанную сложность оригинала, ни в чем и никогда не уступили они соблазну упрощения, адаптации текста к среднему читательскому восприятию.

Только ведь и эрудит не может быть вполне уверен, что прочел «Улисса» правильно, если в качестве точки опоры выбрал лишь свои знания. Нужна еще и соответствующая оптика, о чем я, собственно, уже и говорил в прошлой статье, приводя цитату из рецензии Сартра на «Шум и ярость». Здесь тот же случай, или, вернее, если опять-таки следовать хронологии, Фолкнер — это тот же случай.

Нетрудно реконструировать событийный план «Улисса». По улицам Дублина, то сталкиваясь, то вновь расходясь, идут двое: поэт-визионер и школьный учитель истории Стивен Дедалус и сын венгерского еврея, агент по рекламе, Леопольд Блум. А в это время, о чем мы узнаем в самом конце, — жена Блума ожидает встречи с любовником, перебирая в памяти прежние приключения. В какой-то момент Стивен и Блум оказываются под крышей дома последнего, но вскоре расстаются. Памятью о гомеровских параллелях (Блум — Одиссей, Стивен — Телемак), можно сказать, что отец и сын так и не нашли друг друга, обреченные на вечное одиночество. Между делом происходят разговоры, случаются события — смешные, печальные, драматические, проходные. Из башни Мартелло, где обитает Стивен, действие переносится в школу, оттуда — на берег Дублинского залива, в редакцию газеты, в библиотеку, на кладбище и т. д. Все эти маршруты, повторы, восстановления в общем довольно просто, а с некоторыми усилиями можно и перекинуть в каждом конкретном случае мост к гомеровскому эпосу (следует, впрочем, иметь в виду, что эти параллели достаточно условны). Допустим — второй эпизод, — директор Дизи — это в карикатурно-искаженном виде старец Нестор, у которого останавливается в самом начале своих странствий Одиссей. Редактор Майлз Кроуфорд — Эол. И так далее.

Но это еще далеко не все, более того, выпрямляя сюжет и просто подбирая соответствия, мы идем мимо романа. Владимир Набоков в лекции об «Улиссе» говорил: «Если вы когда-нибудь пытались наклониться так, чтобы перевернутая голова ваша оказалась между колен лицом назад, вы увидели мир в совершенно ином свете. Попробуйте принять такую позу на берегу моря: очень забавно наблюдать за тем, как люди ходят, если вы смотрите на них вверх ногами. Кажется, что при каждом шаге они как бы отдирают ноги, приклеенные к земле гравитацией, не теряя, однако, достоинства. Так вот, этот трюк с переменной угла и точки зрения можно

<sup>1</sup> Иностранная литература. 1989. №№ 1—12. Впервые к «Улиссу» наши переводчики и публикаторы подступились давно, еще в 30-е годы. Но тогда дело довести до конца не удалось: публикация (также журнальная) была оборвана примерно на половине.



сравнить с новой литературной техникой Джойса, с тем новым поворотом, из-за которого трава видится более зеленой, а мир более новым.

Это удачная метафора. Только ведь трудно в течение долгого времени пребывать в столь неудобной позе. Точно так же трудно рассчитывать, что читатели «Улисса» во всем мире — это сплошь люди энциклопедической учености. Вот почему следует быть благодарными многочисленным комментаторам, которые разъяснили нам, как следует читать «Улисса», и расшифровали то, что расшифровке поддается.

Но иллюзий питать не надо — никакое самое остроумное истолкование, никакой самый замечательный и подробный комментарий не заменит собственной читательской работы. В конце концов каждый открывает «Улисса» сам.

В чем же значение и сила романа? Почему и впрямь стал он путеводной звездой для многих крупнейших сочинителей этого столетия?

Можно сказать, что Джойс был виртуозом, владел стилем во всех регистрах, от верхнего, патетического, до самого низкого, грубо-комического. И это будет чистой правдой. Но на этой территории у него есть вполне достойные соперники — Пруст, Набоков, Андрей Белый, Борхес.

Можно, далее, сказать, что он обнаружил и осуществил совершенно новые литературные возможности мифотворчества. И это тоже чистая правда. Как, впрочем, правда и то, что первооткрывателем в этом смысле он не был — искусство обратилось к мифу задолго до Джойса.

Особая статья, конечно, поток сознания. Придуман он опять-таки не Джойсом, но именно Джойс положил этот прием в основание всей колоссальной романной постройки. Точно так же и другие приемы, вошедшие в состав стиля, называемого современным, — сдвиги времени, контрапункт, смена повествовательных масок и т. д., — разработаны в «Улиссе» широко и принципиально.

И все-таки источники воздействия Джойса на литературу лежат глубже, далеко не исчерпываются чистой стилистикой. О чем писали Киплинг, Стивенсон, Уайльд, Гамсун, Конрад — ближайшие предшественники Джойса и бесспорные властители дум своего времени? Если говорить коротко, о трагически-бесповоротном расщеплении личности, об ужасном разрыве между видимым и сущим. А что, в свою очередь, стоит за этим расслоением? Исчезновение разумного общественного порядка, распад мира, который некогда имел центр — человека, — а теперь его утратил, пожирая, подобно древнему Кроносу, собственных детей.

В этих условиях личность может хоть сколько-нибудь сохраниться лишь ценой чрезвычайного, последнего усилия воли и — вдали от мира: в стихии моря (Конрад), на просторах белого безмолвия (Джек Лондон), на затерянных островах (Стивенсон).

В том, что и, главное, с какой мерой искренности сказали все эти писатели, была неотразимая правда, чем и объясняется их огромная прижизненная популярность.

Джойс, разумеется, тоже остро переживал утрату разумных начал. Вот откуда в «Улиссе» эта рассчитанная непонятность: словесный абсурд в точности отражает абсурд самой современной жизни, прошедшей кровавый ад первой мировой войны.

Но при этом автор «Улисса» пошел не просто дальше своих старших современников в изображении безумия и тлена. Он заглянул в такие глубины, которые им и не снились. Он ставил перед собой такие задачи, которые другим казались неразрешимыми.

Можно сказать так: когда эпическая полнота действительности считалась безнадежно утраченной, Джойс попытался сотворить эпос.

Показать все во всем — вот грандиозный замысел. Или иначе — в формулировке самого автора: «Это эпическое повествование о двух расах (иудейской и ирландской) и в то же время изображение цикла человеческого развития, равно как и скромный рассказ об одном дне жизни... Это также род энциклопедии. Я хочу транспонировать миф *sub species temporis nostri*<sup>1</sup>».

Действие романа, точно, происходит в течение дня — и изображен он во всех чаще всего весьма непривлекательных, а то и отталкивающих подробностях. В то же время легко понять, что это условность: не один день и не один год имеется в виду, а целая полоса истории, закат цивилизации, то, что Блок незадолго до появления «Улисса» назвал «крушением гуманизма». И Дублин — тоже не просто название,

не просто город, хотя маршруты героев проложены по вполне реальным закоулкам, улицам, кварталам. Это распадающийся Град, последняя цитадель той же цивилизации.

И все-таки, останься Джойс в пределах сколь угодно протяженного, но замкнутого отрезка истории, он стал бы лишь продолжателем, пусть и выдающимся, традиций Флобера, а также, имея в виду его редкостный сатирический дар, — Рабле, Вольтера, Теккерея.

Все дело, однако же, в том, что зона символики в «Улиссе» границ не имеет. Если уподобить роман классической драме, то можно сказать, что перед нами, сохраняя внешнее единство времени и места, протекают все пять актов человеческой истории. Дублин — не только Лондон, Нью-Йорк, Париж, но также и Итака.

Блум — не только наследник аптекаря Омэ или предшественник Джорджа Ф. Бэббита, но также Одиссей, Вергилий, Шекспир, сам Иисус Христос, словом — человек вообще.

Его жена — не просто окончательно павшая Эмма Бовари, но также Пенелопа.

Стивен Дедалус — не просто духовный родственник, скажем, парнасцев, но также Телемак, Фома Аквинский, Гамлет.

Любой поворот действия, самый незаметный, самый случайный, ведет в глубины истории. Любой персонаж, тоже самый незаметный и проходной, например, пьяный английский солдат, избивший Стивена, осеняется мифологическим светом.

Всё — во всем.

Легко могу представить себе, что первое знакомство с «Улиссом» многих шокирует. Тут есть места, где ощутимо тепло добра и жизни. Но, в общем, местный воздух пропах «отравой, гнилыми водорослями и вонью отходов» (это слова самого Джойса, сказанные им в связи с первой его книгой — сборником рассказов «Дублинцы»). В этом, впрочем, ничего особенного нет. Прилежные читатели мировой литературы XX века, мы вполне привыкли к ее немилосердию и откровенности. Современность и современников писатели не щадят и вещи называют своими именами. Но тем сильнее очаровываются многие из них прошлым, видя в нем Золотой Век. Примеры привести легко. Ну а Джойс относится к тому же прошлому без всякого почтения. Порча завелась не сегодня, пятый акт человеческой истории не нарушил резко течение всего спектакля — это естественная и неизбежная развязка. Джойс зло и остроумно пишет о современных музах — Коммерции, Рекламе и т. д. Но ведь и музы классические это тоже просто кривляки. Молли Блум — падшая Пенелопа, однако же и героиня мифа в глазах Джойса далеко не безупречна. Шекспир — «бог-палач... конюх и мясник, сводник и рогоносец».

Да, картина, нарисованная в «Улиссе», заставляет содрогнуться.

Но на это и был расчет. Только расчет не элементарный — вот вам, нате, полюбуйте, как выглядят ваша культура, ваши герои, ваша история, — фарс, кошмар, от которого безуспешно пытаются очнуться Стивен Дедалус. В эпосе, даже и современном, должно быть равновесие, и Джойс тщательно следит за тем, чтобы оно нигде не нарушалось. Вот и тут, ужасаясь, мы в какой-то момент начинаем испытывать просветляющее чувство сострадания к людям, которых не по своей воле занесло на злые ветра истории.

К тому же с Джойсом не обязательно соглашаться. Вы смотрите на мир иначе? Ради Бога, никто вам ничего не навязывает, вот уж от чего «Улисс» свободен вполне, так это от тирании авторского мнения.

Но нельзя не отдать должного замыслу, грандиозности самой попытки. И если один только план «Божественной комедии» это, по словам Пушкина, плод гения, то и одна только задача, поставленная перед собой Джеймсом Джойсом, — залог долговечности его главной книги.

<sup>1</sup> При свете современности (лат.).



**Виктор  
ЛИПАТОВ**

## НА КРАЮ БЕЗДНЫ



Пронзительный полет и вертикальное приземление. Таково впечатление от картин Михаила Берзинга. Летишь, приземляешься на плоскость, бродишь по ней, ныряешь в аккуратно вырезанный проем. Рассекаемое пространство издает резкие металлические звуки. Возникает трагическое ощущение пустоты. Побродив по сочленению горизонтальных серых, желтоватых, розовеющих плоскостей, садишься на край бездны, болтаешь ногами. Потом срываешься в пустоту, взмахиваешь крыльями и продолжаешь полет. Дух захватывает от одиночества («Фрагмент ландшафта»).

Тревожно вглядываешься в каменные соты, возникающие внизу. Но все спокойно. Все мрачно-спокойно. Рассеянно-изломанный свет сияет вдаль, придавая этому спокойствию некую инопланетность или потусторонность. Восторгаешься нелепым сооружением, длинными параллельными рядами бетонных отсеков, в которых произрастают какие-то круглые деревья. Воображение недоуменно разыгрывается: зачем все это сооружалось, откуда взялась индустриальная пластика? Питомник для зверей, лелеющий деревья, — след иной цивилизации? Создание сумасшедшего, видящего отклонения от нормы у здравомыслящих?

Берзинг — художник пустот, ограниченных в пространстве. Это пустоты казематов, которые таковыми не являются. Разумная организация пространства, скрывающая в себе безумие бесконечности.

Художник не стыдится признаться, что ему страшно жить. Он обнаженно чувствует пустоту. В нем живет ощущение Сталкера. Оттого так нравится Андрей Тарковский, у которого все «вещи — придуманные». Бумажные голубки, воткнувшиеся в комковатую черную землю («Падение самолетов»), заставляют думать о крушении надежд, о полетах, которым свойственно преждевременно заканчиваться.

Начальная биография художника имеет привкус бродячей трудовой «романтики». Был рабочим на заводе и в геологоразведке. Учился в инженерно-строительном институте. Но закончил все-таки институт художественный — с классическим дипломом «Петр I — основатель российского флота».

И вот он — внезапный Берзинг, которому хорошо в разваливающемся мире. Ощущение конца света? Скорее, ощущение строителя, понимающего, что вокруг построено не по его. Ощущение человека в тесном, скверно сшитом костюме. Ощущение солдата, вынужденного стрелять и по врагам, и по своим. Берзинг — солдат пограничной миссии. Он идет по границе, не защищая ни ту, ни другую сторону. Вместо пограничных столбов он воздвигает свои картины: «Не хочу никому ничего навязывать».

Вначале рождается идея («несуществующий и чисто пластический момент»), затем к ней присоединяется интуиция — и создается среда, рождается парадокс. «Делаю то, что мне непонятно». Он художник пристальный, за ним след, как за лодкой, стальной ниточкой тянется. И в своей живописи — жесток, геометричен, достаточно унифицирован.

Его «Переход» поражает не внезапными окнами в стенах, но белыми соединяющими плоскостями между противоположными окнами. Плоскости вносят сумятицу, являясь влекущим законом безнадежности. Бесконечная обреченность «Фасада», бесконечная неистребимость «Объемов»...

В картинах нет изображения человека. Один из почти единственных случаев «Стенной проем». В проеме, ведущем неизвестно куда, исчезает широченная спина в плаще. Последний исчезающий? Ни страшного, ни странного, а предощущение возникает... Люди движутся по земле лихорадочно, остро, угловато, раздраженно. Они задевают друг друга намеренно. Ракеты прогрессирующего раздражения. Берзинг ищет и не находит улыбок. Время их стерло. «Ушел от людей». Но они неистребимо подразумеваются...

Берзинг не втискивает себя в какое-либо течение, не примыкает к группам. Но все же относит свое творчество к постконцептуализму: ассоциативность, жесткая логика построений, элемент интриги...

На фото Михаил Берзинг

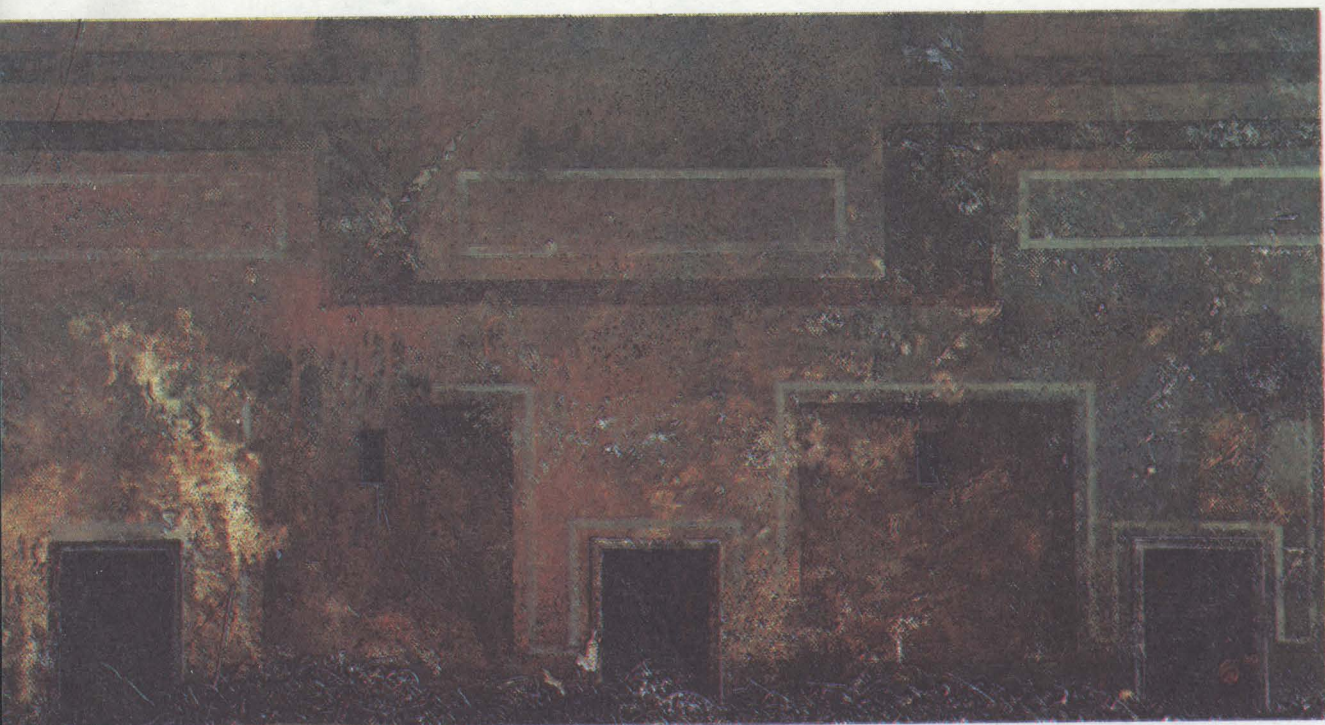




«Переход». Холст, масло. 1989 г.

**Михаил  
БЕРЗИНГ**  
г. Москва



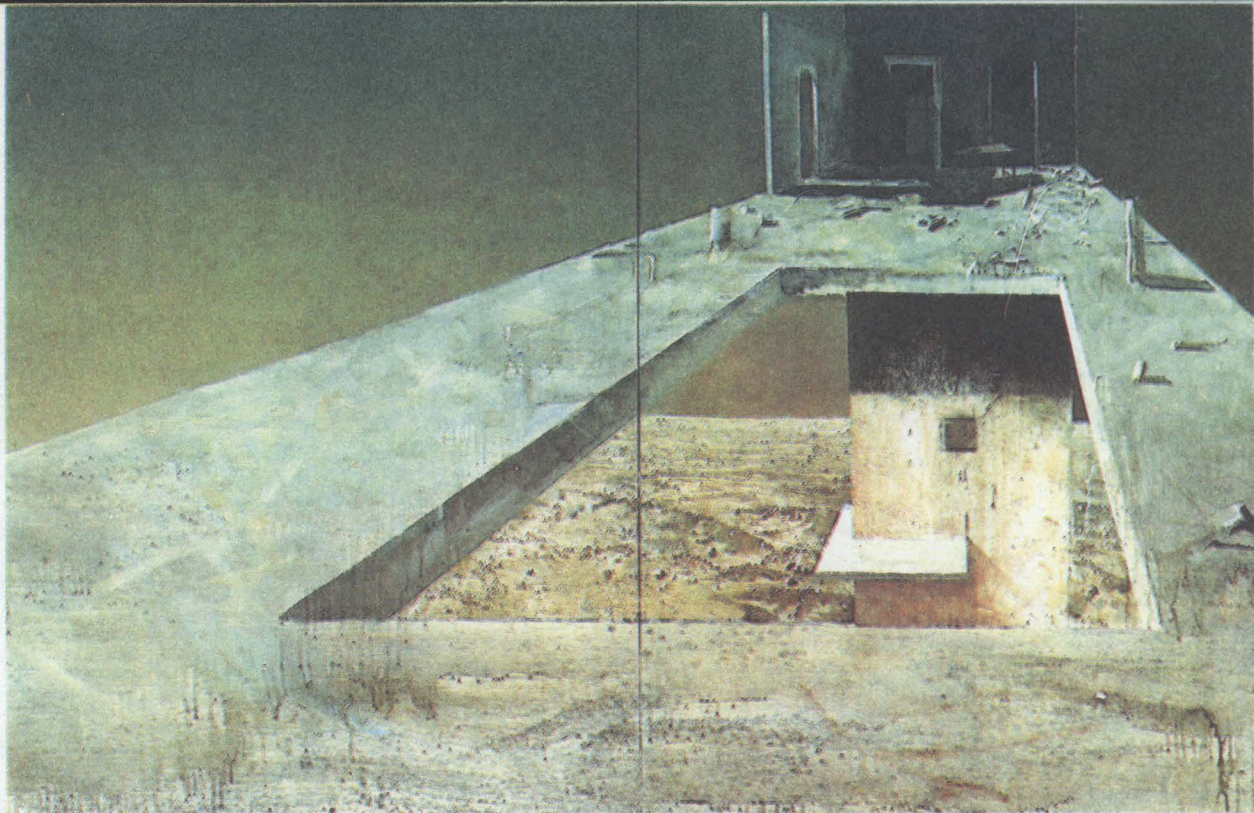


«Стена». Холст, масло. 1990 г.

«Объект № 1». Холст, масло. 1990 г.







«Фрагмент пейзажа». Холст, масло. 1990 г.

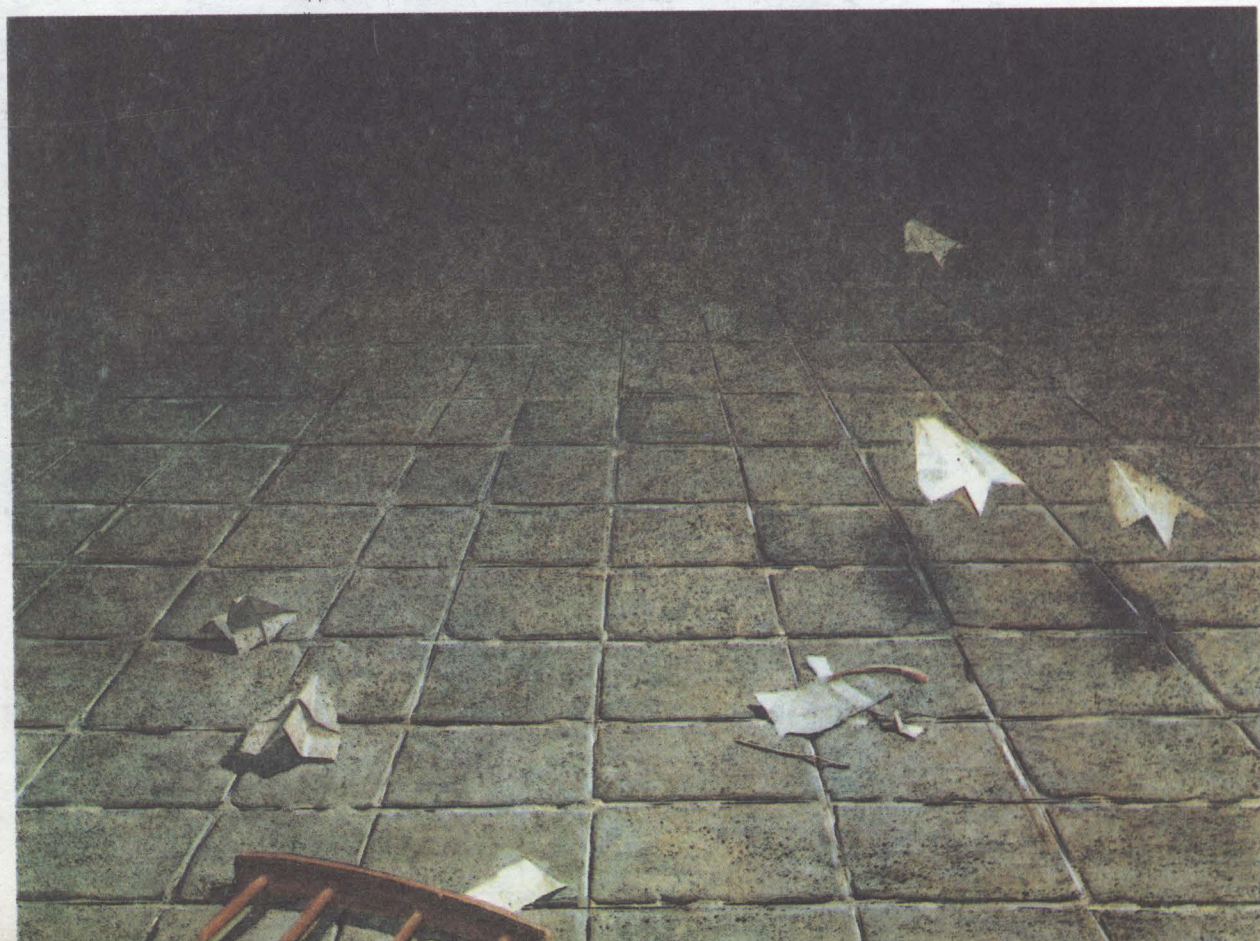
«Объемы». Холст, масло. 1990 г.







«Среда обитания». Холст, масло. 1989 г.  
«Падение самолетов». Холст, масло. 1989 г.





# ВОТ ПРИЕДЕТ ИЗ АВСТРИИ...

В школе нам внушали, что все у нас в стране равны. Ну, в самом деле, чем мы отличались друг от друга? Этот с двойки на тройку и обратно, а тот — ровный хорошист; про тебя говорят: «Внимательный, послушный», а про твоего соседа на каждом педсовете со вздохом: «Тяжелый случай». Правда, если рисуешь — в стенгазету тебя, заголовки раскрашивать! А если играешь на пианино — давай «Вольнку» на вечере дружбы, для студентов Лумумбы! Игнали-то у нас многие, но дальше «Вольнки» одна Марина Андреева пошла.

Мы только потом это поняли и по-своему оценили, когда, покоренные вокально-инструментальными ансамблями («Машина времени» в нашей школе родилась!), мы решили создать свой, девичий, коллектив, и вот тут без Андреевой никак было не обойтись. После уроков, засунув пионерские галстуки в карманы, мы шли теперь в квартиру и там репетировали премилое «В школьное окно смотрят облака, бесконечным кажется у-у-рок...». Андреева садилась к инструменту, даже сразу к двум, ибо была у нас, кроме гитары и пианино, органола — такая доска с клавишами, на батарейках. Называлась она «Чижик», и от каждого прикосновения редела, как милицейская сирена. Андреева левой рукой играла на фоно, а правой — на «Чижике». И еще она пела. Голос у нее был звонкий и сильный, кабы не «Чижик», ее заглушавший, — плачь наш девичий хор! Впрочем, потому мы и разошлись, что привитое чувство коллективизма не позволило смириться с особенностью кого-то одного: она, видишь ли, в солистки рвется, а мы, значит, кто? Ей — пионерский почет и учительское уважение, а нам — «спасибо, девочки»? Нет уж, дудки! Я тогда дневник вела и, честное слово, помню, так и записала: нет уж, дудки!

И «Чижик» сгорел, обгоравшись, и Андрееву я уже десять лет не видела...

Встретились мы с ней в детской поликлинике: я — в кабинет со своей дочкой, она из кабинета — со своей. Ну, конечно: «Ах, сколько лет... мы ведь рядом живем, что ж так? Заходи!»

Я и зашла.

— Я работала в оперной студии при институте имени Гнесиных. С зарплатой 140 рублей. Сейчас у меня иногда и столько не набегает. Но я не хочу снова впрягаться в государственную тележку. Я не могу кого-то подсигивать, выпихивать, ждать места... Не хочу зависеть от людей, которые указывают: рот у вас не так, звук не туда идет, и вообще вы не так мыслите...

Нет, не то чтобы совсем плохо с концертами. Но в основном — от одной праздничной кампании к другой, последняя была к 8 Марта. Впереди — лето, отпуска... и так до 7 Ноября. Можно, конечно, в Сибирь на гастроли, там и оплата повыше, и вообще, это не Москва, здесь рынок насыщен до предела. Можно и зарубежную поездку организовать, тем более что сейчас разрешено заключать контракты напрямую. Жить-то на что-то надо; и костюмы на свои деньги, и афиши, и фотографии. Рекламный ролик сняли на пятнадцать минут — куда с ним? На телевидение, где одна минута стоит тысячи?

Мы выступаем в жэках, на заводах, перед дипломатами, директорами магазинов, в ресторанах, сборные концерты бывают... Мы однажды выступали на заводе, а до нас пел эстрадный артист. Ну, он покричал, попрыгал, и вышли мы. Я пою, скажем, народную песню. Или «Испанское болеро». И вижу: нравится. Но как-то им это странно. Молодые, в костюмах красивых... Странно. Но хорошо. Как будто они сами себе не верят. Они же привыкли, что им все время, грубо говоря, туфты подсовывают. Мы же не видим нормальных артистов, мы изолированы от мировой культуры. Меня в Вене спросили: вы знаете Груберову? Нет, говорю, не знаю. Как?! Это же замечательная певица! Так, не знаю, у нас ее пластинки не продаются. Для них это дико. Я довольно много уже поездила по Европе, чтобы понять: нигде классику не меняют на рок. Там все существует само по себе: одним нужен рок, другим — фольклор, третьим — еще что-то. Платите деньги, покупайте билеты, ходите на концерты. Но приоритет-то именно у классики, у каких-то традиций...



Фото Александра Марова

А было так: трио русских народных инструментов «Удаль», которым руководит Максим Тимофеев (кстати, Маринин муж), и солистку Андрееву пригласили в Ниццу принять участие в благотворительном концерте в Фонд помощи больным СПИДом. Они выступили на ура. И уже в день отъезда Иветта Николаевна Воронова, директор Международной благотворительной программы «Новые имена», человек необычайной энергии и доброты, по-настоящему заинтересованный в молодых талантливых людях, скажет: «Все было хорошо, надо теперь расширять репертуар». Но у Андреевой легкий высокий голос, «Вдоль по Питерской» или «Ямщик, не гони лошадей» ей не спеть. «Я ведь и оперные арии могу», — сказала Марина. «Если считаешь, что можешь, давай тебя покажем», — решила Воронова. Народная артистка СССР, профессор Московской консерватории, председатель экспертного совета Фонда культуры Бэлла Андреевна Руденко, прослушав Марину, сказала: «О международном конкурсе думать пока рано, а вот о хорошей стажировке...». И уже потом Марианна Фанфани, президент итальянского Фонда «Вместе за мир» предложит Фонду культуры стипендию имени Бенуа, а Иветта Николаевна назовет Марину...

Ну, а дальше — приглашение на стажировку в Венскую высшую школу исполнительского мастерства; программа «Браво», где Марину представили как одно из открытий года; «Музыкальный киоск», куда Элеонора Беляева пригласила Иветту Николаевну вместе с Мариной, и Марина исполняла вальс Гуно...

Мы долго говорили. О музыке, о школе, о детях, о деньгах, о том, что через два дня — на стажировку в Вену на три месяца...

Я о многом ее не спросила. Например, о планах на будущее. Вот придет летом Марина из Австрии...

И искусство у нас, как известно, принадлежит народу, и талант у нас — народное достояние. Но чтобы конкретная Марина Андреева не только на сцене Венской Оперы блистала, но и здесь, дома, на большой сцене пела, между Талантом и Народом должны быть те, кто захочет вложить деньги в Искусство. В настоящем Искусство.

А пока у Марины записана одна пластинка. Это бабушка ее во втором классе водила в студию, и на гибком кружочке — песенка крокодила Гены.

Майя КОМИССАРОВА



# 80% СТУДЕНТАМИ

# НАШИХ СЛУШАТЕЛЕЙ СТАНОВЯТСЯ

**МОСКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. Н. КОСЫГИНА** объявляет набор на очные и заочные подготовительные курсы следующих факультетов: механико-технологического, химико-технологического, текстильного машиностроения, энергомеханического, инженерно-экономического, по очной форме — на курсы факультета прикладного искусства. Срок обучения от 3 до 10 месяцев. Слушатели, успешно окончившие курсы, пользуются льготами при поступлении в институт. Наш адрес: 117918, Москва, ул. Малая Калужская, д. 1. Московский текстильный институт, подготовительные курсы. Проезд до станции метро «Шаболовская». Тел.: (095) 234-27-92.

**МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ** объявляет с 15 сентября 1991 года набор на заочные подготовительные курсы. Для зачисления необходимо выслать: квитанцию почтового перевода, стоимость обучения — 150 рублей (наш р/с 608804, Зеленоградское отделение Мосбизнесбанка г. Москвы); заявление (укажите свой полный домашний адрес); справку из школы или с места работы — по адресу: 103498, Москва, МИЭТ. ЗПК. Тел.: 531-65-03.

**МОСКОВСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ.** Жар пустыни, прохлада морского побережья, пыль дальних дорог, радость открытий... Кто не мечтает об этом? Всех, в ком не умерла романтика, кого волнует состояние окружающей среды и природных ресурсов, приглашает единственный в мире геологоразведочный институт имени Серго Орджоникидзе. Институт проводит льготный прием по прямым договорам с предприятиями и имеет дневную, вечернюю и заочную формы обучения. Работают подготовительные курсы. 117485, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23. Тел.: (095) 433-55-77.

**МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО** объявляет набор на очные одногодичные и двухгодичные подготовительные курсы. Начало занятий: 10—15 октября и 10—15 ноября 1991 г. Слушатели, получившие на курсах подготовку, соответствующую уровню требований, предъявляемых вузом, допускаются к частичной сдаче вступительных экзаменов в апреле — мае 1992 г. 103767, Москва, ул. Петровка, 27, комн. 203 А. Проезд до ст. метро «Пушкинская». Прием документов с 1 августа 1991 г. с 14.00 до 17.45. Тел.: 200-08-92.

**ВСЕСОЮЗНЫЕ ЗАОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ (ВЗПК)** приглашают всех желающих успешно подготовиться к вступительным экзаменам в вузы. Обучение ведется по всем предметам школьной программы. ВЗПК имеет отделения в Москве, Киеве, Минске, Ленинграде, Алма-Ате и Барнауле.

Нас устраивает любой уровень вашей начальной подготовки. Проспект с подробной информацией о формах обучения и оплаты вы получите бесплатно, написав нам по адресу: 129110, Москва, ВЗПК.

**ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА В ЛЮБОЙ ВУЗ ИЛИ ТЕХНИКУМ СССР!** Студия ПК «МИКАР» предлагает учебные пособия уменьшенного формата по следующим дисциплинам: математика, физика, русский язык и литература, 60 сочинений, химия, биология, география СССР, история СССР, английский язык, обществоведение. Стоимость одного комплекта — 42 рубля. Деньги перечислите по адресу: 117605, Москва, Ленинский пр., 90/2. Коммерческий банк «Мега», р/с 461062. Студия «Микар». Заявку, квитанцию о почтовом переводе или ее нотариально заверенную копию перешлите по адресу: 127635, Москва, а/я 3. Студия «Микар». В заявке укажите интересующие вас комплекты, свой адрес и телефон.

**ЗАОЧНАЯ ШКОЛА «АБИТУРИЕНТ» ЦЕНТРА «НУКЛЕОН»** приглашает учащихся на одногодичные, двухгодичные и трехгодичные подготовительные курсы. Заявку (в ней укажите выбранный вами вуз, предметы вступительных экзаменов, номер потока: I поток — с ноября 1991 г. по май 1992 г., II поток — с февраля по сентябрь 1992 г.), два конверта с вашим адресом (для подробной информации о предметах и оплате) вышлите по адресу: 125047, Москва, А-47, школа «Абитуриент». По этому же адресу вы можете заказать Сборник вариантов вступительных экзаменов «40 вузов г. Москвы», предварительно перечислив почтовым переводом 25 рублей (за один экз. и пересылку) по адресу: 117192, Москва, В-192. Центр «Нуклеон». Квитанцию почтового перевода вышлите по адресу школы «Абитуриент».



Юрий ПОЛЯКОВ

# ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА

Повесть

Наши хозяева — мадам Марта и мсье Антуан — оказались пенсионерами, а в прошлом школьными учителями: она — химии, он — истории. Пока на метро мы ехали к ним домой — на северо-запад Парижа, выяснилось, что у них две дочери, обе замужем, младшая — в Ниме, а старшая — в Леоне. Мадам Марта, совсем как советская бабушка, постоянно ездит по дочкам и помогает растить четырех внучат. Мсье Антуан, что типично для учителя истории, выйдя на пенсию, занимается Великой французской революцией, а также коллекционирует холодное оружие той эпохи.

Кстати, парижское метро не имеет ничего общего с нашими подземными дворцами: голая функциональность плюс большие рекламные щиты. Мне кажется, следующая цивилизация, раскопав останки нашего метрополитена, долго будет ломать голову над прежним назначением этих мраморных колонн, мозаичных панно, расписанных потолков... Как водится, возникнут гипотезы: культовая (ритуальные знаки — кабалистические звезды и перекрещенные орудия труда), сатурнально-эротическая (обилие изображений женщин с подчеркнутыми половыми признаками), внеземная концепция (изображение летательных аппаратов и людей в скафандрах)... Но чудака, который выскажет бредовую мысль, будто все это имело всего лишь транспортное назначение, обсмеют и лишат ученой степени.

Еще я заметил, что в парижском метро много цветных, примерно столько же, сколько в московском приезжих. Через Аллу я решил прояснить этот вопрос, и мсье Антуан с выстраданным интернационализмом сообщил, что Париж становится новым Вавилоном.

— Это плохо? — уточнил я.

— Это неизбежно! — мужественно улыбнулся бывший учитель истории.

Наши новые французские друзья жили в многоэтажном доме, отдаленно напоминающем московские башни улучшенной планировки, выстроенные специально для каких-нибудь могучих организаций. В подъезде, правда, не было выгородки с дотошным дежурным ветераном, но зато парадную дверь мсье Антуан открыл своим собственным ключом, чем, наверное, и объяснялась министерская чистота на лестнице и противоестественная нетронутость полированных стенок лифта. Пока мы поднимались на восьмой этаж, мадам Марта объяснила, что раньше они имели квартиру побольше и поближе к центру, но после того, как дочки разлетелись из родительского гнезда, решено было перебраться сюда: и подешевле, и потише... А воздух!

Квартирка состояла из трех комнат, кухни-столовой, просторной прихожей и двух ванн-туалетов — одним словом, мечта народного депутата! Нас определили на жительство в просторной комнате с широким супружеским ложем. Двухспальные кровати просто преследовали меня! На крашеных стенах висели шпаги, палаши, кинжалы и даже алебарда. Нам разъяснили, что в этой комнате, когда наезжают, останавливаются дочери с мужьями. Алла озабоченно посмотрела сначала на постель, потом на меня и вздохнула. Как только мы остались одни, я предложил:

— Давай скажем, что у нас в СССР супруги спят отдельно!

— Не поймут... Еще подумают, что мы поссорились...

— А что бы ты делала, если бы на моем месте все-таки оказался Буров? — ехидно спросил я.

— То же самое — переодевалась...

— Мне выйти?



Рисунок Виктора Скрылева

Окончание. Начало см. №№ 6, 7 за 1991 г.



— Можешь просто отвернуться...  
— А Буров не отвернулся бы...  
— Константин Григорьевич, — гневно, по-бабушкиному глянув на меня, прикрикнула Алла. — Вы дурак и зануда, станьте в угол!

Слушая мягкое шуршание за моей спиной и опасливые предупреждения Аллы о том, что она еще не готова, я думал об одной странной особенности моего мужского воображения: чем красивее женщина, тем труднее мне представить себе ее наготу. Вот и сейчас я совершенно бессилён вообразить Аллу без одежды. Мне кажется, если я вдруг обернусь, то увижу нечто вроде огромной куклы: лицо, глаза, ресницы, волосы, руки, ноги, а посредине бесполое тряпочное туловище, сшитое из разноцветных лоскутов.

— Я готова! — сообщила она.

На ней было нежно-лиловое шерстяное платье, черные лаковые туфельки и такой же пояс.

— Костя, какие у вас сувениры? — спросила она.

— Самовар. А у вас?

— Матрешки. Вручение даров только по моей команде. Ясно?

— Ясно.

Обед начался с салата, политого маслом и посыпанного чем-то хрустящим. А потом был классический луковый суп, о котором я много слышал и прелестей которого так и не понял. Говорили о семейной жизни. Оказалось, во Франции, как и у нас, жуткое число разводов, семьи распадаются, безотцовщина и прочие кошмарные вещи. Со слов Аллы я понял, что желание наших хозяев принять у себя советскую супружескую пару связано с тем, что они состоят в каком-то добровольном обществе спасения семьи как основы общества и очень рады видеть нас — молодых, красивых, дружных, удивительно подходящих друг к другу. Незаметно показав мне язык, Алла принялась рассказывать о нашем изумительном браке. Оказывается, мы познакомились еще в студенчестве и женаты двенадцать лет! Нашему Мише («О, Мишель!») десять годов, он занимается музыкой, языками, футболом...

— И синхронным плаванием! — бухнул я, вспомнив, как водил Вику в эту самую секцию, ждал ее в сыром предбаннике бассейна, как она старалась и даже научилась высовывать ножку из воды, а потом охладела, простудилась и бросила это самое синхронное плавание.

Алла тяжело вздохнула и продолжала свой рассказ, изредка поясняя мне, о чем идет речь. Оказалось: помимо шикарной квартиры, у нас дача и два автомобиля — один мой, а второй ее. Дальше — больше! Мы оба увлекаемся большим теннисом, а служим программистами в престижной фирме. И эта единственная правдивая информация привела наших хозяев в бурный восторг. Мы узнали, что программисты — люди очень обеспеченные, не то что учителя...

Во время второго блюда, тушеного мяса, которое мы запивали сухим красным вином, напоминающим наше каберне, обсуждали потрясший наших хозяев факт, что проезд в советском метро стоит всего пять копеек. Эти сведения сообщил я, совершенно забыв про свой автомобиль. Мсье Антуан долго считал, царапая карандашом по салфетке, потом показал результат жене — и они хором застонали. Чтобы вывести их из шока, Алла дала команду нести дары. И мы узнали, что матрешки — их давняя любовь, а самовар — недостижимая мечта! Восторг был полный!

После короткого совещания с мадам Мартой мсье Антуан удалился и скоро вернулся с запечатанной бутылкой. На этикетке значился 1962 год! Он глядел на нас в ожидании ответного восторга и получил его в полной мере. Выяснилось: каждый сезон они покупают несколько дюжинок бутылок нового вина, часть выпивают, остальное хранят в чулане. Год от года

вино становится выдержаннее, вкуснее, крепче, а значит — дороже. «Ведь в 62-м, — страстно рассказывал мсье Антуан, — эта бутылка стоила всего несколько франков, а нынче — минимум 100!» Кстати, на сегодняшний день это самое старое вино в их коллекции.

Вино пили с сыром — сортов десять было разложено на большом фарфоровом блюде. На вопрос, любят ли сыр в России, мы ответили утвердительно и стали перечислять исторические названия: костромской, ярославский, пошехонский, степной, пикантный, голландский, колбасный, сулугуни, плавленый сырок «Дружба»...

— За дружбу! — почти по-русски провозгласил мсье Антуан и поднял свой бокал с темно-красным, но не ярким, а словно чуть выцветшим вином урожая 1962 года, когда я пошел в четвертый класс. Вино было сухое, терпкое и очень крепкое, от него сразу затеплилось внутри, как от «Старки».

Потом снова говорили о детях, внуках, мадам Марта показывала фотографии, и Алла в самый последний момент пресекла мою попытку достать из бумажника снимок Вики в пионерской форме. Мсье Антуан снова куда-то ушел и принес резную шкатулку из черного дерева. Внутри на красной бархатной подушечке покоился кинжал с инкрустированной ручкой. Понизив голос, бывший учитель истории сообщил, что, возможно, именно этим кинжалом был смертельно ранен Лепелетье. Мадам Марта театрально расхохоталась и что-то раздраженно сказала мужу, тот нахмурился и унес шкатулку, держа ее в руках осторожно, словно отец — позднего ребенка. Из перевода раскрасневшейся от вина Аллы я понял, что несовпадение взглядов на историческую достоверность кинжала, а главное — на его цену, несколько омрачает безоблачную старость супругов.

Спать мы разошлись за полночь. Я еще походил по квартире, якобы рассматривая коллекцию оружия, а на самом деле давая возможность Алле нестесненно подготовиться ко сну. Когда я вступил в нашу комнату, она уже лежала на краешке ложа, до горла закрывшись одеялом, а в воздухе витал свежий запах ее духов.

— Я на тебя не смотрю! — успокоила она и закрыла глаза.

«Было бы на что смотреть!» — подумал я, разувшись, и на всякий случай спрятал носки в карманы брюк.

Позже, выйдя из ванной, примыкавшей к нашей комнате, я ощутил себя гораздо увереннее, привлекательнее и чище.

— Теперь мне понятно, почему товарищ Буров... — игриво начал я.

— Товарищ Буров зря надеялся... — ответила Алла, не открывая глаз.

— А я?

— И не мечтай!

— А как же супружеский долг?

— Я буду кричать!

— Тогда французы подумают, что советские женщины — нимфоманки!

— Неужели ты этим воспользуешься? — спросила она тихо и еще крепче зажмурилась.

— Можешь не сомневаться.

— А мне казалось, ты не такой, как все...

Поразительно, но эта среднешкольная уловка, с помощью которой некогда мои одноклассники пытались пресекать попытки во время танго сдвинуть ладонь чуть ниже талии, действовала на меня совершенно обескураживающе. Я осторожно снял со стены шпагу с резным эфесом и, отсекая себе путь к соблазну, положил ее на постель — вдоль сокрытого одеялом Аллиного тела, а сам осторожно улегся по другую сторону клинка.



— Можешь открыть глаза.  
— Это по-рыцарски! — после некоторого молчания сказала она. — Ты прелесть...

Шпага начищенно блестела, и только внутри глубокого кровостока сохранилась чернота времени. Алла выключила ночник. От ее тела исходил какой-то странный, одновременно пряный и очень домашний запах, и чем дольше я вдыхал его, тем явственнее ощущал, как внутри меня все туже и туже закручивается сладостная пружина безрассудства. О том, что случится, когда она — очень скоро! — распрямится, я догадывался и потому встал с постели, ощупью нашел в темноте кресло и устроился там в позе эмбриона, укрывшись своим пиджаком. Вино 1962 года почти заставило меня позабыть, что у Аллы нет ноготы.

— Там удобнее? — спросила она.

— Спокойнее...

— Ты настоящий мужчина, — вздохнула Алла. — Я тебя уважаю...

— А зачем ты врала им про нас?.. И еще про дачу, теннис, машины?..

— Не знаю... Пусть думают, что мы счастливые и богатые...

— Пусть...

— Но мы же в самом деле могли познакомиться в институте... И все остальное... И дача у нас могла быть... И машина... Разве нет?

— Спокойной ночи, — ответил я.

— Спасибо, — отозвалась Алла, и мне послышалось, что она улыбается.

### XIII.

Утром я проснулся оттого, что в грудь мне уперлось холодное острие. Надо мной стояла Алла, и в руке у нее была вчерашняя шпага.

— Вставай, Тристан! — смеялась она.

— Я проспал? — Мне показалось, что я дома и нужно мчаться на работу.

— Проспал! — кивнула Алла.

За завтраком мы пили кофе с молоком из чашек, похожих на большие пиалы, и ели булочки с маслом и джемом. Потом нас повезли в парк вроде Сокольников, там мы гуляли, ели мороженое и обсуждали нелегкое существование французских пенсионеров в сравнении с беззаботной житухой советских ветеранов труда. В конце концов, забывшись, я все-таки вытащил фотографию Вики, и наши хозяева, вообразив, очевидно, недоброе, все оставшееся время поглядывали на Аллу с ободряющим сочувствием.

К обеду мы должны были вернуться в лоно родной спецгруппы. Почти у самого отеля мсье Антуан вручил нам подарки — два целлофановых мешочка, в которых лежали белые носки с надписью «теннис», матерчатые повязки на голову и махровые браслеты, называющиеся, как выяснилось впоследствии, «напульсниками»... Из сопроводительного объяснения сияющего мсье Антуана я уловил только одно слово — «хобби».

— О! — только и удалось выговорить мне.

— Ах! — воскликнула Алла и бросилась ему на шею, как если бы ей подарили «рено»...

Прощаясь, Алла и мадам Марта всплакнули.

Надо ли говорить, что Гегемон Толя вернулся с японским двухкасетным магнитофоном. Это вызвало приступы зависти различной силы у всех, а Торгонава повергло в мрачное оценивание: ему-то была подарена хлопчатобумажная маечка с изображением Эйфелевой башни.

На оперативном совещании, проведенном сразу же после обеда и посвященном пребыванию во французских семьях, нам с Аллой был объявлен строжайший

выговор за внесение злостной путаницы в утвержденный порядок расселения и целенаправленный обман надежд французской общественности. Друг Народов истерично крикнул, что за такие выходы становятся невыезными, а товарищ Буров, обманутый вместе с французской общественностью, обиженно кивнул. В ответ Алла с чисто бабушкиным негодованием отвергла домыслы о каких-то там выходках и всю вину возложила на организаторов, которые вместо четкого распределения по спискам устроили какой-то детский сад с картонными зверушками, что и явилось подлинной причиной возникшей путаницы... А я добавил, что ошибка вышла не только с нами, но и с Гегемоном Толей, например. Нельзя же, в самом деле, на этом основании потребовать, чтобы он передал свой благоприобретенный магнитофон Торгонаву, первоначально запланированному для проживания в семье аристократов...

Торгонавт вскинулся и посмотрел на нас глазами смертельно больного человека, на мгновение вообразившего, что врачи просто-напросто перепутали пробирки с анализами.

— Как вам не стыдно! — возмутился Друг Народов. — Мы вас пожалели, записали в резерв, а вы...

— Ладно, — тяжело вздохнул товарищ Буров. — Оргвыводы раньше нужно было делать... Теперь-то что говорить...

И мне стало жалко его, захотелось подойти, хлопнуть по начальственному плечу и сказать: «Не горюй, Буров, ничего же не было! Между нами лежала шпага!»

Вторым вопросом рассматривали заявление Поэта-метеориста и Пейзанки. Оказалось, пока мы прохлаждались в семьях, у них все стало совсем серьезно. Он читал ей стихи, она внимала в недоуменном восхищении, бегала в бар за выпивкой, а поутру лелеяла его похмельную грусть. Для целенаправленно пьющего человека очень важно, чтобы утром был кто-нибудь рядом. Исходя из моего личного опыта, похмелье можно условно разделить на три стадии:

— Плохендро-I (5–6 часов утра)

— Плохендро-II (11–12 часов дня)

— Плохендро-III (4–5 часов дня).

Искусство заключается в том, чтобы лаской и строго последовательным введением в организм определенных доз алкоголя избавить похмельный организм от мучений на этапе Плохендро-I, в крайнем случае — на этапе Плохендро-II, не доводя дело до ужасного Плохендро-III. Все три предыдущие жены Поэта-метеориста этим искусством так и не овладели, хотя были женщинами тонкими и образованными. А вот Пейзанка, выросшая в колхозе с прочными питейными традициями, сызмальства приставленная к безбрежно пьющим отцу, старшему брату и крестному, играючи разобралась в недужных ритмах Поэта-метеориста, — все остальное упиралось в денежную проблему, но Машенька отнеслась к своим франкам с той же беззаботностью, с какой некогда ее мама — к облигациям государственного займа 1947 года. Короче, теперь, найдя друг друга, они обратились с просьбой разрешить им проживание в одном номере.

— Мы тут вам не загс! — угрюмо отрубил товарищ Буров, забыв, что сам еще вчера пытался навязаться Алле в мужья.

— Что же делать? — огорчилась Пейзанка.

— Идите в мэрию и оформите брак! — со смехом посоветовал Спецкор.

— Странные у вас шуточки! — неизвестно кого одернул Друг Народов.

Он вообще был озлоблен, так как принимавший его финансовый деятель подарил ему визитную карточку и предложил широко пользоваться услугами своего банка.



— Мы с тобою — городские чайки! — высокомерно пробубнил Поэт-метеорист, обняв свою новую подругу, и они покинули штабной номер.

Во второй половине дня нас возили по революционным местам Парижа. Мадам Лану объясняла: вот здесь стояла гильотина, а тут везли на казнь Дантона, и он крикнул: «Робеспьер, ты последуешь за мной!» А там были баррикады в 1848 году. Возложили цветы у стены Коммунаров на кладбище Пер-Лашез. В завершение отправились в музей-квартиру Ленина.

— Интересно, какие у него были суточные? — тихонько спросил меня Спецкор, осматривая помещение, в котором жилал вождь.

Я хотел было пошутить про то, что суточные ему, видимо, платили большие, но потом сэкономили на проезде в германском опломбированном вагоне, но, поймав на себе исполненный священного идеологического гнева взгляд Диаматыча, промолчал.

Вечером мы лежали со Спецкором в постели, попили красное вино из бутылки, уведенной с ужина, и смотрели по телевизору фильм о любви стареющей врачихи к красивому, но обреченному юноше. Она делала все, чтобы облегчить его участь, даже знакомила его с хорошенькими девчушками, подглядывала, как он занимался с ними любовью в отдельной больной палате, и плакала от ревности, нежности и бесилия...

— Ой! — вдруг подскочил я. — Забыл!

— Ты куда? — удивился Спецкор.

— Сегодня же выход на связь!

— Не забудь, что прелюдия должна быть в три раза длиннее, чем сама связь! — посоветовал он мне вдогонку.

Диаматыча я обнаружил недалеко от отеля, в скверике, возле огромного зелено-бронзового льва, под постаментом которого, если верить мадам Лану, находится лаз в парижские катакомбы. Рядом с профессором стояли не слишком молодая и привлекательная, но хорошо одетая женщина в очках и мальчик, почти подросток, иронически рассматривавший уже знакомого мне киборга с зажигающимися глазами. Я не слышал, о чем они говорили, так как спрятался за деревом шагах в пятнадцати от них, но судя по тому, как Диаматыч мотал головой, он отказывался от каких-то настойчивых предложений женщины, которая вдруг заплакала, полезла в сумочку за платком, а мальчик, выключил киборга, с досадой посмотрел на нее и даже осуждающе дернул за рукав. Тогда женщина дала мальчику денег и отправила к лотку с прохладительными напитками, работающему, несмотря на такой поздний час. Едва пацан, сверкая белыми кроссовками, убежал, женщина обняла Диаматыча за шею и стала гладить по голове. Поначалу он стоял, беспомощно опустив руки, а потом тоже обнял ее, но неловко и очень вежливо, точно незнакомку в танце. Воротился мальчик с тремя банками кока-колы. Диаматыч опасливо, как если бы это была граната, потянул за кольцо и именно тогда увидел меня.

Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а потом, сжав в руке банку, как булыжник, он двинулся в мою сторону. Нет, сначала он что-то сказал женщине, и она сразу изменилась в лице. А вот мальчик, слышавший те же слова, глянул на меня без всякого интереса. Диаматыч подошел ко мне вплотную. Банка в его кулаке сплюснулась, и мокрая лампасина тянулась вдоль брючины. Губы у него дрожали, словно он хотел зарычать, приоткрывались, и я заметил, что верхние зубы у Диаматыча пластмассовые, а нижние — желтые и выщербленные.

— Все-таки выследил, филер проклятый! — задыхаясь от ненависти, проговорил он. — Шпион... Сексот... Стукач... Доносчик...

Сосредоточившись на разнообразии слов, обозначающих в русском языке эту древнюю профессию, я поначалу не въехал, что в данном конкретном случае сказанное относится непосредственно ко мне, а когда понял, то от удивления не смог вымолвить ни звука.

— Это вас не касается! — продолжал он, но уже не так кровожадно. — Это мое личное дело! Почему вы всюду лезете? Я честный человек! Я член партии! Почему я не могу увидеть женщину, которую люблю... любил...

То, что Диаматыч никакой не глубинщик, я понял сразу, как только увидел в руках у парнишки киборга, но то, что у этого старого марксоведа и энгельсолюбца здесь, в Париже, есть любимая женщина, было настолько ошеломляющим, что я снова не нашелся, что ответить.

— Я знаю, вас специально ко мне приставили! — снова оскандился Диаматыч. — Вы меня нарочно со своим дружком подначивали! Кололи? Да?! Радуйтесь, раскололи... Теперь медаль получите! А я ее все равно должен был увидеть... Мы девять лет не виделись! Мальчик уже вырос, а я ему игрушку купил... Вы должны меня понять! Вы же тоже коммунист... У вас ведь в КГБ все коммунисты? Да? — И он с жалобной надеждой посмотрел на меня.

— Я не из КГБ. — Ко мне наконец вернулся дар речи.

— А откуда? — почти с ужасом спросил он.

— Из вычислительного центра «Алгоритм».

— Понятно, — обреченно кивнул Диаматыч. — Товарищ... Простите, не знаю вашего звания, что мне за это будет?

— Трудно сказать...

— Прошу вас, скажите правду!

— Кто эта женщина? Только сразу и честно! — строго спросил я, подражая какому-то чекисту из какой-то детективной многосерийки.

— Она была моей аспиранткой, — с готовностью сообщил Диаматыч. — Но я не мог развестись с женой... Потом она уехала к родственникам... Сюда... Я тоже мог уехать с ней... Но для меня Родина...

— Да бросьте... Я же сказал, что не из органов...

— Да, разумеется! — закивал он, давая понять, что правила конспирации им поняты и приняты к исполнению. — Что мне за это будет?

— Оставаться не собираетесь? — глядя ему в переносицу, спросил я.

— В каком смысле?

— В смысле политического убежища...

— Что вы! — возмущился он и вспотел. — У меня в Москве жена полупарализованная... Что я говорю! Я родину никогда не продам...

— Ясно! — сурово перебил я. — Это меняет дело. Вашу ситуацию в рапорт включать не буду. Женщина. Ребенок. Это мы понимаем. Такие же люди, между прочим...

— Спасибо! — вздохнул Диаматыч, и глаза его замутились ожиданием слез.

— Сегодня уже поздно. Даю вам десять минут на окончание разговора и прощание. Завтра разрешаю вам сходить к ним в гости. Ненадолго!

— Спасибо... — заплакал он.

— Прекратите! На нас смотрят! — одернул я, поражаясь своей почти профессиональной суровости. — И запомните: мы здесь не встречались. Работаю я в вычислительном центре «Алгоритм»!

— Да... Конечно... Я понимаю... Ваша работа очень важная! Мы все должны помогать!

«Боже мой, — думал я, возвращаясь в отель. — Как, оказывается, просто и сладко быть судьей ближнего своего, как это легко и азартно — карать или миловать по своему усмотрению и видеть в глазах испуг, вызванный одним-единственным словом твоим, одной-



единственной усмешкой, одним-единственным жестом! Не-ет, если жизнь ни разу по-настоящему не искушала тебя, нельзя гордиться чистотой своей совести... Как нельзя гордиться тем, что, родившись в Москве, ты не «окаешь»... Но что он нашел в этой очкастой аспирантке, не понимаю!»

Поднимаюсь в свой номер, после мучительных колебаний я решил поскрестись в дверь Аллы. Послышались шаги, а потом шепот:

- Кто там?
- Это я...
- Кто «я»? — уточнила Алла, явно издеваясь.
- Я, Костя...
- Ах, Костя... Тебе что-нибудь нужно?
- Поговорить...
- Поговорить? Ты со шпагой?
- Не-ет...
- Тогда спокойной ночи!

#### XIV.

Утром, нежась в постели, я наблюдал, как Спецкор истязает себя гимнастикой, и с грустью думал о том, что все мои мускулы давно пропали без вести под слоем жира, а вот он буквально весь состоит из отчетливых мышц и напоминает гипсового человека-экорше, рисовать которого мне приходилось в школе. И вообще, наверное, Спецкор относится к женщинам, как собиратель букета к степным цветикам: захотел — нагнулся и сорвал, не захотел — мимо прошел.

- Послушай, сосед... — начал я.
- Слушаю... — отозвался он, изо всех сил упираясь в стену, точно желая ее сдвинуть с места.
- А ведь Диаматыч не глубинщик...
- А я тебе с самого начала говорил...
- Послушай, сосед...
- Слушаю... — ответил Спецкор, становясь на голову.

— Ты свою француженку долго уламывал?

— Фу, Костя! — возмутился он, пребывая в антиподском положении. — Ты, наверное, хотел сказать — оболщал?!

- Ну, оболщал...
- Довольно-таки долго... Если бы я не знал французского, вышло бы гораздо быстрее... Слова — это время... — отвечал он, страдая от перевернутости.

— А ты не боишься, что у тебя из-за нее неприятности будут?

— Нет. Ради Мадлен я готов на все! Ф-у-у... — Спецкор кувырком воротился в исходное положение и начал делать самомассаж.

— Тогда нам нужно договориться... — осторожно приступил я к щекотливой теме. — Если ты... Ну... Понимаешь?

- Понимаю. Если я соскочу... Да?
- Да. Соскочишь. К Мадлен. Меня, естественно, будут опрашивать!
- Опрашивать...
- Ну, ладно — про тебя расспрашивать... Что я должен говорить?..

— Вали на меня, как на мертвого! — разрешил Спецкор. Он закончил самомассаж и направлялся в ванную. — Говори, что я производил впечатление человека, беззаветно влюбленного в родину, и что мое предательство — для тебя огромное потрясение, второе по силе после родового шока, когда ты высунулся в жизнь и крикнул: «У-а!»

За завтраком дружно выпытывали у Гегемона Толи, как ему жилось в замке у аристократов. Он скупно рассказывал про гараж с десятком автомобилей, про винный погреб, способный в течение месяца поддерживать нормальную жизнь нашего районного центра,

про гардеробную, где можно заблудиться в шубах и дубленках...

— Ох! — только и смогла вымолвить Пипа Суринамская.

— Вот тебе и «ох»! — разозлился Гегемон Толя. — Ну, я его, падлу, урою!

— Кого? — спросил Спецкор.

— Есть кого...

Алла выглядела в то утро рассеянн-обаятельной, и официант, принесший кофе, сделал ей какой-то тонкий комплимент, на который она улыбнулась с грустной благодарностью.

— Как спалось? — полнобопытствовал я, допивая четвертый стакан апельсинового сока.

— Одиноко! — вздохнула Алла.

— Неужели?

— Да. Машенька ушла с поэтом гулять по ночному Парижу... Вернулись утром... Мне кажется, у них серьезно...

— Интересно, о чем они разговаривают?

— О нем, — пожала плечами Алла. — Точнее, он говорит о себе, а она слушает и не перебивает. Мужчины врут, что им хочется понимания. На самом деле они просто хотят, чтобы женщины заглядывали им в рот...

— Не знаю... Мне в рот только дантисты заглядывают...

— О! Тогда ты еще можешь составить счастье неглупой одинокой женщине!

— Я готов.

— А за дубленкой мы сегодня идем?

— Я готов...

...Около Лувра все было перерыто и перегорожено. Здесь что-то строили, но без грязи.

— К двухсотлетию Великой французской революции, — разъяснила мадам Лану, — будет сооружена стеклянная пирамида. По проекту китайского архитектора Пея...

— Почему китайского? — удивился товарищ Буров.

— Так решено, — покачала головой она, давая понять, что и сама не в восторге от такого выбора. — В пирамиде будут вход в музей, кафе, магазин, офисы... Многие французы считают, что это ни к чему. Я думаю примерно так же...

— Но Лувр-то не снесут? — спросил я.

— Простите... Куда его должны перенести? — не поняла переводчица.

— Он хотел сказать, что Лувр ведь ломать не собираются! — пояснил Спецкор.

— Это невозможно! — замахала руками мадам Лану.

— А чего ж вы тогда волнуетесь? — выдал я. — Подумаешь, пирамида! Если бы бассейн на месте Лувра — тогда я еще понимаю!

— Молодые люди, попрошу ваше остроумие держать при себе! — решительно одернул нас Диаматыч и глянул на меня глазами прилежного ученика, ожидающего похвалы.

Сначала ходили по Лувру кучно и громко — так что все оборачивались — делились впечатлениями. Один советский гражданин внешнеторгового подвига, ласково разъяснявший своей малолетней дочке сюжет картины «Юдифь и Олоферн», завидев нас, поспешно увел прочь ребенка, чтобы не травмировать восприимчивую детскую психику преждевременной встречей с соотечественниками. Возможно, он был прав!

ПОЭТ-МЕТЕОРИСТ: «Потрясающе! Непостижимо! Великолепно! Первый раз вижу музей, где продают пиво!»

ПИПА СУРИНАМСКАЯ, глядя на мумию: «Господи, какая худенькая!»

ТОРГОНАВТ, восторженно озираясь: «Я хочу быть



простой серой луврской мышью! Чтоб жить здесь...» АЛЛА, возле Венеры Милосской: «Все разглядывают ее наготу, а ей нечем закрыть лицо от стыда... Понимаешь?»

ДИАМАТЫЧ (громко и внятно): «Подумаешь, Лувр... Эрмитаж лучше!»

ГЕГЕМОН ТОЛЯ, глядя на статую Гермафродита: «Не по-нял... Ни хрена не понял!»

ПЕЙЗАНКА: «А у нас такой же мужичок в деревне был. Знаешь, как его называли!»

ГЕГЕМОН ТОЛЯ: «Как?»

ПЕЙЗАНКА: «Бабатя!»

СПЕЦКОР, возле «Джоконды»: «Женщину с такой улыбочкой полюбить нельзя. Все время будет казаться, что ты опять ляпнул какую-то глупость...»

ТОВАРИЩ БУРОВ: «Вечером надо на Пляс Пигаль сходить... А то в Москве мужики спросят — рассказывать нечего...»

ДРУГ НАРОДОВ: «Сходим».

Постепенно спецгруппа рассеялась, разбрелась по залам, и мы с Аллой смогли приступить к осуществлению намеченного плана, но она все никак не хотела уходить и жалобно просила разрешения походить по Лувру еще немного.

— Может, тебе искусство дороже дубленки? — съехидничал я.

— Как ты можешь сравнивать! — обиделась Алла, и мы пошли к выходу.

Времени было в обрез. Сверяясь с планом, начертанным рукой супруги моей предусмотрительной Веры Геннадиевны, мы, расталкивая удивительно вежливых прохожих, помчались по Рю-дю-Лувр, затем по рю Монмартр, потом еще по какой-то улице, выскочили к бульвару, пересекли его и, как было предначертано супругой моей прозорливой Верой Геннадиевной, повернули налево, пробежали указанные двести метров и остановились у входа, задержанного черной бархатной гардиной — ни витрины, ни надписи, ничего...

— По-моему, это не совсем то... — с сомнением проговорила Алла.

— А ты хочешь, чтобы дубленки за триста франков продавались у всех на виду? Их давно бы расхватали! — возразил я.

Мы вошли внутрь. В конце просторного, уходящего в глубь дома помещения виднелись кабинки, похожие на примерочные в наших ателье, но только вместо зеркал там были установлены небольшие телевизоры. Вдоль стен тянулись стеклянные витрины со всякой ошарашивающей всячиной. Первое, что бросалось в глаза, — шеренги детородных органов обеих специализаций, убывающих по размеру, подобно мраморным слоникам на бабшкином комодике. Немного выше, по стенам, висели надутые резиновые девицы всех конституций, рас и оттенков. На низких стеклянных столиках были навалены груды журналов и видеокассет с цветными непотребствами на обложках.

Из боковой двери нам навстречу вышел улыбающийся прыщеватый парень явно латиноамериканского происхождения. Всем своим видом изображая готовность выполнить любое, даже самое изощренное желание, он радостно поприветствовал нас и сразу посерьезнел, точно доктор, приготовившийся выслушать жалобы пациента. Алла совершенно онемела от ужаса и стыда, поэтому переговоры пришлось начать мне, безязыкому.

— Мсье Плюш... — сказал я и пальцами изобразил в воздухе нечто кудряво-меховое. — Дубленка...

— Плюш? — с уважением переспросил хозяин сексама. — О'кей!

Он принес из закровов большой мохнатый плед в полиэтиленовой упаковке, а когда плед был любовно разложен на столе, то оказалось, что это синтетическая медвежья шкура, очень похожая на настоящую,

но только легкая (он подбросил ее), мягкая (он погладил ее) и на молнии (он застегнул и расстегнул ее)... Кроме того, продавец знаками горячо рекомендовал нам в комплекте со шкурой приобрести звероподобный фаллический вибратор, работающий как от сети, так и на батарейках...

Мы с Аллой бежали до тех пор, пока снова не оказались в том месте, где улица, названия которой я, конечно, не помню, утыкается в бульвар.

— Может быть, твоя жена что-нибудь перепутала? — стараясь не глядеть на меня, спросила Алла.

— Едва ли, — озираясь по сторонам, чтобы не встретиться с ней взглядом, ответил я. — Обычно она ничего не путает. Разве что «лево» и «право»... Такое с ней случается...

Через двести шагов, сделанных в направлении, прямо противоположном предписанному супругой моей непутевой Верой Геннадиевной, мы очутились возле магазинчика с маленькой витриной, в которой на невидимых ниточках висела рыжая замшевая куртка, напоминающая полураздетого Человека-невидимку... Перед дверью, на тротуаре, были выставлены две стойки с рубашками, пиджаками, свитерами, куртками, брюками, явно уже побывавшими в употреблении и сданными сюда незадолго до того момента, когда их смело можно использовать для работ в саду или гараже.

Мы толкнули дверь, раздался звон колокольчика и навстречу нам вышел худой лысый человек с прискорбно большим носом:

— Мсье Плюш? — опасливо спросил я.

— К вашим услугам! — ответил он на чистом русском языке.

— Вам привет от Мананы!

— Благодарю, — безрадостно улыбнулся он и глазами показал на стеклянный шкафчик, где, словно в тесной очереди за дефицитом, спрессовались дубленки и кожаные пальто. — Для дамы?

— Да! — в один голос ответили мы.

Мсье Плюш с равнодушием навек охладевшего мужчины внимательно осмотрел Аллу, задержав бесстрастный взгляд на груди и бедрах, потом шагнул к шкафу, отодвинул стеклянную дверцу и достал восхитительную шоколадную дубленку с пепельно-коричневыми лаковыми воротником, манжетами и опушкой.

— Эта, полагаю, подойдет! — проговорил он и умело помог Алле надеть дубленку. — Тютелька в тютельку!

Мне стало вдруг смешно от этих трогательных словечек, которых в России я не слышал уже лет пятнадцать. Моя покойница бабушка, царствие ей небесное, любила так говорить — тютелька в тютельку... Алла тем временем подошла к зеркалу и, кутая лицо в воротник, несколько раз поворотилась то в одну, то в другую сторону. Дубленка доходила ей почти до щиколоток и сидела великолепно. Имелись, конечно, и недостатки: на спине, ближе к рукаву, обнаружился художественно выполненный шов (сантиметров пятнадцать), плечи были покрыты многочисленными мелкими морщинами, точно рябь на воде, да еще правая пола казалась чуть светлее, чем левая, но для того, чтобы заметить все это, нужно было очень уж всматриваться.

— Здорово! — наконец вымолвила Алла. — Французская?

— Турецкая, — чуть обиженно ответил мсье Плюш. — Без дефектов она стоит три тысячи франков.

— А с дефектами? — спросил я, беря на себя вопрос о цене.

— Триста пятьдесят.

— А Манана говорила — триста! — сам удивляясь своей сквалыжности, возразил я.



— Жизнь дорожает,— вздохнул мсье Плюш.— И потом, Манана покупает оптом...

— Мы тоже возьмем две. Еще одну, точно такую же...

— Во-первых, две это еще не оптом. А во-вторых, точно такой же у меня сейчас нет.

— А что есть? — похолодел я.

— Вот, пожалуйста! — И он достал из стеклянного шкафчика нечто, напоминающее доху закарпатского пастуха.

— Нам это не подойдет! — взмолилась Алла.

— Как угодно...

— Что же делать? — расстроился я.

— Ничего страшного! — успокоил мсье Плюш.— Приходите послезавтра! Я позабочусь.

— А может, поищите сегодня? — попросила огорчившаяся за меня Алла.

— Дорогие мои товарищи,— улыбнулся мсье Плюш.— Под прилавком я искал, когда работал директором комиссионного магазина в Ростове. Только послезавтра.

— Но послезавтра мы улетаем! — объяснила Алла.

— Когда ваш самолет?

— В 15.20...

— Приходите в десять, и вы получите свою дубленку. Учитывая неудобства, я сделаю вам скидку 50 франков.

— Точно? — не удержался я.

— Неточные здесь прогорают в неделю! — снова погрузившись, отозвался мсье Плюш.

Умело сложенная, дубленка превратилась в небольшой и довольно легкий сверток. Алла отсчитала свои триста пятьдесят франков, и на ее лбу тут же разгладилась морщинка приобретательства.

— Привет Манане! — провожая нас к выходу, сказал мсье Плюш.— И пусть в следующий раз привезет побольше звездочек. Скажите ей, я возьму по пять франков за штуку...

— Каких звездочек?

— С маленьким кудрявым Лениным. Манана знает. Очень хорошо тут идут, чтоб вы не сомневались...

На улице Алла долго и нежно успокаивала меня, мол, один день ничего не решает, а зато пятьдесят франков на дороге не валяются. Потом, вдруг озаболевшись, она стала выпрашивать, не слишком ли бросаются в глаза дефекты ее обновки.

— Совершенно не бросаются,— в свою очередь утешил я.— Представь, что ты купила ее за три тысячи и один раз проехала на метро в час пик...

К Лувру мы возвратились, разумеется, с опозданием: полчаса назад экскурсия должна была закончиться, но у выхода не было никого из наших, кроме Торгонафта. Он, видимо, передумал быть серой музейной мышью и энергично впорывал изумленным туристам стеклянные баночки с икрой. Негры, поблизости торговавшие открытками и буклетами, поглядывали на него с неудовольствием. Заметив нас, Торгонафт крикнул, что если у меня или у Аллы есть с собой икорка на продажу, он с удовольствием поможет нам ее пристроить, не взяв ничего за посредничество.

Наконец, объявилась и наша спецтургруппа. Друг Народов громко возмущался полным отсутствием дисциплины: все разбродилось по Лувру, полностью потеряв ориентацию во времени и пространстве. Но, слава богу, мадам Лану догадалась устроить засаду возле «Гермафродита» и постепенно выловила всю группу.

Нашего отсутствия никто не заметил, и только Диаматич с пониманием покосился на сверток у меня в руке.

## XV.

— А сейчас три часа свободного времени.— объявил Друг Народов.

— Три часа на разграбление Парижа! — пояснил я. Товарищ Буров неодобрительно выпятил подбородок.

— Через три часа встречаемся у автобуса! — продолжал инструктаж замрукспецтургруппы.— Опоздавшие будут...

— Лишены советского гражданства! — прибавил я. Все засмеялись, а Спецкор показал мне большой палец, мол, растешь, сосед!

— С вами, Гуманков, мы еще поговорим! — грозно предупредил товарищ Буров.— А теперь все свободны. Время пошло!

Как по команде наша спецтургруппа ринулась на штурм Парижа торгового, а мы с Аллой двинулись по улице с праздной неторопливостью людей, которым некуда больше спешить и нечего больше купить. Опустились сумерки. Сквозь витринное стекло маленького магазинчика мы заметили Торгонафта. Он протянул хозяину китайцу руку, как для поцелуя, а тот, склонясь, внимательно рассматривал перстень с печатькой в виде Медного всадника.

— Костя, остается 50 франков. Давай купим что-нибудь для тебя,— предложила Алла.— Одеколон, например...

— А если этот Плюш-жоржет передумает и захочет 350? — усомнился я.

— Он обещал!

— А если?! И потом я хочу купить жвачку Вике...

— Очень жаль, что ты так мало думаешь о себе! — раздраженно сказала Алла.

Ради праздного любопытства мы зашли в «Тати» — это, как объяснила нам мадам Лану, самые дешевые парижские универмаги, придуманные, между прочим, русским человеком с непустячной фамилией — Татищев. В «Тати» было по-мосторговскилюдно, шумно и душно, отчего я сразу почувствовал себя по-домашнему. К кассам выстроились длинные горластые очереди. Покупатели с раздувшимися пакетами не могли разойтись в узких проходах между рядами вешалок. Две толстые негритянки совсем по-нашему бранились из-за кофточки, одновременно, за разные рукава, вытянутой из разноцветной кучи дешевого тряпья. Возле груды галстуков, похожей на клубок тропических змей, Пипа Суринамская выбирала обновку для Гегемона Толи, который стоял выпитив грудь и поедая генеральшу глазами.

— Знаешь,— сказала Алла,— когда я у девиц в Москве видела пакеты «Тати», я, дурочка, думала, что это что-то шикарное, вроде Кардена.

— Я тоже.

— Костя, зачем ты дразнишь Бурова? Ты очень смелый?

— Нет, не очень...

— Тогда зачем?

— Чтобы понравиться тебе!

— Ты — ребенок...

— Тебе это не нравится?..

— К сожалению, нравится...

— Почему «к сожалению»?

— Если б я знала... почему!

На улице, прямо по тротуару были расстелены зеленые и малиновые паласы, на них стояли легкие столики, а у столиков на ажурных стульчиках сидели веселые люди, они пили кофе из крошечных чашечек, вино из высоких бокалов, но особенно меня поразила огромная пивная кружка,— в два раза больше моей, тоже не маленькой, дулевской емкости. Из этой кружки лениво прихлебывал дохлый юнец, наверное, еще не зарабатывающий даже на лимонад.

Уличный торговец цветами, по виду араб, профессионально уловив мою мягкотелость, привязался к нам с букетом белых роз. Он переводил взгляд с влажных бутонов на Аллу, цокал языком, и, понимая, что если



меня не остановят, произойдет непоправимое, я полез в карман. Но великодушная Алла сердито накричала на цветоношу, и он, совершенно не огорчившись, исчез.

Я представил себе, что у меня очень много франков. Не важно, сколько... Достаточно, чтобы зайти в универмаг (не «Тати», конечно!) и выйти одетым, как истый парижанин. Интересно, смог бы я так же непринужденно сидеть у столика, так же рассеянно-добродушно озирая уличную вселенную, так же лениво потягивать пиво из причудливой, как реторта, кружки?.. Нет, не смог бы... Пековский смог бы, а я нет... Почему окружающий мир для меня не источник радости, а источник постоянно ожидаемой опасности? Почему к пяти общедоступным чувствам в меня всажено шестое — испуг? Нет, это не страх перед чем-то определенным. Это способ постижения жизни: зрение, обоняние, осязание, слух, вкус и — испуг. У ящерицы есть юркий язычок, которым она перепроверяет свое зрение, а у меня — испуг...

— О чем ты думаешь? — спросила Алла.

— О нас...

Но я думал о моей матери. Давно, еще в пору своей профсоюзной активности, она водила по заводу иностранную делегацию, кажется, чехов, показывала производство, объясняла технологию — и чехи преподнесли ей сверток. Она впопыхах сунула его в служебный сейф с профсоюзной документацией, повела зарубежных друзей обедать в заводскую столовую, где по такому случаю сострапали что-то особенное из продуктов, выделенных по лимиту специальным распоряжением райкома партии. Домой мать приехала поздно, уснула мгновенно, а среди ночи вскочила от ужаса: ей приснилось, что в свертке — бомба. Рыдания, ругань ничего не понимающего спросонья отца, ночное такси, поездка через весь город, ключ, никак не попадающий в замочную скважину, надгробие стального сейфа, сверток, к которому страшно прикоснуться, но позвонить, куда следует, еще страшной, неизвестно уж какая таблетка валидола под онемевший от мятной горечи язык... И шесть фужеров из чешского стекла в коробке, переложенные синтетической мягкостью...

— Ты давно знаешь Пековского? — спросил я.

— Не очень. Мы познакомились после моего развода. Он принимал у меня вместе с заказчиком программ...

— А кто был твой муж?

— Не знаю...

— В каком смысле?

— В прямом. Я выходила замуж за чудесного парня... Однокурсника. Умного, веселого, сильного. Любого перепьет, любого перешутит, любому в морду даст, если нужно... И он не имел ничего общего с тем существом, которое поселилось потом у меня на диване перед телевизором... Костя, может быть, мужчины в браке окукливаются, как насекомые?

— Возможно, — не стал спорить я.

— Мой муж говорил так: коммуняки делают все, чтобы я ничего не затевал и не задумывался, а я буду вообще лежать и совсем не думать... Когда так же поступят миллионы, этот огосударствленный идиотизм рухнет!

— Ты была замужем за умным человеком! — удивился я.

— Да, умным и жалким... Это легко. Ты попробуй вопреки всему быть белозубым, веселым, богатым!

— Это трудно, — вздохнул я и языком нащупал в зубе дырку, которую давно собирался запломбировать.

— Да, трудно! Нужно напрягаться. Борец — это не запаршивевший диссидент с Солженицыным за пазухой, а тот, кто умудряется вопреки всему жить, как человек...

— Как Пековский? — уточнил я.

— Я не люблю Пековского. Успокойся! Но он способен сопротивляться жизни. Он может защитить от нее. Понимаешь? Пусть лучше нелюбимый защитник, чем любимый — как это Машенька сказала? — баба-тя...

И Алла посмотрела на меня с таким гневом, что сердце мое похолодело. Когда красивая женщина сердится, она становится еще красивее. Заглядевшись на Аллу, я чуть не врезался в отрешенно лобзающуюся парочку. Уличный поток обтекал их так, словно это была городская скульптура вроде роденовских поцелуйщиков. Мы свернули с освещенной улицы и присели на лавочку в маленьком скверике, окаймленном геометрически подстриженным кустарником. Кучки облетевшей листвы в темноте казались ямами.

— Понятно, — сказала Алла, — ты завел меня сюда с гнусными намерениями...

— Разумеется, — отозвался я, изготавливаясь к поцелую.

— И тебе меня не жалко?

— Нисколько! — Я обнял ее за плечи и начал медленно клониться к светлевшему в темноте лицу.

— Не надо! — прошептала она.

— Надо! — отозвался я, помня школьную заповедь, что в таких случаях главное — не замолкать и говорить что-нибудь.

Поцелуй вышел неудачный. Я, кажется, обслонявил в темноте Алле щеку, пока наконец не напал на ее губы. А когда она захотела оторваться от меня, я проявил неуклюжую настойчивость, в результате чего раздался совсем уж неприличный вскрик...

— Костя, да ты совсем не умеешь целоваться! — засмеялась Алла.

И мне показалось, что она тоже меня сравнивает, не знаю уж с кем — со своим бывшим мужем или нынешним Пековским. Я ощутил совершенно ребяческую, беспросветную до сладости обиду и встал. Назад мы возвращались молча.

Около автобуса, уставившись на часы, как судья на секундомер, караулил Друг Народов. Кажется, он был очень разочарован, что мы с Аллой пришли вовремя. Все были с покупками. В глаза бросался Гегемон Толя, одетый в новый белый аленделонистый плащ и галстук, выбранный для него Пипой Суринамской, которая, в свою очередь, нежно поглядывала на стоявшую у ее ног сумку, раздувшуюся, как свиноматка. Спецкор держал между колен аккуратно упакованные горные лыжи. Товарищ Буров был при коробке с телевизором, стоявшим, по моим понятиям, тысячи полторы, а то и две. Поэт-метеорист, занявший у мадам Лану под премию пятнадцать франков, прикладывался к пузатенькой бутылочке...

Опоздал Торгонавт. Он был бледен, словно человек, из которого трехведерным шприцем вытянули всю кровь.

— Почему вы опоздали? — грозно спросил товарищ Буров.

Торгонавт поглядел на него умирающим взором и всхлипнул.

— Вы потеряли паспорт? — встревожился рукспецтургруппы.

— Нет... — помотал головой Торгонавт.

— А что случилось? — вмешался Друг Народов. — Была провокация?

— Не-ет... Я... купил себе пиджак за сто пятьдесят франков... А в другом магазине такой же стоил сто десять...

Эта душераздирающая информация вызвала единодушное чувство сострадания, и несчастный Торгонавт не был лишен советского гражданства.



## XVI.

Вечером, после ужина, провели планерку, посвященную итогам дня и предстоящему посещению пригородного района Парижа, где у власти коммунисты. Поскольку после посещения муниципалитета, спичечной фабрики и лица планировался товарищеский обед с участием активистов местного отделения ФКП, товарищ Буров предложил Поэта-метеориста с собой не брать...

— Жалко! — возразила Алла. — Все-таки последний день в Париже. Пусть пообещает, что не будет пить!

В ответ Поэт-метеорист обозвал нас всех помойными чайками, сказал, что в гробу видал этот наш подпарижский райком партии и что если мы будем на него давить, то он выберет свободу, а нас всех за это по возвращении удавят. Затем он решительно потребовал займы у Гегемона Толи десять франков, тот, растерявшись от неожиданности, дал — и, обретя вновь гордую алкогольную автономию, Поэт-метеорист в сопровождении своей верной Пейзанки покинул штабной номер.

Когда всех отпустили, Друг Народов с видом подлого мультипликационного зайца сказал:

— А вот Гуманкова попрошу остаться!

Товарищ Буров неподвижно сидел в кресле, и на его лице застыло апокалипсическое выражение. Заместитель же ходил по номеру решительными шагами и высказывал от имени руководства спецтургруппы резкое неудовольствие по поводу моего безобразного и антиобщественного поведения.

— Постоянные нарушения дисциплины! Постоянные высказывания с душком!..

— С каким душком? — уточнил я.

— Не прикидывайтесь! И не берите пример с вашего соседа! Он журналист. А вы? Кто вы такой? И что вы себе позволяете?!

— А что я себе позволяю? — Пугливая предусмотрительность подсказывала, что чем дольше мне удастся прикидываться полудурком, тем лучше.

— Вы, кажется, женаты? — вступил в разговор товарищ Буров.

— Вы, кажется, тоже? — не удержался я.

— Прекратите хамить руководителю группы! — взвизгнул Друг Народов. — Мы обо всем сообщим в вашу организацию! Вы понимаете, чем все это для вас кончится?

— А у меня еще ничего и не начиналось...

— Подумайте о последствиях, Гуманков! — пригрозил замрукспецтургруппы. — Шутите с огнем!

— Не надо меня пугать! — взорвался я. — Что вы у меня отнимете? Компьютер? А кто тогда будет вашу икру считать?

— Какую икру?

— Красную и черную...

— Опять хамите! — Друг Народов топнул ногой и растерянно глянул на товарища Бурова.

— Не понимает! — медленно определил ситуацию рукспецтургруппы. — В Союзе мы ему объясним...

— Вы понимаете, что станете невыездным?! — в отчаянии крикнул Друг Народов.

Как человек на 90% состоящий из воды, так моя ответная фраза примерно на столько же состояла из полновесного нецензурного оборота, необъяснимым образом извергнувшегося из глубин моей генетической памяти. Именно оттуда, ибо целого ряда корнесловий, особенно поразивших моих хулителей, я раньше и сам никогда не слышал...

В коридоре меня терпеливо ожидал Диаматыч.

— Посоветались? — заискивающе спросил он.

— Вот именно. А вас я, кажется, предупреждал...

— Простите, я хотел только доложить, что вернул-

ся своевременно...

— Хорошо. Что еще?

— Еще я бы советовал вам повнимательнее присмотреться к Поэту. Мне кажется...

— Меры уже приняты! — резко ответил я и уставился ему в переносицу. — Что еще?

— Просьба! — ответил Диаматыч, вытягивая руки по швам.

— Говорите!

— Можно я завтра еще раз с ними встречусь?

— Пользуетесь моим хорошим отношением!..

— Последний раз! — взмолился он. — Поймите меня правильно!

— Ладно. О возвращении доложите!

...Спецкор, выслушав мой рассказ о стычке с товарищем Буровым, сказал, чтобы я не обращал внимания на этого бурбона, так как ни один руководитель не заинтересован в привлечении внимания к поездке. Мало ли что может всплыть? Вдруг выяснится, что один из членов группы занимался незаконной продажей икры, принадлежащей не только ему, но и руководству? Или всплывут на поверхность некоторые подробности морального разложения и злоупотребления общественными финансовыми и алкогольными фондами? Так что все эти обещания — направить письмо на работу, сделать невыездным — страшилки для слабонервных. И вообще, если он, этот горкомовский пельмень, хоть что-нибудь вякнет, Спецкор такое напишет о нем, что строгач с занесением покажется товарищу Бурову самой большой его жизненной удачей! Потом мой великодушный сосед демонстрировал свои чудесные пластиковые лыжи, обещал как-нибудь взять меня в горы и сделать из меня же настоящего мужчину. В заключение Спецкор заявил, что если бы ему предложили выбирать между горными лыжами и красивыми женщинами, то он, не колеблясь, выбрал бы лыжи, ибо два этих удовольствия даже нельзя сравнивать...

— А Мадлен? — спросил я.

— В том-то и дело, что она тоже горнолыжница! — помрачнел Спецкор.

В дверь постучали. Предполагая, что это бестолковый Диаматыч снова вышел на связь, я, как был — в семейных сатиновых трусах и синей дырявой майке, — босиком побежал открывать. На пороге стояла Алла в длинном шелковом халате. Волосы ее не просохли еще после душа.

— Извини... — сказала она. — Знаешь, Машенька опять ушла с Поэтом...

— Наверное, она его любит, — предположил я, незаметно подтягивая трусы и закрывая пальцами дырку в майке.

— Наверное. Но они куда-то дели мой кипятыльник, а я хотела выпить чаю...

— Нет проблем! — раздался голос Спецкора. Одетый в белоснежный адидасовский костюм, он стоял рядом со мной и держал в руках искомый кипятыльник. — Но только учтите, Аллочка, французы больше боятся русских туристов с водонагревательными приборами, чем террористов с пластиковыми бомбами...

— Я буду осторожна, — пообещала Алла.

— Нет, вам нужен контроль специалиста! — заявил мой сосед. — Константин, тебе поручается...

— Я уже лег спать! — был мой ответ.

— Заодно и чаю попьешь! — настаивал Спецкор.

— Чай перед сном возбуждает! — уперся я рогом.

— Спокойной ночи! — сказала Алла.

Она уходила по коридору, а я стоял и смотрел, как под тонким шелком движется и живет ее тело.

— У тебя случайно в детстве не было сексуальной травмы! — озабоченно спросил Спецкор.

— А что?

— Ничего. Бедная Алла! Можно подумать, что ты



голубой. Но поскольку я лично проспал с тобой в одной постели целую неделю, приходится делать вывод, что ты просто пентюх!

Наверное, Спецкор прав... Я тихо лежал на своем краю нашей дурацкой общей кровати и думал о том, что очень похож на большую седеющую марионетку, которую дергает за ниточки оттуда, из прошлого, некий мальчишка с насмешливыми глазами и круглым, обидчивым лицом. Ему было лет тринадцать, когда во время школьного вечера он влюбился в очень красивую девочку из параллельного класса. Как протекает эта нежная ребяческая дурь, общеизвестно: он страдал, старался лишний раз пройти мимо ее класса, нарочно околачивался возле раздевалки, чтобы дожидаться момента, когда она будет одеваться, и поприусловствовать при этом. Невинное детское томление — и ничего больше!

А рядом с его школой была товарная станция, откуда ребята таскали странные стеклянные шарики величиной с голубиное яйцо. Они были темно-янтарного цвета — совсем такого же, как глаза той замечательной девочки. И вот однажды, во время репетиции сводного хора, мальчишка взял и ляпнул, что ее глаза похожи... похожи... на эти самые таинственные шарики. «Принеси! — приказала она. — Я хочу видеть...»

Вечером, когда стемнело, он перелез через острейший железный забор и, рискуя быть покусанным собаками, набил полный карман, а дома получил хорошую взбучку за разорванное пальто и ободранные ботинки. Но это было ерундой по сравнению с мечтой о том моменте, когда он протянет ей пригоршню этих самых непонятных шариков, назначение которых, быть может, и заключалось только в том, чтобы напоминать цвет ее глаз.

На следующий день она дежурила по классу, и он долго торчал возле раздевалки, прежде чем дождался ее появления. И дождался... С ней рядом вышагивал здоровенный старшеклассник, славившийся на переменах своей хулиганистостью, модной взрослой стрижкой, и подростковыми желтоголовчатыми прыщами. Возле самых вешалок верзила вдруг схватил эту недосяжимую принцессу за плечи и стал сноровисто целовать ее в губы, а она, по-киношному закрыв глаза и откинув голову, даже не сопротивлялась. Только левой рукой, свободной от портфеля, лихорадочно поправляла черный передничек.

Бедный мальчик представил себе слюнявый рот этого парня, его тяжелое табачное дыхание, его угристое лицо, приплюснутое к ее лицу, — и мальчику стало плохо, очень плохо. Нет, не в переносном смысле, а в самом прямом. Роняя из карманов темно-янтарные шарики цвета ее закрытых от удовольствия глаз, он бросился на улицу, на воздух, и в школьном садике, возле яблони, его вывернуло...

А детские комплексы, как понял я впоследствии, обладают поистине стойкостью героев Бородина...

## XVII.

Мэр-коммунист оказался низеньким, длинноносым смешливым человечком, он острил, рассказывал забавные истории, сам над ними хихикал и грустнел лишь в том случае, если речь заходила о международном рабочем движении. А когда во время торжественного обеда, накрытого в ресторане, рядом с местным отделением ФКП, основательно уже поднасосавшийся и впадавший в застойную эйфорию товарищ Буров заметил, что раньше Советская власть была только в уездном городишке Иванове, а вот теперь — сами понимаете, в глазах веселого мэра мелькнул настоящий ужас. Утешился он лишь после того, как Друг Народов вручил ему огромную матрешку, внутри которой, вопреки ожидаемому, таилась бутылка русской водки.

Алла весь день была со мной равнодушно любезна, словно мы только что познакомились в очереди к зубному врачу. В отель возвращались уже по вечернему Парижу, и где-то за домами торчала Эйфелева башня.

Спецкор тихо слинял на решающее свидание с Мадлен. Я поднялся в номер и, наслаждаясь одиночеством, начал неторопливо разуваться. Мне было о чем поразмышлять, ибо именно сегодня я вдруг почувствовал, как в моем теле, подобно гриппозной ломоте, возникло странное тянущее ощущение, обычно именуемое ностальгией. Нет, мне еще не хотелось в Москву, я еще не насытился Парижем, но странные внутренние весы, на первой чаше которых лежит восторг первооткрывателя, а на второй — радость возвращения, дрогнули и пришли в движение. Вторая чаша становилась все тяжелее и все настойчивее тянула вниз...

Молоденький рыжий таракан, кажется, тот самый, вдруг выскочил из-за спинки кровати и со спринтерской скоростью помчался по стене. Ну, вот — добегался! Прицеливаясь, я медленно поднял ботинок. Насекомое внезапно остановилось, наверное, чтобы хорошенько обдумать мое движение, не понимая, что этим самым обрекает себя на лютую казнь через размазывание по стене. Но провидению угодно было распорядиться иначе... Раздался громкий стук в дверь, и, не дожидаясь разрешения, в номер вошли нахмуренная Алла и зареванная Пейзанка.

— Вот! — сказала Алла, явно тяготясь необходимостью общаться со мной. — Мы к тебе...

— А что случилось?

— Его... Его... За-за-бра-а-а-ли-ии... — борясь с рыданиями, объяснила Пейзанка.

— Кого?

— Кирю-ю-юшу-у...

— Кто?

— Какие-то мужики в плащах...

— Ты кому-нибудь говорила? — спросил я.

— Говорила, — объяснила Алла, с интересом глядя на меня. — Говорила профессору. А он сказал, что Гуманков знает, что нужно делать, и куда-то ушел. Ну, и что будем делать?

— Не знаю. Наверное, докладывать руководству... А что еще?

Позвали руководство, которое в целях достижения чувства полной завершенности, досасывало очередную бутылку из общественных фондов. Властно, покачиваясь, товарищ Буров несколько секунд смотрел на Пейзанку с полным непониманием, потом икнул и кивнул Другу Народов.

— Что случилось? — гнусенько поинтересовался тот.

— Уше-ел! — с плачем ответила она.

— Поматросил и бросил! — осклабился замрук-спецтургрруппы.

— Он пропал! — вмешалась Алла.

— Ну, и пропади он пропадом! — в сердцах крикнул Друг Народов. — Алкаш! Все мы пьющие, но не до такой же степени!

— Куда пропал? — шатнувшись, уточнил товарищ Буров.

— Неизвестно, — сообщил я. — Ушел с какими-то людьми... В плащах...

— То есть как в плащах! — В голосе товарища Бурова забрезжил смысл.

— А вот так — пришли и забрали!

— То есть как это забрали? — мучительно трезвея, возмутился рукспецтургрруппы.

— А он сказал, когда вернется? — побледнел Друг Народов.

— Нет, он сказал, что в Париже за стихи деньги платят! — ответила Пейзанка.

— Мне это не нравится! — все более осмысленно глядя на происходящее, вымолвил товарищ Буров.



— Соскочил! — вдруг истерически засмеялся Друг Народов. — Точно соскочил! Всех надул!

— Спокойно. Без паники! — приказал товарищ Буров, и я понял, что в некоторых случаях руководящая туповатость — как раз то, что нужно.

— Звонить в посольство?! — чуть не плача, закричал Друг Народов.

— Если через два часа не вернется, будем звонить в посольство! — постановил товарищ Буров.

Около часа мы просидели в моем номере, вздрагивая от каждого скрипа и шороха. Однажды зазвонил телефон, Друг Народов бросился на него, как кот на мышь, крикнул в трубку жалобным голосом: «Алло, говорите, вас слушают!» Но говорить с ним не захотели. Наконец товарищ Буров не выдержал, сходил в штабной номер и принес бутылку «Белого аиста», которую я некогда сдал в общественный фонд. Выпили и закусили моими галетами.

— Ну, кому он здесь нужен! — снова заголосил Друг Народов. — Языка не знает! Пьет! Тьфу!

— На себя лучше наплюй! — сварливо крикнула Пейзанка, только-только начавшая успокаиваться, прикрыв у Аллы на коленях.

Постепенно в моем номере собрались и все остальные. Торгонавт принес бутылку водки и хороших консервов. Пипа Суринамская, одетая во все новое, велюрово-разноцветное, выставила перцовку, копченую колбасу и балык. Гегемон Толя добавил банку солдатской тушенки, ровесницу первого семипалатинского испытания, и водку производства нижнетагильского комбината.

— Говорят, в ней железа много! — пошутил он.

Выпивали и закусывали грустно, как на поминках. Потом заговорили о безвременно соскочившем Поэте-метеористе, мол, неплохой человек был, хоть и пьющий.

— Он даже стихи нам ни разу не почитал! — вздохнула Алла.

— Может, это и к лучшему! — не согласился Торгонавт.

— Это ж какое здоровье надо иметь, чтоб так пить! — высказалась Пипа Суринамская. — Мой-то генерал так только до майоров хлебал. Бывало, с замполитом натрескаются и на танке охотиться едут... Мясо в доме никогда не переводилось...

— О чем вы говорите! — взблеснул Друг Народов. — Если б он знал язык... Был энергичным, предприимчивым...

И в этот самый миг, да-да, именно в этот самый миг дверь распахнулась, и в номер вступил победительно ухмыляющийся Поэт-метеорист. В правой руке он держал роскошную, перевязанную алой лентой коробку с надписью «Пьер Карден», под мышкой — какую-то зеленую папку, вроде почетного адреса, а в левой руке висела авоська, набитая пакетами, похожими на наши молочные.

— А я думаю, куда это все подевались! — заявил вернувшийся.

— А вот мы сидим и думаем, куда это вы подевались! — съехидничал Друг Народов.

— Мне премию вручали...

— Какую премию? — подозрительно спросил товарищ Буров.

— Денежную! — истерпывающе объяснил Поэт-метеорист, бросил на стол авоську с пакетами и полез в карман. — Вот, Толянчик, твой чирик, как договаривались, с премии...

Гегемон Толя внезапно получил назад деньги, которые, конечно, уже вычеркнул из своей жизни.

— А это, Машка, тебе... От Кардена... и... от меня! — Поэт-метеорист протянул зардевшейся Пейзанке коробку.

— Сколько же это стоит? — в ужасе спросил Торгонавт.

— Почти пять штук! На всю премию... А на сдачу винища купил... В пакетах. Очень удобно — не бьется и посуду сдавать не нужно...

— Какая еще такая премия? — сурово повторил свой вопрос товарищ Буров.

— За стихи...

— За стихи! Не смешите людей! — подтявкнул Друг Народов.

Поэт-метеорист глянул на него тем особым презрительным взором, каковым обладают лишь долгосрочно пьющие люди, и, не говоря ни слова, раскрыл зеленую папку-адрес: внутри оказался сдвоенный вкладыш из атласной бумаги, на которой золотом было оттиснуто (Алла перевела вслух):

*Господину Кириллу Сварщикovu (СССР)  
присуждается поощрительная премия Международного конкурса имени Аполлинера на лучшее анималистическое четверостишие.*

*Генеральный президент Всефранцузского общества защиты животных*

*Подпись. Печать.*

А рядом, тоже золотом по атласной бумаге, были напечатаны два четверостишия, точнее, оригинал и французский перевод премированного четверостишия:

*Мы с тобою — городские чайки,  
Мы давно забыли запах моря,  
Мы всю жизнь летаем над помойкой  
И кричим с тоской: «Мы — чайки, чайки...»*

— Поздравляю! — веско произнес товарищ Буров и осуществил поощрительное рукопожатие.

— Это ж сколько за строчку получается?! — восхитился Торгонавт.

— Добытчик! — С этими словами Пипа Суринамская обняла и расцеловала Поэта-метеориста.

— Ладно уж... — смущенно отстранился он. — Как сказал поэт Уитмен, чем болтать, давайте выпьем!

В пакетах оказалось красное сухое вино, и, если бы там было молоко, его бы хватило минимум на неделю, а вино выхлестали за какие-нибудь полчаса. Туда же последовало и все остальное. Поколебавшись, Торгонавт притащил бутылку лимонной водки, припасенную, видимо, на черный день, и, когда он откручивал пробку, я заметил, что на его безымянном пальце вместо Медного всадника нанизан аляповатый перстень из дешевого желтого металла.

— Поэма Рылеева «Наливайко»! — приказал Поэт-лауреат.

Затем пьяная щедрость овладела и Другом Народов: он выставил бутылку виски, прикупленную для подарка кому-то в Москве, а я, чтобы не отстать, банку икры, которую так и не смог продать, несмотря на приказ супруги моей практичной Веры Геннадиевны.

— В следующий раз берите икру только в стеклянных банках! — посоветовал Торгонавт. — В железных, как у вас, покупать бояться... Бывали случаи, когда наши впаривали кильку с зернистой этикеточкой!

Потом пели:

*Хас-Булат удалой,  
Бедна сакля твоя...  
Золотою казной  
Я осыпью тебя...  
Дам коня, дам книжал,  
Дам винтовку свою,  
А за это за все  
Ты отдай мне жену...*

Начали дружно, хором, но постепенно те, кто забыл или не знал дальше слова, замолкали. Я сошел с дисстанции где-то в середине, когда начал проясняться



вопрос о том, что молодая жена Хас-Булата состоит в нежных отношениях с князем, пытающимся выторговать ее у мужа. До конца смогли допеть лишь Пипа Суринамская и Гегемон Толя. Честно говоря, я понятия не имел, что все закончится так скверно, мне почему-то всегда казалось, что они договорятся. В общем, Хас-Булат убил свою неверную жену — «спит с кинжалом в груди», а князь снес Хас-Булату саблей голову — «голова старика покатила на луг...».

Появился Спецкор, сообщил, что наше хоровое пение разносится далеко по ночному Парижу, и выставил свою бутылку зеленогрудой, уже начинавшей исчезать из продажи «андроповки».

— «Прощай, мой табор, пью в последний раз!» — провозгласил Поэт-метеорист, закусил и рассказал, как у них в Союзе писателей направляли поздравительную телеграмму автору этой знаменитой песни, но на почте ошиблись и вместо «пою» отстучали «пью». Старикан страшно обиделся, так как увидел в этом намеки на беззаветную любовь к алкоголю, которую он пронес через всю свою долгую жизнь.

Ко мне подсел пьянехонький Торгонавт и с доверительной слезой, совсем по-рыгалетовски, поведал свою печальную историю мальчика из творческой семьи, насмотревшегося на митарства родителей-вхутемасовцев и выбравшего себе профессию понадежнее. Нет, сначала-то он хотел стать инженером — тогда это еще ценилось, но отец подхалтуривал — красил праздничное оформление для большого универмага — и всегда брал с собой сына, подкормиться. Было это после войны, а бездетная директриса магазина всегда угощала или конфетами, или эклером.

— И знаешь, что самое интересное? — тряс меня за плечо полуплачущий Торгонавт. — Я ведь ни о чем не жалею, хотя мои акварельки хвалил сам Фальк... Он дружил с папой...

Потом хором уговаривали Пейзанку примерить платье от Кардена. Она отнекивалась, объясняла, что ей жалко портить ленту, завязанную изумительной розочкой, но товарищ Буров заявил, что изготовление розочек из ленточек — его прямая обязанность, после чего Пейзанка смирилась и ушла переодеваться. Ни с того ни с сего хватились Диаматыча, и я уже было собрался что-нибудь наврать, но Друг Народов предположил, что профессор, по всей вероятности, выбрал свободу и попросил у французов политическое убежище. Все просто повалилось от хохота! Вернулась Пейзанка. Платье было умопомрачительное, элегантно-легкомысленное, с той изысканной небрежностью, которая, наверное, и стоит таких денег.

— Горько! — завопила Пипа Суринамская и, не удовлетворившись кратковременным поцелуйчиком смущенной Пейзанки и ослабшего Поэта-лауреата, сгребла Гегемона Толю и показала, как на своей свадьбе она целовалась с генералом Суринамским, тогда еще лейтенанчиком.

Дальше — нашли по телевизору парад клипов и начали танцевать. Естественно, товарищ Буров заgrabстал Аллу и в процессе музыкального топтания посреди номера все крепче и крепче прижимал ее к себе — она даже уперлась кулачком ему в грудь. Он что-то шептал Алле в лицо, и мне казалось, я чувствую его разгоряченное, пьяное дыхание.

— Давай набьем Бурову морду! — присев рядом со мной, предложил Спецкор. — Ишь, бурбонище! Терпеть не могу, когда пристают к чужим женщинам. А ты чего скучился — борись!

— Не умею...

— Вот-вот! Ты обращал внимание, что у роскошных баб — мужья обычно жлобы жлобами. А почему? А потому что, когда нормальный парень видит классную девочку, что он испытывает?

— Что? — спросил я.

— Он испытывает не-ре-ши-тель-ность! А вдруг я не в ее вкусе? А вдруг она не то подумает?... А вдруг за ней ухаживает кто-нибудь в кожаном пальто, а на мне папин габардин? Точно?

— Точно! — поразился я верности его наблюдений.

— А какой-нибудь хмырь с немытой шеей, даже не посмотрев на себя в зеркало, подвалит и цап мертвой хваткой...

— Ты поссорился с Мадлен?

— Нет. Оказалось, что она замужем...

Аллу от товарища Бурова освободила Пипа Суринамская: обняв рукспецтургруппы, она показывала, как нужно танцевать классическое танго, а попутно рассказывала, что генерал, будучи еще курсантом и завоевывая сердце своей будущей жены, гусарил и даже пил шампанское из ее туфельки.

— Шампанское на все столики! — сорвав телефонную трубку, крикнул Поэт-метеорист. — Гарсон! Инциммер!

Клипы в телевизоре становились все круче и круче. Один изображал скандал в дорогом борделе. Мы сгрудились вокруг экрана и разнузданными криками приветствовали смертельно-сексапильную мулатку, которая, подпрыгивая на батуте, закамуфлированном под кровать, творила в полете стриптиз. Первой заметила стоящего в дверях элегантного официанта Алла, она улыбнулась ему, что-то сказала и стала искать глазами Поэта-метеориста, но он уже выпал из нашего праздника и спал, сжимая в руке стоптанный Пейзанкин туфель. Проследив взгляд Аллы, официант тонко улыбнулся, потом, шевельнув бровью, оценил наш стол с объедками колбасы, кусками хлеба, выскобленными жестянками, опрокинутыми бутылками и пакетами из-под вина, снова улыбнулся и спросил что-то.

— Кто-нибудь заказывал шампанское или это ошибка? — перевела Алла.

— Скажите ему, у нас возникли определенные организационные трудности! — заплетающимся языком распорядился товарищ Буров.

— Я ему завтра подарю матрешку! — пьяно пообещал Друг Народов. — Завтра будет все!

Официант терпеливо ждал, рассматривая пятна вина и обломки галет на паласе. Возникла неловкая пауза.

— Я заказывал!

Алла посмотрела на меня с удивлением и перевела. Гарсон что-то уточнил.

— Сколько? Одну, две... — разъяснила она.

— Две! — самоотверженно потребовал я.

Алла снова перевела, и официант снова уточнил.

— Какой сорт предпочитаете?

— «Вдова Клико!» — не задумываясь, выбрал я, потому что о других сортах не имел ни малейшего представления, а про этот читал в каком-то французском детективе.

Алла перевела. Официант уважительно приподнял брови, поклонился и вышел.

— Безумству храбрых поем мы песню! — крикнул Спецкор и хлопнул меня по плечу, а я тем временем прикидывал, что, пожалуй, нашел лучшее применение моим сэкономленным 50 франкам. В конце-то концов! Тварь я дрожащая или право имею?!

Официант вернулся через несколько минут. В одной руке он держал серебряное ведерко, из которого торчали два серебряных бутылочных горлышка, похожих на любовников, купающихся в ванне; а в другой руке, между пальцами, — восемь бокалов с длинными и тонкими, как у одуванчиков, ножками-стебельками. Он расставил все это на краешке нашего засвиняченного стола, обернул бутылку белоснежной салфеткой, осторожно хлопнул пробкой и принялся плавно разливать шампанское по бокалам. Делал он это без особой бдительности, улыбаясь нам, но ни разу пена не пере-



ползла через края, а когда она с шипением опала, выяснилось, что в каждом бокале аптекарски равное количество шампанского.

— Снайпер! — изумился Гегемон Толя. — Махани с нами! А?

Но официант, наверное, по жестам поняв, о чем идет речь, только покачал головой и, поклонившись, вышел из номера.

— Ну, вот, товарищи... — трудно молвил наш руководитель. — Что хотелось бы сказать... Хороша страна Франция, но только за рубежами по-настоящему понимаешь, как дорога тебе родина...

— За родину! — подхватил Друг Народов.

— Обожди... — поморщился товарищ Буров и потянул ход мысли. — Что хотелось бы сказать...

— Так за что пьем? — пожал плечами Спецкор.

— Какая разница! — воскликнул Торгонавт. — Я всем оставляю мой телефон. Если нужны будут перчатки, кошельки, сумки — звоните, не стесняйтесь...

— Давайте за мужиков! — предложила Пипа Суринамская. — За наших защитников!

— Как сказал поэт Уитмен... — Это снова был Поэт-метеорист, запах спиртного действовал на него, как заклинания на зомби. — Чем болтать, давайте...

— Выпьем! — закричали все хором.

«Вдова Клико» показалась мне кисловатой.

Вторую бутылку, приговаривая: «Ну, я его, гниду, урою!» — взялся открывать Гегемон Толя. Он долго возился с пробкой, и дело закончилось пенной, как из огнетушителя, струей. Каким-то чудом струя прошипела в сантиметре от Пейзанки, так и не снявшей своего нового платья, и точнехонько ударила в Аллу.

— У-у, косорукий! — ругнулась Пипа Суринамская и шлепнула сконфуженного Гегемона Толю по затылку.

— Срочно нужно присыпать солью! — посоветовал Торгонавт.

Алла со смехом вскочила — ее белая кружевная блузка прямо на глазах становилась прозрачной. И прикрыв свою проявляющуюся, как на фотобумаге, наготу (сначала проклюнулись два черешневых пятнышка), Алла выбежала из номера.

— Дианы грудь, ланиты Флоры! — крикнул ей вдогонку Поэт-метеорист.

Несколько минут все смеялись, охали, обсуждали происшествие, а Пипа Суринамская рассказала, как однажды во время гарнизонного спортивного праздника она играла в волейбол и у нее отскочила пуговица лифчика... Что тут началось! Кошмар! Начсанчасти приказал на ужин всему личному составу дать двойную порцию брома!

А товарищ Буров, уверенный, что на него никто не обращает внимания, вытер носовым платком лоб и шею, поправил галстук, и помотав головой, то ли приводя себя в чувство, то ли отгоняя сомнения, встал и двинулся к двери.

— Иди! — приказал мне шепотом Спецкор. — Я его задержу!

— Давай набьем ему морду! — предложил я, ощущая готовность к активным действиям.

— Иди, тебе сказали! Это твой последний шанс, лопух!

В коридоре с разбегу я наскочил на обвешанного коробками и свертками Диаматгыча.

— Простите за опоздание! — отпартовал он.

— Прощаю! — крикнул я в ход.

Дверь в номер Аллы была чуть приоткрыта...

## XVIII.

Проснулся я от странного звука: словно кто-то рвал бумагу. Открыл глаза — в номере никого не было.

Спецкор отсутствовал, но на столе, посреди мусора, оставшегося от вчерашнего веселья, лежал сверток с дубленкой, купленной Аллой. Впрочем, нет, он не лежал, а покачивался и пульсировал, будто внутри сидел огромный цыпленок, старающийся выбраться наружу из огромного перетянутого шпагатом бумажного яйца. Обертка в нескольких местах уже лопнула, и с громким треском (он-то и разбудил меня) появлялись все новые надрывы. Вдруг веревки окончательно разорвались, листы бумаги опали, и дубленка, свернутая в замысловатый замшевый эмбрион, медленно начала расправляться, а потом так же медленно поползла в мою сторону, не задевая почему-то бутылок и бокалов, загромождавших стол.

«Боже, какой дурацкий сон!» — подумал я, перевернулся на другой бок и накрылся одеялом с головой: сразу стало тепло и спокойно.

Но я рано обрадовался — одеяло было содрано, и дубленка медленно навалилась на меня своим душным меховым нутром. То, что я принимал за толстые складки, оказалось тугими страшными мускулами, а мягкие, пушистые манжеты из ламы вдруг сжали мое горло с удушающей силой, словно это были тиски, на которые зачем-то надели пахнущие нафталином меховые чехлы. И я понял тогда, что вся моя глупая жизнь — прошлая, настоящая и будущая — не стоит одного-единственного свободного глотка воздуха. Манжеты немного ослабили нажим, видимо, чтобы удобнее перехватить мое горло.

— А-а... — захрипел я.

И тут из нежного меха, как из кошачьей лапы, выдвинулись и впились в мое горло острые холодные когти, я даже ощутил, как они сомкнулись там, внутри моей гортани — сомкнулись с хрустом...

«Боже, какой дурацкий сон!» — подумал я, очнувшись. В горле першило — шампанское вчера было холодное. Глаза резало от похмельного неспросыпа, а в том месте, где у непьющих находится желчный пузырь, у меня сидел тупой деревянный гвоздь. Во рту была гадкая скрежещущая сухость. Но тело, тело мое переполнялось томительно-счастливой ломотой.

Проснулся я в номере Аллы. Сама она лежала на соседней кровати, и в промежутке между подушкой и одеялом виднелись ее золотистые пряди, наверное, все-таки подкрашенные, потому что у корней волосы были темные. Выходило, что сам я расположился в Пейзанкиной койке, и действительно от наволочки доносился запах ее незатейливых духов, типа «Быть может...». Меня чуть замутило...

В окне светлело утро и, судя по неуловимым солнечным приметам, не такое уж раннее. Я пошарил на полу рядом с кроватью: почему-то запомнилось, что часы были последним из всего, что я сорвал с себя вчера вечером. На циферблате значилось: 9.18...

— Дубленка! — похолодел я и понял вещей смысл страшного сна.

Зубная паста показалась мне унизительно-мятной, а вода ядовито-мокрой. От рубашки несло кислым табачищем, а пиджак и брюки (одевался я почему-то именно в таком порядке) пестрели пятнами и подтеками. «Погуляли!» — думал я, причисываясь перед зеркалом и разглядывая бледнолицее, воспаленноглазое существо, лишь отдаленно напоминающее программиста ВЦ «Алгоритм» Константина Гуманкова. Горько разочарованный в своей наружности, я тихо, чтобы не разбудить Аллу, направился к двери.

— Костя, подожди!

Я оглянулся: она сидела в кровати, трогательно придерживая одеяло у груди. И хотя, конечно, после-праздничное утро не украшало ее, я тем не менее вместо обычного постфактумного унылого раздражения почувствовал радость и нежность.

— Подожди! — повторила она, по-детски кулачка-



ми протирая глаза. — Я с тобой! Я сейчас встану...

— Не нужно, спи! — ответил я, хотя мне томительно хотелось увидеть, как она поднимется и встанет передо мной, потому что ночью, обладая ее наготой, я так и не увидел этой наготы.

— Не нужно... — повторил я.

— Хорошо, — сказала она. — Только не перепутай: станция Кадэ...

— Не перепутаю...

— Возвращайся скорее...

— Да!

— Ты еще не разучился? — улыбнулась она, имея, конечно, в виду то, как вчера, смеясь и дурачась, учила меня целоваться, а потом вдруг заплакала...

— Нет...

— Тебе было хорошо?

— Да...

Да, мне было хорошо, очень хорошо, хорошо, как никогда раньше, и по коридору я шел, словно окутанный нежным коконом из ее запаха, слов, поцелуев, вздохов, движений, прикосновений, недомолвок... Я даже не шел, а парил внутри этого сводящего с ума кокона.

На коврике возле номера Пипы Суринамской дремал Гегемон Толя. Развязанный галстук лежал рядом с ним, как ручная кобра.

— Сколько времени? — спросил он, открывая глаза на мои шаги.

— Время детское, — посоветовал я. — Спи!

— Да вроде выпался...

— Не пустила? — посочувствовал я.

— Не-е...

— Чем мотивировала?

— Сказала, по калибру не подхожу, — не очень огорченно признался Гегемон Толя.

Мой легкий невидимый кокон, легко прыгая со ступеньки на ступеньку, влек меня вниз, в холл и дальше — к стеклянным дверям.

— Мсье Хуманкофф!

Я заставил мой кокон-самолет сделать изящный вираж и увидел, как улыбчивый клерк, выйдя из-за конторки, протягивает мне листочек бумаги с какими-то отпечатанными принтером цифрами. Моего троглодитского знания иностранных языков все-таки хватило, чтобы понять: в руках у меня счет за вчерашнее шампанское. А колонка цифр, как подсказал мне мой задрожавший внутренний голос, складывается из непосредственной стоимости «Вдовы Клико», услуг вызванного в номер элегантного официанта, ночной наценки и так далее... Я знал вчера, на что шел, и был готов ко всему, кроме итоговой суммы — 298 франков... Мой сладостный кокон внезапно растаял, словно произошла разгерметизация скафандра, и я оцепенел в ледяном космосе безжалостной действительности. А клерк смотрел на меня с таким доверчивым добродушием, что я молча вынул три заветные «делакруа» и протянул их по возможности небрежно. Клерк поблагодарил, вернулся за конторку, прострекотал на компьютере и отдал мне сдачу — две никелированные монетки с женской фигуркой, разбрасывающей цветы свободы... «Свобода приходит наяга...»

Медленно шагая по улице, я думал о том, что если мстительная супруга моя Вера Геннадиевна узнает, как пошло пропил я ее дубленку, она просто медленно сживет меня со свету, но даже если она не узнает этого, то все равно возвращение с пустыми руками повлечет за собой длительную полосу внутрисемейного террора. Ну и пусть! Уйду в подполье, почаще и подольше буду стоять в «Рыгалето», в крайнем случае поживу у кого-нибудь из холостых сослуживцев. Или уйду совсем! Нет, серьезно — уйду и все!

— Свобода приходит наяга, — сказал я довольно громко.

Француз, аккуратной швабровкой мывший тротуар возле своего магазинчика, посмотрел на меня с удивлением. «А почему, собственно, свобода — это женщина, разбрасывающая цветы? Свобода — это мужчина со шваброй в руке!» — подумал я и почувствовал, как вокруг меня снова начинается мой нежный кокон.

В супермаркете, том самом, куда нас возили в первый день, было малоллюдно. Я решительно приблизился к прилавку с бижутерией и, ткнув пальцем в заколку-махаон, сказал продавщице только одно слово:

— Это!

## XIX.

Когда я воротился в отель, все уже знали о постигшем меня финансовом крушении.

— Мужики, надо сброситься! — призвал Гегемон Толя и отдал мне десять франков, полученные вчера от Поэта-метеориста (на них я в баре купил жевательную резинку для Вики).

Но денег больше ни у кого не было, если не считать горстки сантимов, оставшихся у товарища Бурова в общественно-представительской кассе.

— Возьми с собой пустые бутылки из-под «Клико», — посоветовал Спецкор. — Предъявишь жене в качестве финансового отчета о проделанной работе!

— Пошел ты... — поблагодарил я его за мудрый совет.

Приполз виноватый Поэт-метеорист — любитель шампанского.

— Прости, Костик! — взмолился он. — Хочешь, я тебе Машкину карденятину отдам?

— Не хочу.

— Тогда поправься! — предложил он и вынул из кармана куртки стакан для полоскания зубов, почти до краев наполненный красным вином.

Следом вломилась Пипа Суринамская, она принесла мне две пары женских трусиков:

— Жене отдашь! Скажешь, купил!

— Спасибо, но...

— Не бойся, они безразмерные...

Торгонавт подарил мне пару новых кожаных перчаток чешского производства и убеждал при этом, будто их тоже можно при желании выдать за купленные в Париже, мол, импорт! Друг Народов вручил мне большой фотоальбом «Париж-84», который ему, оказывается, подарили в коммунистической мэрии.

— Мне-то ни к чему, — пояснил замрукспецтургруппы.

Заглянул с соболезнаваниями Диаматыч, но в глазах его светилось восхищение моими конспиративными способностями и уверенностью, что валюту я выложил, разумеется, казенную.

...От наших вещей, сваленных посреди холла, веяло чем-то таборно-эвакуационным. Кстати, неожиданно по объему багажа Пипа Суринамская была оттеснена на второе место, а первое занял Торгонавт, все таскавший и таскавший из своего номера бесчисленные сумки и коробки. Попрощались с мадам Лану, подарив ей на память какую-то цыганскую — всю в розах — шаль и плюшевого медвежонка.

Когда уже автобус вез нас в аэропорт, Алла сжала мою руку и тихо сказала:

— Костя, это очень плохо!

— А может быть, наоборот, хорошо? — пожал плечами я.

В аэропорту было все так же, как в день нашего прилета: разноцветные, разноязыкие люди, тележки, груженные чемоданами и яркими дорожными сумками, стройные и плавные стюардессы, уверенно шагающие сквозь толпу суетящегося перелетного люда. Мы зарегистрировали билеты, и наш багаж канул в чрево



аэропорта. Друг Народов пересчитал делегацию по головам, доложил еще не оправившемуся после вчерашнего товарищу Бурову, и тот строго, но с трудом приказал:

— Никуда не отлучаться. Скоро пойдем на паспортный контроль!

— А в сортир? — возмутился Поэт-метеорист.

— Побереги для советской власти! — посоветовал я.

— Никаких прав человека! — заругался Поэт-метеорист так громко, что на него стали оборачиваться.

— Давай я с ним схожу, — предложил Друг Народов. — А то опозорит всю группу прямо здесь...

— Ладно, — смилостивился товарищ Буров.

Мы ждали. Мимо неторопливо и самоуверенно прошли два полицейских с короткими двуручными автоматами. Потом девушка в темно-синей форме прокатила мимо нас инвалидную коляску с пожилой женщиной, евшей мороженое. Какой-то мужичок, судя по шляпе и плащу, наш соотечественник, протаскивал коробку с видеомagneтофоном, и вся группа, кроме товарища Бурова, одновременно завистливо вздохнула. Вернулся Поэт-метеорист. На его лице было написано такое счастье, какого не может дать удовлетворение даже самой настоящей физиологической потребности.

— Хлебнул-таки! — догадалась Пейзанка.

— А то!

— А где конвойный! — спросил Спецкор.

— Пропил! — засмеялся Поэт-лауреат.

— А серьезно?

— Не знаю... Он сказал, что у него большие планы, и заперся в кабинке.

— Нашел время... — пробурчал товарищ Буров.

На огромном электронном табло напротив номера нашего рейса запрыгали два зеленых огонька. Затем слово «Москва» я разобрал в гулкой тарабарщине радиодиктора, объявлявшего о посадке в самолеты.

— Пошли на паспортный контроль! — распорядился товарищ Буров.

— А этот? — спросил Спецкор.

— Куда он денется?

Пограничник заглянул в мой молоткастый и серпастый, поставил штамп и сказал: «Привет!» Постепенно вся группа прошла контроль и столпилась в ожидании товарища Бурова и Спецкора, которые не торопились покидать зарубежье.

— А может быть, все-таки заблудился? — жалобно предполагал совершенно скисший рукспецтургруппы.

— Вряд ли... — с необычной серьезностью отвечал Спецкор. — Опытная тварь...

— Но почему? Он же мог и раньше?

— В половине случаев уходят именно в последний момент... Психология... И расчет: труднее задержат...

— Вот сука! — налился кровью товарищ Буров.

— Лучше подумайте, как по начальству докладывать будем! Если тихо ушел — хрен с ним, а если начнет, сволочь, заявления делать?

— Но ведь проверяли же! И у вас тоже проверяли!

— Совершенно точно можно проверить на триппер, а на это совершенно точно не проверишь! Ладно, я остаюсь, может, еще удастся что-нибудь сделать...

Поймав на себе мой изумленный взгляд, Спецкор пожал плечами, что, видимо, означало: «Вот такие, сосед, у нас с тобой дела!»

Из-за отсутствия двух зарегистрированных пассажиров наш рейс задержали, и сквозь иллюминатор я видел, как на тележке повезли клетчатый чемодан Друга Народов, большую спортивную сумку и лыжи Спецкора.

Когда мы, наконец, взлетели и погасло табло «при-

стегните ремни», я достал бумажный пакетик с заколкой и протянул Алле.

— Зачем? — спросила она.

— Знаешь, в племени чу-му-мри засушенных махаонов дарят, когда признаются в любви и предлагают поселиться в одном бунгало...

— Ты смеешься?

— Нет, я серьезно...

— Ты смеешься: нет такого племени — чу-му-мри...

— Есть. Я покажу энциклопедию...

— Ладно, — кивнула Алла. — Допустим, есть... Допустим, мы будем жить в одном бунгало... Как ты себе это представляешь?

— Очень просто. Я буду охотиться на львов. Твой сын будет мне помогать, и мы подружмся. Я заработаю кучу ракушек с дырками — это у них деньги такие. Куплю тебе платье из павлиньих перьев. Потом родится девочка, такая же красивая и нежная, как ты... Мы будем качать ее в люльке, вырезанной из панциря гигантской черепахи...

— А жираф будет бродить возле озера? — улыбнулась Алла.

— Будет!

— Изысканный?

— Изошренный!

— Костя, ты прелесть! А если к нам в бунгало придет обиженный сильный человек и захочет увести меня с собой?

— По закону племени чу-му-мри я проткну его отравленным дротиком.

— А если придет плачущая женщина с девочкой, очень похожей на тебя?

— Плачущая?

— Да, плачущая женщина!

— Я постараюсь им все объяснить... По крайней мере девочке, похожей на меня...

— Это трудно!

— Не трудней, чем охотиться на львов...

— Труднее! — тихо сказала Алла и закрыла глаза. — Хочу спать...

Я выглянул в иллюминатор: внизу расстилалась облачная равнина, похожая на снежное поле. Казалось, вот-вот появится цепочка лыжников. И она появилась — три черные точки, двигавшиеся одна за другой...

— Истребители! Во-он! Смотрите! — радостно закричала Пейзанка. — Значит, он не врал!

— Такие люди не врут! — громко отметил Диаматич и мигнул мне, давая понять, что я поступил совершенно правильно, оставив своего подчиненного для розыска соскочившего Друга Народов.

...Первое, что я увидел, выйдя из самолета, — дежурная улыбка аэрофлотовской девицы и настороженный взгляд прапорщика с рацией. Потом мальчишка-пограничник в будочке долго листал мой паспорт, внимательно вглядываясь в мое лицо и несколько раз спрашивал меня, откуда я прилетел. Это такая у них инструкция, если вместо коренного советского гражданина спецслужбы попытаются втюхать шпиона, говорящего по-русски с чудовищным акцентом. Но все обошлось благополучно — и на родину меня пустили...

Потом мы терпеливо ждали, когда появится наш багаж. И это, наконец, случилось. У Пипиноного чемодана-динозавра отломился замок, и наружу вылезла разноцветная тряпучная трябуха. Гегемон Толя вздохнул и взвалил лопнувшее чудовище на себя... Я взял два чемодана — свой и Аллы. Она шла рядом и несла сверток с дубленкой.

Таможенный досмотр прошли беспрепятственно все, кроме Торгонавта, катившего впереди себя перегруженную до неприличия тележку... Поддельный



перстень был разгадан, и нашего спутника под белы ручки увели для составления протокола. Он горячился, объяснял, что обменялся с одним крупным французским политическим деятелем, участником Сопротивления исключительно в целях укрепления дружбы между народами, но все было напрасно...

— Кто руководитель группы? — строго спросил та-муженник.

— Я... — неуверенно ответил товарищ Буров.

— Безобразие!

В Шереметьевском аэропорту специализированную туристическую группу встречали... К товарищу Бурову подошел некто в номенклатурном финском пальто и, холодно поприветствовав, увел нашего убитого горем руководителя к поджидавшей черной «Волге». У самой двери, словно уводимый на казнь, он оглянулся, как бы желая крикнуть: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны за границей!»

Пипу Суринамскую ожидал генерал в сопровождении все тех же адъютанта и шофера. И по тому, с каким курсантским нетерпением он оглядывал всю свою вернувшуюся боевую подругу, я вдруг понял: они, что там ни говори, счастливая пара...

— Ну, как ты тут без меня? — нежно спросила Пипа.

— Как штык! — ответил генерал.

Они уехали, увозя с собой чемодан-динозавр и сроднившегося с ним Гегемона Толю. Диаматыч в ожидании дальнейших инструкций шел со мной рядом до тех пор, пока я не шепнул ему, что временно он нам не нужен, его задача натурализоваться и ждать связного.

Аллу поджидал Пековский с клумбоподобным букетом белых роз. Рядом с ним стоял остролицый щуплый мальчик, который, едва завидев Аллу, бросился ей на шею с криком «мама».

Пековский внимательно оглядел нас и все понял. Он церемонно поцеловал Аллу в щеку, дружески хлопнул меня по плечу и безжалостно выдал из моей руки ее чемодан.

— Разуй глаза! — жестоко улыбнулся он.

Невдалеке, теребя в руках сумочку, стояла соскучившаяся супруга моя Вера Геннадиевна. За дни разлуки она довольно удачно высветлила и остригла волосы. Но особенно удивил меня ее взгляд, полный трепетного ожидания и счастливой надежды. Взгляд этот завороченно метался в магическом треугольнике, вершинами которого были:

- а) я с чемоданом,
- в) Пековский с мальчиком,
- с) Алла со свертком.

— А Константин Григорьевич меня опекал! — вдруг голосом капризной девочки сообщила Алла. — Он настоящий товарищ!

— Это я понял! — кивнул Пековский и одарил меня таким выражением лица, которое означало: теперь он не придет даже на мои похороны.

— А какую замечательную дубленку Костя купил жене! — продолжала Алла все тем же кукольным голосом. — Костя, не забудьте дубленку!

Пековский взял сверток и нацепил его на пуговицу моего плаща. Взгляд Веры Геннадиевны внезапно остановился и зафиксировался на свертке.

— Я помогала выбирать! — с глупой гордостью объявила Алла. — Я тоже хотела купить...

— Ну, и купила бы! — сказал Пековский.

— Да ну! Я все деньги на шампанское потратила!..

— Вот умица! — засмеялся Пековский и обнял Аллу.

Мальчик смотрел на них с недетским удовлетворением, точно до последней минуты боялся, что мама оттолкнет этого сильного белого человека, с которым он подружился и который учит его охотиться на львов...

Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать о Париже и моей парижской любви... С тех пор прошло несколько лет. Началось, идет и, видимо, уже никогда не кончится то, что мы самонадеянно именуем Перестройкой. Конечно, специально я не интересовался дальнейшими судьбами членов нашей спецгруппы, но так или иначе хоть что-нибудь знаю про каждого...

Во время последнего военного парада генерал Суринамский стоял на Мавзолее, из чего я сделал вывод, что у них с Пипой все хорошо и даже отлично.

Забавная, но в духе времени, история приключилась с Гегемоном Толей: он все-таки урыл того, кого собирался. Им оказался председатель завкома, часто выезжавший за границу, а по возвращении страшивший рабочий класс ужасами дикого Запада. Толья зашел к нему в кабинет якобы по личному вопросу и молча дал в глаз. Разумеется, Гегемона строго наказали, сняли с Доски почета, чуть не засудили, а немного позже, когда начались забастовки, Толью как борца с режимом избрали председателем стачечного комитета, еще кем-то и еще кем-то... Короче, теперь на Урале он большой человек вроде Валенсы в Польше...

Поэт-метеорист и Пейзанка, поженившись, уехали жить в колхозную местность, где Сварщикова пришлось серьезно поработать над собой, чтобы не ударить лицом в грязь перед Машенькиной родней — отцом, старшим братом и крестным. Недавно я услышал, что Поэт-метеорист стал последователем Уолта Уитмена в смысле сочетания творческого и фермерского труда.

Торгонавт выпутался-таки из истории с перстнем, хотя ему пришлось одеть в новые перчатки всю шереметьевскую таможену. Говорят, сейчас он председатель кооператива, продающего за рубеж молодой московский авангард.

Друг Народов, как и боялись, вскоре после своего исчезновения объявился на радио «Свобода» и выступил с жуткими разоблачениями. Конечно, все, о чем он рассказывал, мы отлично знали и сами, но услышать это из-за бугра да еще от знакомого человека было приятно. А недавно уже в качестве заезжего фирмача он выступал по нашему телевидению и небрежно советовал нам, как выкарабкаться из кризиса. За годы, проведенные в бегах, он посолднел, явно себя зауважал и вставил ровные, белые зубы.

Спецкора я однажды встретил на улице, он сделал вид, что абсолютно не знает меня и никогда не спал со мной в одной кровати. Но я не обиделся: такая у него работа.

А вот о Диаматыче я слышу постоянно: он теперь знаменитый публицист и депутат. В своей нашумевшей статье «Сумерки вождей» он, между прочим, утверждает, что если бы в застенках НКВД все твердо говорили «нет», то сталинизм рухнул бы сам собой... Интересно, ждет он моего связного или уже перестал?

Товарища Бурова за всю эту историю поперли с партийной работы. Он страшно переживал, запил, разошелся с женой и даже однажды забрел к нам в «Рыгалето». Мы с ним выпили пивка с водочкой, вспомнили Париж, наше соперничество из-за Аллы, погоревали над его загубленной карьерой... Но жизнь непредсказуема: недавно товарища Бурова признали жертвой застоя, честным аппаратчиком, пострадавшим от партократии, и назначили на хорошую должность в Моссовет.

Пековский стал директором нашего «Алгоритма». Его выбрали на альтернативной основе, предпочтя правдолюбцу Букину. Почему? Ну, во-первых, ему пошло на пользу то великодушие, с которым он



помогал мне поехать в Париж. Во-вторых, Пека вовремя развелся с дочкой бывшего зампреда и даже выступил на собрании с разоблачениями этой коррумпированной семейки. В-третьих, нашим вычислительным дамам нравятся дорогие одеколоны Пековского.

Алла вышла за него замуж и родила девочку, такую же, говорят, красивую и нежную, как она сама. И еще, говорят, Пековский часто со смехом рассказывает, как его жена, будучи в Париже, вместо того чтобы купить дубленку, все деньги потратила на «Вдову Клико». Кстати, Алла ушла со службы, воспитывает детей, и я даже не знаю, как она теперь выглядит. Только однажды мне удалось рассмотреть сквозь затемненные стекла черной директорской «Волги» какой-то смутный женский силуэт. Но вполне возможно, это была и не Алла, а очередная одинокая дама, пользующаяся бескорыстной гормональной поддержкой Пековского.

А я по-прежнему работаю в «Алгоритме», в той же должности, но с надбавкой. Поначалу мне, правда, передавали предложения директора, чтобы я поискал себе новое место. Но рядом с «Рыгалето» программистских контор больше нет, а менять привычки и привязанности почти в сорокалетнем возрасте нелепо.

Постепенно Пека смирился с моим присутствием и даже стал поручать мне ответственные задачи. Сейчас, например, мастерю систему, которая будет просчитывать коэффициент устойчивости правительства. Условное название — «Хас-Булат».

После моего возвращения из Парижа Вера Геннадиевна стала относиться ко мне бережливее и даже решила, что в случае чего можно завести и второго ребенка. А вот долгожданную дубленку носить она не захотела, сказала, что жмет в проймах, и продала своей сплетнице-подружке. Что еще? Вике постоянно звонят разные сопливые ухажеры, к телефону не пробьешься, из-за этого она в постоянных конфликтах с матерью, и та в отместку не разрешает ей пользоваться своей косметикой. Тараканов я все-таки повывел: подобрал замечательную отраву из восьми ингредиентов. Наша квартира теперь, наверное, в их тараканьей картине мира называется «Страна погибших братьев» или еще как-нибудь в этом роде. Кстати, недавно я прочитал, что парижские отели страдают от невиданного нашествия «прусаков». Может, организовать СП и заработать валюту? По этому поводу надо выпить еще! Моя кружка вмещает две порции. А ваша?..

---

**РЕКЛАМА в «ЮНОСТИ»**

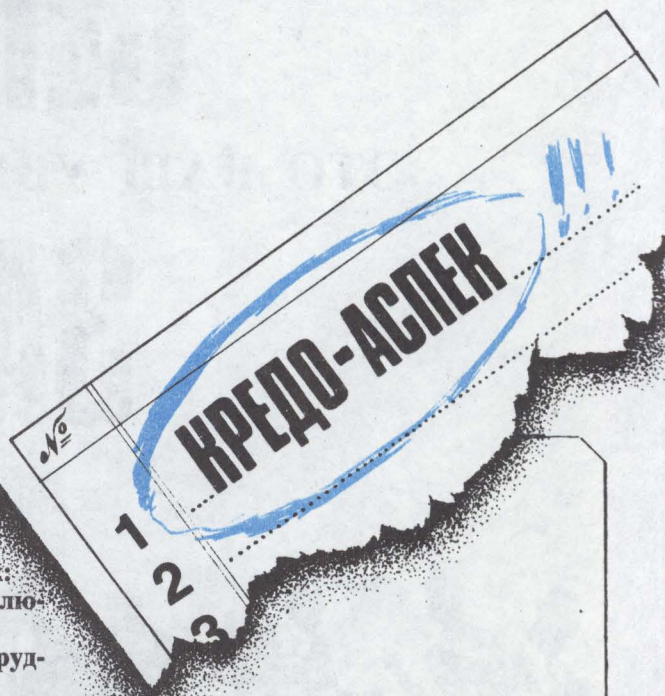
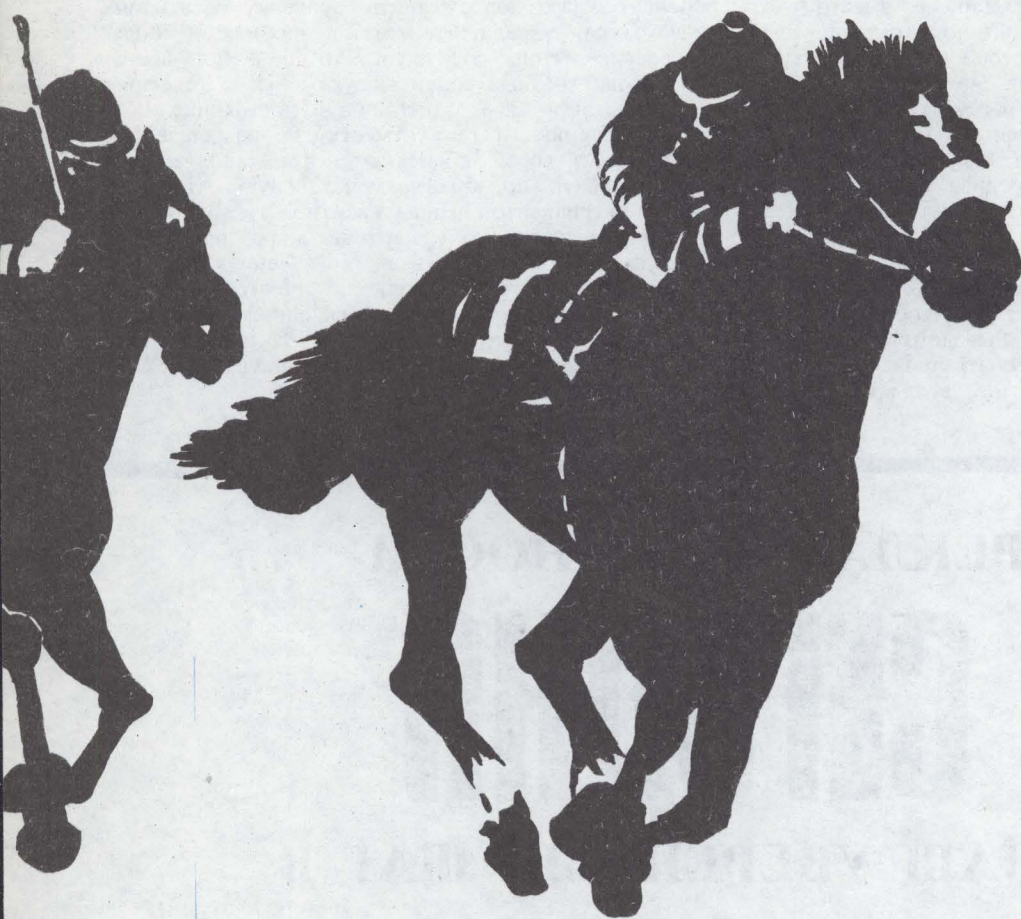
**СЕГОДНЯ**  
**ЭТО ВАШ УВЕРЕННЫЙ ШАГ В**  
**ЗАВТРА**



**тел. (095) 251-14-21**



# ВСЕГДА ЛИДЕР.



**коммерческое представительство  
КРЕДО-АСПЕК  
СП АСПЕК (СССР — ИСПАНИЯ)**

предлагает вам на льготных взаимовыгодных условиях:

- новейшие фильмы — советские и зарубежные — на любой вкус с гарантией их прокатного успеха
- все виды кинорекламы и оптимальные варианты сотрудничества

**СТАВЬТЕ на КРЕДО-АСПЕК, и ВАС ЖДЕТ УСПЕХ!**



121883, Москва, пр-т Калинина, 19

Тел. 291-72-69, 291-73-70





Эрик  
АМБЛЕР

## МАСКА ДИМИТРИОСА

Роман

— Так вот какова роль Димитриоса!

— О, нет! Я так не считаю. Это тот, кто подталкивает Фортуна, большой человек, знакомый со всеми видными людьми, очень вежливый человек, у него дети, дом, красавица жена, солидный капитал в самых надежных банках. Правда, ему приходится иногда отлучаться в командировки, о которых друзья предпочитают не расспрашивать. На дипломатических приемах он появляется во фраке с иностранными орденами. Но этот человек знаком также и с такими людьми, как Димитриос, с теми, кто готов пойти на уголовное преступление, со всякими отбросами общества. Этот уважаемый человек утверждает, что он вне политики, и это так, потому что его политика — это интересы чистогана. Он убежден, что вызывает всегда сильнейший, а слабый должен умереть, так и не став сильным, что закон джунглей управляет отношениями людей в обществе. Вот его евангельские заповеди. Таких людей пруд пруди, они есть в каждом городе, потому что без них большой бизнес не может существовать. И хотя большой бизнес пользуется чернилами для своих операций, вся его история написана кровью, кровью людей!

Последние слова он произнес, ударив кулаком по столу. Латимер, как и почти все англичане, очень не любил риторику и резкие жесты и от смущения не знал, куда деться.

— Вы говорили удивительно красноречиво, — заметил он. — Вам не кажется, что вы немного преувеличиваете?

Марукакис сначала вытаращил на него глаза, потом улыбнулся.

— Конечно, преувеличиваю. Но приятно иногда поговорить в таком обличительном тоне, если всю жизнь говоришь обиняками. Кстати, я не так уж сильно преувеличиваю. Можете мне поверить, такие люди и здесь имеются. Один из них был членом совета директоров Евразийского кредитного треста. Звали его Антон Вазов.

— Вазов!

Грек довольно рассмеялся.

— Хотел сделать вам сюрприз, но так и быть — пользуйтесь моей добротой. Я просмотрел старые отчеты и узнал, что Евразийский кредитный трест был зарегистрирован в Монако лишь в 1926 году. А до этого момента он выпускал отчеты о своей финансовой деятельности. Моя задача состояла в том, чтобы найти их.

— Но ведь это страшно важно. Неужели вы не понимаете...

Марукакис перебил его, подозвал официанта и рассчитался за ужин.

«La Vierge St. Marie» находился на улице, идущей от церкви Света неделя. Латимер, конечно, не мог не подивиться этому странному соседству. Улица была узкой, довольно крутой и практически неосвещенной. Ему сначала показалось, что улица спит, но тишину изредка нарушали то звуки музыки, то смех, когда кто-нибудь выходил из дома. Они встретили двух мужчин, куривших сигареты. Кто-то шел за ними следом, потом хлопнула дверь, и шаги затихли.

— Посетителей пока мало, — заметил Марукакис, — рано еще.

Большинство дверей были стеклянными. На стекле крупными цифрами был выведен номер дома, но гораздо чаще было что-нибудь написано: «Вундербар», «О-кей», «Джими-бар», «Стамбул», «Торквемада», «Витоша», «Le Viol de Lucresse» и, наконец, на вершине холма «La Vierge St. Marie». Они на секунду задержались у двери. Дверь была обшарпанная, и Латимер почему-то проверил, где у него бумажник. Марукакис толкнул дверь, и они вошли.

Узкий коридор, стены которого выкрашены красной темперой, был застлан ковром. Где-то вдали играл оркестр с солирующим аккордеоном. В конце коридора — небольшой гардероб. На вешалках висело несколько плащей и шляп. Видимо, услышав шаги, за барьером появился бледный человек в белой куртке, приветствовавший их: «Добрый вечер, месье». Взяв у них плащи и шляпы, он широким жестом указал направо, откуда доносилась музыка. Над спускающейся вниз лестницей сияла надпись: «Бар — Дансинг — Кабаре».

Они оказались в довольно большой комнате с низким потолком. Две девушки, вероятно, танцовщицы из кабаре, кружились под музыку.

— Еще рано, — опять сказал Марукакис, словно это его не устраивало, — но скоро здесь будет веселее.

К ним подошел официант, провел к одной из кабинок и через минуту поставил на стол бутылку шампанского.

— Вам денег не жалко? — спросил Марукакис. — Между прочим, это пойло стоит двести левов.

Латимер не возражал: в конце концов двести левов составляли только полфунта. Оркестр вдруг замолчал, и девушки остановились. Они подошли к кабинке, где сидели Латимер и Марукакис. Одна из них пристально посмотрела на Латимера. Тогда Марукакис что-то сказал, и они, пожав плечами, улыбнулись и ушли. Марукакис, точно чего-то не понимая, посмотрел на Латимера.

— Я сказал, что нам надо обсудить кое-какие дела и если мы захотим развлечься, то пригласим их позже. Конечно, если вы не хотите с ними связываться...

Рисунок  
Петра Караченцова

Продолжение. Начало см. в № 7 за 1991 год.



— Нет, не хочу, — сказал Латимер твердо и, отхлебнув шампанского, вдруг понял, что ни за что на свете не станет пить эту гадость.

— Ничего не поделаешь, — вздохнул Марукакис, — пей не пей, а платить придется.

— А где госпожа Превеза?

— Думаю, появится с минуты на минуту.

Он посмотрел куда-то вверх, на потолок.

— Конечно, мы могли бы и сами к ней подняться. Хочу обратить ваше внимание, как тут все хорошо устроено: нет ничего ни скандального, ни вызывающего.

— Раз она должна вот-вот спуститься, мы можем и здесь подождать, — сказал Латимер, чувствуя, что говорит банальность, как школьный учитель. Ему вдруг очень захотелось выпить настоящего шампанского.

— Совершенно верно, — буркнул Марукакис.

Однако прошло целых полчаса, прежде чем хозяйка «La Vierge St. Marie» появилась. За это время зал действительно оживился. Пришло еще несколько человек — в основном это были мужчины, но были среди них и две-три очень странно выглядевшие женщины. Появился явный сутенер. Трезвый как стеклышко, он привел с собой двух не вяжущих лыка немцев — вероятно, каких-нибудь пустившихся в загул коммерсантов. Появились два почему-то вызвавшие ужасную неприязнь молодых человека. Все до одной кабинки были заняты, заняты были и стоящие в зале столики, за которыми сгрудились облившиеся потом, тесно прижавшиеся друг к другу пары.

В зале появились танцовщицы из кабаре, сильно накрашенные. Танцующие пары расступились, дав им место. Следом за девицами в круге появился юноша, одетый в женское платье, и спел песенку на немецком языке. Девушки исчезли вместе с ним, потом появились вновь, переменяв наряд. В зале стало душно и жарко, как перед грозой.

Латимер ясно увидел, как один из этих ужасных юношей давал понюхать другому щепотку какого-то порошка. От жары и духоты его начала мучить жажда, и он уже всерьез подумывал, не выпить ли шампанского, как вдруг Марукакис дернул его за рукав.

— Должно быть, Превеза, — сказал он.

Это была полная, но все еще стройная женщина с красным лицом. Несмотря на дорогое платье, видимо, только сегодня завитые парикмахером черные, густые волосы, помаду и румяна, она производила впечатление неряхи. Так, во всяком случае, показалося Латимеру. Правда, рисунок губ был хорош, и улыбка была доброй и симпатичной, но во взгляде больших черных глаз было что-то сонное и завораживающее. И Латимер представил себе комнату в отеле, неуклюжее позолоченные кресла с разбросанной на них одеждой, серый свет утра сквозь опущенные жалюзи, тяжелый запах розового масла, ровное дыхание спящей женщины и мерное тиканье будильника. Но, видя как она идет к бару, приветливо улыбаясь и кивая знакомым, одновременно внимательно и строго наблюдая за всем происходящим, Латимер сделал себе выговор за игру воображения.

Марукакис подозвал официанта и что-то сказал ему. Лавируя между танцующим, тот подошел к мадам и зашептал ей что-то на ухо, показав глазами на Латимера и Марукакиса. Мадам, повернувшись, посмотрела в их сторону и, что-то сказав официанту, продолжила разговор.

— Она обещала прийти, — сказал Марукакис, выслушав официанта.

Она обошла весь зал, снисходительно улыбаясь и иногда кивая головой. Наконец она приблизилась к их столику. Неожиданно для самого себя Латимер вдруг встал. Мадам пристально смотрела ему в лицо.

— Вы желали говорить со мной, месье? — Голос у нее был грубый и немного сиплый, с ярко выраженным акцентом.

— Мы были бы счастливы, если бы вы оказали нам честь и посидели с нами, — сказал Марукакис.

— Хорошо, — сказала она и села рядом. Тотчас к столику подлетел официант, но она взмахом руки прогнала его и повернулась к Латимеру: — Я вас раньше не видела, месье. Вашего друга я уже встречала, но не в своем заведении. — Бросив косой взгляд на Марукакиса, она продолжила: — А вы, месье, собираетесь писать обо мне в парижской газете? Тогда вам с другом надо будет обязательно досмотреть представление до конца.

— Нет, мадам, — улыбнулся Марукакис. — Мы воспользовались вашим гостеприимством, чтобы получить кое-какую информацию.

— Информацию? — Она, кажется, немного смутилась. — Я не знаю ничего такого, что может вас заинтересовать.

— Всем хорошо известна ваша осторожность, мадам. Но речь идет о человеке, который давно в могиле. Вы были знакомы с ним лет пятнадцать назад.

Она захохотала, остановилась и вдруг захохотала снова — громко, вызываясь, сотрясаясь всем телом. Вместе с этими хриплыми звуками исчезло и то самодовольство, которое она напускала на себя, и, когда она под конец закашлялась, сразу постарела лет на десять.

— Не ожидала я от вас такого комплимента, месье, — вздохнув, сказала она. — Подумать только, пятнадцать лет! И вы надеетесь, что я его вспомню? Святая Дева Мария, придется вам поставить мне выпивку.

Латимер подозвал официанта.

— Что будете пить, мадам?

— Шампанское. Только не эту дрянь. Официант знает. Подумать только, пятнадцать лет! — Она все еще никак не могла успокоиться.

— Мы, разумеется, не очень надеялись на вашу память, — невозмутимо сказал Марукакис, — но, может быть, имя этого человека что-нибудь значит для вас. Его звали Димитриос... Димитриос Макропулос.

Она сунула в рот сигарету, чиркнула спичкой, но так и не смогла прикурить. Глядя на кончик сигареты, о чем-то сосредоточенно размышляла. Спичка продолжала гореть, едва не обжигая пальцы. Латимеру показалось, что вокруг образовалась зона молчания, вдруг заложило уши. Мадам разжала пальцы и уронила спичку на тарелку. Все так же смотря на кончик сигареты, она тихо сказала:

— Вам здесь не место. Уходите отсюда... оба!

— Но...

— Уходите, — сказала она тихим голосом, даже не повернув головы.

Марукакис посмотрел на Латимера и, пожав плечами, встал из-за стола. Следом за ним встал и Латимер. Она подняла на них глаза, сказала, как отрезала:

— Сядьте. Мне не нужны здесь сцены.

Они сели.

— Надеюсь, вы объясните мне, мадам, — сказал Марукакис с издевкой, — как мы можем уйти, не вставая с места, — я был бы вам очень признателен.

Она с такой быстротой схватила стоящий на столе бокал, что Латимер подумал: «Сейчас она бросит его в лицо Марукакису». Но пальцы тотчас разжались, и она что-то быстро сказала по-гречески, чего Латимер не разобрал.

— Нет, — сказал Марукакис, отрицательно качнув головой, — он не из полиции. Он писатель, пишет книги, и ему нужна информация.

— Зачем?

— Простое любопытство. Два месяца назад он видел труп Димитриоса в Стамбуле и вот решил разузнать о нем.

Она вдруг повернулась к Латимеру и, протянув руку,цепилась ему в рукав.

— Это правда, что он мертв? Вы точно знаете? Вы видели его труп?

Латимер молча кивнул.

— Его убили ударом ножа в живот, а потом бросили в море. — Ему хотелось добавить что-нибудь теплое: жизнь есть жизнь, а вдруг она его любила, сейчас, наверное, слезы польются.

Но слез не было.

— Деньги при нем были? — только и спросила она.

Латимер медленно повел головой.

— Merde! — сказала она злобно. — Этот верблужий выкидыш задолжал мне тысячу франков. И теперь я их уже никогда не увижу. Salut! Убирайтесь вон, а не то я прикажу вас вышвырнуть отсюда!

Марукакис проводил Латимера до отеля. Они немного задержались у дверей. Ночь была холодная.

— Ну, я, пожалуй, пойду, — сказал Латимер.

— Завтра уже уезжаете?

— Да. Еду в Белград.

— Значит, вам все еще не надоел Димитриос.

— О, нет. — Латимер заволновался, ему очень хотелось сказать Марукакису какие-нибудь теплые слова. — Не могу сказать, как я вам благодарен. Боюсь, что я отнял у вас много драгоценного времени.

Марукакис рассмеялся и, недоуменно пожав плечами, сказал:



— Я вот смеюсь, а сам завидую вам. Если вам удастся разузнать что-нибудь в Белграде, напишите мне. Хорошо?

— Конечно, напишу.

Еще раз поблагодарив Марукаписа, Латимер тепло пожал ему руку и вошел в вестибюль отеля. Его номер находился на втором этаже. Взяв у портье ключ, поднялся по лестнице. В коридоре лежал толстый ковер, глушивший шаги. Он вставил ключ в замочную скважину и, повернув его, открыл дверь.

Его смутило то, что в номере горел свет, и он решил, что попал в чужой номер. И тотчас понял: нет, это его номер, но в нем почему-то царил полнейший хаос.

Содержимое чемоданов было вытряхнуто прямо на пол. Простыни и пододеяльник валялись на кресле. На матрасе лежали привезенные из Африки книги с оторванными переплетами. Казалось, что в комнате похозяйничали шимпанзе.

Не понимая, что здесь произошло, Латимер сделал два робких шага. Какой-то слабый звук заставил его повернуть голову направо. И тотчас сердце его сделало один сильный удар и остановилось.

На пороге ванной, держа в одной руке выжатый тюбик зубной пасты, а в другой — массивный люгер, улыбался улыбкой мученика мистер Питерс.

## Полмиллиона франков

В романе «Оружие убийцы» Латимер описал ситуацию, когда герой книги оказывается лицом к лицу с вооруженным убийцей. Написать эти несколько страниц оказалось нелегко, и, если бы не необходимость (он считал, что в последней главе вполне допустимы некоторые мелодраматические эффекты), он охотно пренебрег бы этим. Он постарался представить это событие, как ему казалось, наиболее реалистически. Что он чувствовал бы, окажись в такой ситуации? И он решил, что скорей всего обалдел бы от страха, лишился бы дара речи.

Как ни странно, сейчас у него не было тех ощущений, которые он приписал герою. Латимер объяснил это изменившейся обстановкой. Во-первых, мистер Питерс, держащий в руке большой тяжелый пистолет, не имел того угрожающего вида, который подобает убийце. Во-вторых, Латимер, имевший счастье познакомиться с мистером Питерсом, считал его совершенно неспособным на такой отчаянный шаг, как убийство. Но факт был налицо. Латимер был сильно потрясен. Именно поэтому он не догадался сказать ни равнодушное «Добрый вечер», ни юмористическое и гораздо более подходящее к ситуации «Какой неожиданный сюрприз!». Вместо этого у него вырвалось нечто похожее на «О-о», и затем, видимо, подсознательно желая разрядить обстановку, он промямлил:

— Кажется, что-то произошло.

Мистеру Питерсу именно в этот момент удалось справиться с пистолетом, который теперь, вне всякого сомнения, был направлен на Латимера.

— Не могли бы вы оказать любезность, — сказал мистер Питерс тихо, — закрыть за собой дверь? Вам для этого нужно только протянуть руку. И будьте добры, оставайтесь на том же месте.

Латимер подчинился. И почувствовал, что им овладел страх, ни в коей мере не похожий на те ощущения, которые он описал в романе. Больше всего он боялся боли, живо представив себе, как доктор извлекает пулю — хорошо бы, если бы он делал это под наркозом. Еще он очень боялся, что мистер Питерс из-за неопытности может случайно нажать на курок или выстрелить, когда Латимер сделает какое-нибудь непроизвольное движение. Его била мелкая дрожь, и он никак не мог понять, трясет ли его от нервного напряжения, от дикого страха или от злобы.

— За каким чертом вы все это затеяли? — выпалил он, сам не ожидая от себя такой прыти, и вдруг выругался. На самом деле ему хотелось сказать что-то совсем другое, и он не хотел ругаться — он почти никогда не делал этого. Видимо, меня трясет все-таки от злобы на свое бессилие, решил он. Он старался испепелить взглядом мистера Питерса.

Толстяк, опустив пистолет, сел на кровать.

— Самое ужасное, — сказал он, — что я не ожидал вас так рано. И потом меня подвела ваша горничная. Но что ждать от этой армянской девицы — они сначала готовы все сделать в лучшем виде, а потом все портят, как идиотки. Я думаю над тем, что этот большой мир, дарованный нам, мог бы быть замечательным местом, если бы... Но мы поговорим об этом

как-нибудь после. — Он положил выжатый тюбик зубной пасты на столик возле кровати. — Мне хотелось бы привести все в порядок, когда я уйду.

— Интересно, что бы вы стали делать с книгами? — не замедлил съязвить Латимер.

— Ах да, книги! — Мистер Питерс сокрушенно покачал головой. — Печальный акт вандализма. А ведь книга — это чудесный сад прекрасных цветов, ковер-самолет, который уносит нас в далекие неизвестные страны. Я глубоко сожалею об этом. Но это было необходимо.

— Необходимо? Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?

Мистер Питерс улыбнулся покорно и печально, как безвинный страдалец.

— Будьте хоть чуточку искреннее, мистер Латимер, я прошу вас, пожалуйста. Причина очевидна и для вас, и для меня. Разумеется, я понимаю, что вы находитесь в затруднительном положении, не понимая, какова моя роль. Если это может послужить хоть каким-то утешением, мне точно так же необходимо определить, какова ваша роль.

Это фантастическое лицемерие вывело Латимера из себя — он забыл о страхе.

— Да послушайте же наконец, мистер Питерс, или как вас там еще. Я пришел к себе в отель, я очень устал и хочу лечь спать. Надеюсь, вы помните: мы выехали вместе с вами из Афин несколько дней тому назад и ехали в одном купе. Вы, помните, ехали в Бухарест; я сошел здесь, в Софии, провел вечер со своим другом и вот, вернувшись к себе в отель, нахожу в номере полнейший хаос. На ум приходят только две вещи: либо вы грабитель, либо вы напились до чертиков. Между прочим, вы вынуждаете меня нажать кнопку и позвать на помощь. Гипотезу о том, что вы проникли сюда с целью грабежа, я все-таки отвергаю, так как грабители не ездят в вагонах первого класса и не срывают с книг переплеты. Поскольку вы трезвы, остается предположить, что вы сошли с ума. Если это действительно так, выражаю вам свое соболезнование и надеюсь на помощь медицины. Но если вы более или менее здоровы, то я требую, чтобы вы объяснили причину своего присутствия. Так, повторяю, мистер Питерс, на кой черт вам все это нужно?

— Изумительно, — сказал мистер Питерс, от удовольствия закрывая глаза, — просто изумительно! Нет-нет, мистер Латимер, я попрошу вас не приближаться к звонку, будьте добры. Ну вот, так-то лучше. Вы знаете, на какое-то мгновение я почти поверил в вашу искренность. Почти, но не совсем. Имейте в виду, что таким, как вы, никогда не проведи меня. Так что не будем тратить время попусту.

— Да послушайте же наконец... — Латимер непроизвольно шагнул вперед.

Люгер был тотчас нацелен прямо ему в грудь. Улыбка исчезла с пухлых губ мистера Питерса; глаза у него слезились, точно при сильном насморке. Латимер сделал шаг назад — улыбка медленно вернулась.

— Давайте же, мистер Латимер, будем чуточку искреннее, пожалуйста. Поверьте, я не имел против вас ничего дурного. Я даже не стремился побеседовать с вами. Но раз уж вы застали меня здесь и мы теперь не имеем возможности разговаривать — я осмелюсь это сказать — с позиций бескорыстной дружбы, то давайте говорить хотя бы искренне. — Он слегка подался вперед. — Почему вас так интересует Димитриос?

— Димитриос!

— Да, дорогой мистер Латимер. Димитриос. Вы ведь прибыли сюда из Малой Азии. Димитриос — тоже. В Афинах вы с немалым усердием занялись исследованием архивов комиссии по беженцам. В Софии тоже наняли агента, чтобы ознакомиться с архивом полиции. Зачем? Подождите, пока не отвечайте. Я, между прочим, ничего против вас не злоумышляю, да будет это вам раз и навсегда известно. Но так уж получилось, что Димитриос интересуется и меня тоже. Поэтому скажите мне откровенно, мистер Латимер, какова ваша роль? Или, если позволите, я скажу иначе: какую игру вы ведете?

Латимер на какое-то мгновение задумался. Ему очень хотелось дать быстрый ответ, но ничего не получалось, и он несколько смутился. Для него Димитриос стал уже своего рода собственностью, такой же академической задачей, как, скажем, проблема авторства какого-нибудь стихотворения XVI века. И вот, пожалуйста, появляется этот одиозный мистер Питерс со своей улыбкой, со своими затасканными



фразами о Всемогущем, со своим люгером, и получается, что он, Латимер, занимается контрабандой. Впрочем, тут нет ничего удивительного — Димитриоса могли знать многие. Странно, но ему казалось, что они умерли вместе с ним. Безусловно, нет ничего глупее.

— Ну, так как же, мистер Латимер? — Толстяк все так же выученно-сладко улыбался, но в его сипловатом голосе Латимер заметил садистские нотки: он теперь напоминал ему мальчишку, отрывавшего пойманной мухе крылья.

— Мне кажется, — медленно начал Латимер, — прежде чем я отвечу на ваши вопросы, вам следует сперва ответить на мои. Другими словами, мистер Питерс, если вы расскажете мне, какую игру ведете вы, я расскажу о своей. Я не собираюсь ничего скрывать, единственное, к чему я стремлюсь, это удовлетворить свое любопытство. И не надо так страшно размахивать оружием. В конце концов оружие не такой уж сильный аргумент. Кстати, ваш пистолет большого калибра и будет много шума, если, не дай бог, он выстрелит. Кроме того, какая вам польза, если вы меня убьете? И поскольку на вас никто не собирается нападать, я бы на вашем месте давно убрал пистолет в карман.

Мистер Питерс продолжал излучать свою радостно-горестную улыбку.

— Вы изложили свою точку зрения с удивительной краткостью и изумительным красноречием, мистер Латимер. И все-таки мне пока не хочется убирать оружие.

— Как вам будет угодно. Вас не затруднит объяснить мне, что вы искали в переплетах книг и в зубной пасте?

Он достал из кармана листок бумаги. Это была таблица, которую Латимер составил в Смирне. Кажется, она лежала в одной из книг.

— Что поделаешь, мистер Латимер, если что-то прячут между страниц, то, быть может, есть кое-что интересное и под переплетом.

— Я не собирался ничего прятать...

Мистер Питерс не обратил на эти слова внимания. Держа в левой руке листок, он походил на школьного учителя, который отдавал ученику его работу. Тряхнув головой, мистер Питерс спросил:

— И это все, что вам известно о Димитриосе, мистер Латимер?

— Нет.

— Ах, вот что! — Он с каким-то печальным недоумением стал рассматривать латимеровский галстук. — Интересно, кто такой этот полковник Хаки? Кажется, он неплохо информирован, но почему он так неосторожен? Фамилия у него турецкая. Вы ведь тоже прибыли из Стамбула, не так ли?

Совершенно непроизвольно Латимер кивнул, и тотчас пожалел об этой глупости. Улыбка на лице мистера Питерса засияла еще ярче.

— Благодарю вас, мистер Латимер. Начинает казаться, что вы готовы помочь мне. Давайте разберемся. Итак, вы были в Стамбуле, где одновременно оказались и Димитриос, и полковник Хаки. Здесь есть еще заметка о паспорте на имя Талата. Опять какая-то турецкая фамилия. Потом упоминается Андрианополи и написано «попытка». Ну да, я понял: так вы перевели французское слово «покушение». Вы ничего не хотите мне сказать? Ну хорошо, хорошо, пусть будет по-вашему. У меня сложилось впечатление, что вы, по-видимому, читали какое-то досье. Ну что, разве я не прав?

Латимеру было неприятно, что он попал в такое дурацкое положение. Подумав, он сказал:

— Мне кажется, так вы недалеко уйдете. На каждый ваш вопрос у меня есть свой вопрос. Например, я вам буду очень признателен, если вы мне скажете, встречались ли вы с Димитриосом.

Мистер Питерс молча поглядел на него.

— Думаю, вы не очень-то уверены в себе, мистер Латимер, — медленно проговорил он. — Очевидно, я бы мог рассказать вам гораздо больше, чем вы мне. — Он сунул пистолет в карман пальто и встал. — Мне пора уходить.

Латимер не ожидал, что это произойдет так скоро, однако, стараясь быть равнодушным, сказал:

— Спокойной ночи.

Толстяк пошел к двери, но вдруг остановился.

— Стамбул. Смирна, 1922 год. Афины, тот же год. София, 1923 год. Андрианополи. Нет, ведь он приехал из Турции... — Обернулся и посмотрел на Латимера: — А что если... — Он замолчал, потом, подумав, продолжил: — Быть может, это и глупая мысль, но, мне кажется, вы в самое ближайшее время собираетесь посетить Белград. Ведь я угадал, мистер Латимер?

Как ни старался мистер Латимер скрыть свое удивление проницательностью мистера Питерса, ему это не удалось.

— Белград вам понравится, — сказал мистер Питерс самодовольно. — Это чудесный город. А какие с окрестных гор открываются виды! Как бы мне хотелось поехать вместе с вами! А какие там девушки, круглолицые красавицы, какие у них фигурки! Вы человек еще молодой, и вам будет легко с ними договориться. Ну а меня эти вещи уже не привлекают. Я уже стар, и мне осталось только вспоминать. Но я не осуждаю молодых. Ни в коем случае. Каждому молодости дается только раз, Всемогущий, несомненно, хотел, чтобы мы почувствовали себя счастливыми. Ведь жизнь должна продолжаться, не так ли?

Латимер стащил с кресла пододеяльник и сел. Он был очень зол и, быть может, поэтому его мозг начал лучше работать.

— Мистер Питерс, в Смирне мне удалось ознакомиться с материалами пятнадцатилетней давности. Я обнаружил, что за три месяца до меня те же самые материалы интересовали кое-кого еще. Не вы ли это были?

Слезавшиеся глаза толстяка, казалось, были устремлены куда-то в вечность. Он нахмурился, точно не понимая смысла слов.

— Вы не могли бы повторить ваш вопрос?

После того как Латимер повторил, мистер Питерс, подумав несколько секунд, тряхнул головой и сказал:

— Нет, мистер Латимер, это был не я.

— Но ведь вы занимались расследованием по поводу пребывания Димитриоса в Афинах, не так ли? Ведь это были вы? Вы, помнится, очень быстро удалились из бюро, так что я вас, к сожалению, не заметил, но чиновник видел, что вы заходили туда. И, очевидно, далеко не случайное совпадение, что мы ехали с вами в одном купе до Софии, не правда ли? Вы проявили отменную смекалку и узнали, в каком отеле я остановлюсь. Неужели вам не хочется сказать правду?

— Да, мистер Латимер, — кивнул мистер Питерс, счастливо улыбаясь, — все так и было. Мне известен каждый ваш шаг после того, как вы покинули бюро в Афинах. Я ведь уже, кажется, говорил вам, что интересуюсь каждым, кто собирает сведения о Димитриосе. Вы, конечно, разузнали, кто был тот человек в Смирне?

Обратив внимание на то, что последняя фраза была произнесена самым невинным тоном, Латимер сказал:

— Нет, я этим не занимался.

— Но вы, конечно, хотели бы это узнать?

— Не очень.

Толстяк шумно вздохнул.

— Мы должны, мистер Латимер, достичь взаимопонимания. Нам нельзя ссориться. — Он остановился и поглядел сверху вниз на Латимера. — Я должен знать, зачем вам все это понадобилось. Нет-нет, пожалуйста, не перебивайте меня. Я готов признать, что для меня ваши ответы гораздо важнее, чем мои — для вас. И все-таки сейчас я не могу их вам дать. Да-да, я слышал, что вы поставили такое условие. Но я серьезно не могу. Поймите меня, пожалуйста.

Итак, вас интересуют факты из жизни Димитриоса, и вы собираетесь поехать в Белград, чтобы побольше разузнать о нем. Я вижу, вы этого не отрицаете. И вам, и мне известно, что Димитриос жил в Белграде в 1926 году. Могу к этому добавить, что он там больше не появлялся. Вы не хотите сказать, зачем вам это нужно? Очень хорошо. Я вам скажу другое: если вы попадете в Белград, то не обнаружите ни малейших следов Димитриоса. Более того, если попытаетесь провести расследование, то у вас наверняка возникнут трудности с полицией. Есть только один человек, который мог бы рассказать вам о том, что вас интересует. Это поляк, он живет теперь недалеко от Женевы.

Я дам вам адрес и письмо к нему. Но мне все-таки хочется понять, зачем вам нужна эта информация. Вначале мне казалось, что вы работаете на турецкую полицию — сейчас на Ближнем Востоке многие англичане работают в полиции, — но я отказался от этой мысли. В ваших документах написано, что вы писатель, но ведь это весьма растяжимое понятие. Кто же вы такой, мистер Латимер, и в чем заключается ваша игра?

Мистер Питерс выжидающе замолчал. Латимер, стараясь сохранить непроницаемое выражение лица, смотрел ему прямо в глаза. Не смущаясь этим, мистер Питерс продолжал:

— Естественно, когда я говорю «игра», я понимаю это слово в особом смысле. Вся ваша игра состоит, конечно, в том, чтобы получить деньги. Но не такого ответа я жду от вас. Вы богаты, мистер Латимер? Нет? Тогда я скажу то,



что, быть может, упростит дело. Я предлагаю, мистер Латимер, заключить соглашение, так сказать, объединить наши возможности. Мне, например, известны такие вещи, о которых я не могу сообщить вам в настоящий момент. Вам, с другой стороны, также известно что-то весьма важное. Сами по себе те факты, которые я знаю, быть может, не имеют ценности. Но и то, что известно вам, пустой звук вне связи с другим. Если же и то, и другое рассматривать вместе, то ценность такого объединения может составить (при этих словах он сильно выдвинул вперед нижнюю челюсть) по крайней мере пять тысяч английских фунтов, или миллион франков. — Он был на седьмом небе от радости. — Ну, что вы на это скажете?

— Прошу прощения, — сказал Латимер, почти не скрывая своей враждебности, — но скажу, что я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. И мне глубоко безразлично, как вы это воспримете. Я устал, мистер Питерс, я очень устал, буквально валюсь с ног. — Он встал и, взяв простыню, стал застилать постель. — Полагаю, мне незачем скрывать от вас, почему я интересуюсь Димитриосом. Деньги тут как раз совершенно ни при чем. Я зарабатываю на жизнь тем, что сочиняю детективные романы. Когда я был в Стамбуле, полковник Хаки, человек, в определенном смысле связанный с тамошней полицией, рассказал мне об одном преступнике по имени Димитриос, труп которого был найден в водах Босфора. Отчасти ради удовольствия — мне хотелось разгадать своего рода кроссворд, — отчасти желая попробовать свои силы в самостоятельном расследовании, я начал идти по следам этого человека. Вот и все. Я не жду, что вы мне поверите. Вероятно, вы сейчас задаете себе вопрос, почему я не придумал какую-нибудь более убедительную историю. Мне очень жаль, но убеждать вас в том, что это правда, я не могу да и не хочу.

Мистер Питерс подошел к окну и, достав сигарку, стал смотреть, как Латимер застилает кровать.

— Детективные романы! Это удивительно интересно, мистер Латимер. Я их очень люблю. Назовите, пожалуйста, книги, которые вы написали.

Латимер назвал.

— А кто ваши издатели?

— Кто вас больше интересует — англичане, французы, шведы, норвежцы, немцы или венгры?

— Венгры.

Услышав ответ, мистер Питерс одобрительно кивнул головой.

— Да, я знаю, это хорошая фирма. — Видно было, что он принял какое-то решение. — Мистер Латимер, у вас найдутся перо и бумага?

Латимер указал на письменный стол, и толстяк уселся за него. И пока Латимер готовил себе постель, собирав с пола разбросанные вещи, слышно было, как по бумаге скрипело перо. Мистер Питерс был человек слова.

Когда Латимер уже собрался лечь в постель, послышался звук отодвигаемого кресла и мистер Питерс с сияющей улыбкой на лице заявил:

— Я оставляю вам, мистер Латимер, три листа бумаги. На первом — адрес человека, о котором я вам говорил. Его зовут Гродек, Владислав Гродек. Он живет недалеко от Женевы. На втором листе — мое письмо к нему. Если он его получит, он будет знать, что вы мой друг и что он может быть с вами откровенным. Он уже отошел от дел, так что я могу, ничего не скрывая, сказать, что в свое время это был один из самых выдающихся разведчиков в Европе. Но самое замечательное, что полученные им сведения всегда были достоверны. Он работал на несколько стран. Его резиденция находилась в Брюсселе. Для писателя такой человек просто находка. Я думаю, он вам понравится. Он, между прочим, очень любит животных. Короче, это чудесный человек, с тонкими и нежными чувствами. Между прочим, именно на него работал Димитриос в 1926 году.

— Понятно. Весьма вам признателен. А что вы написали на третьем листе?

Мистер Питерс смутился, хотя улыбка его была теперь почти экстатической.

— Вы, кажется, сказали, что вы не богаты.

— Да, это так.

— Значит, полмиллиона франков, или две с половиной тысячи фунтов, вам бы, наверное,годились.

— Безусловно.

— В таком случае, когда вам наскучит Женева, вы, быть может, захотите убить сразу двух зайцев. — Он вытащил из кармана таблицу, составленную Латимером. — Здесь помече-

ны и другие даты из жизни Димитриоса, которые вы хотели бы проверить. Между прочим, место действия перемещается в Париж. Это во-первых. Ну, а во-вторых, мы в Париже обязательно встретимся, и вы, быть может, наконец решитесь объединить наши возможности. То есть мы придем к соглашению, о котором я вам уже говорил. В этом случае даю безусловную гарантию, что буквально через несколько дней на ваш счет будет перечислено полмиллиона франков, или две с половиной тысячи фунтов стерлингов.

— Мне бы очень хотелось, — возразил раздраженный Латимер, — чтобы вы внесли хоть какую-то ясность. Что мне надо делать? Кто, наконец, заплатит мне деньги? Все покрыто мраком неизвестности, мистер Питерс, и потому я не могу верить ни одному вашему слову.

Улыбка на устах мистера Питерса несколько поблекла, но разве могут оскорбления вывести из себя христианина, который давно подготовился к арене со львами.

— Я знаю, мистер Латимер, — сказал он тихо, — что вы не доверяете мне. Я написал письмо Гродеку и дал вам его адрес, потому что мне хотелось убедить вас в том, что моему слову можно верить. Сейчас мне больше нечего вам сказать. Но если вы поверите мне и поедете в Париж — на третьем листе бумаги мой адрес.

— Не будем ничего загадывать, — сказал Латимер. — Вы, мне кажется, сделали далеко идущие выводы. Что касается Белграда, то я действительно туда не поеду. Насчет Женевы я еще не решил. Поездку в Париж я вообще не могу сейчас предпринять, потому что у меня накопилось много работы. И, конечно...

— Спокойной ночи, мистер Латимер, — сказал мистер Питерс, протягивая руку. — Я не хочу с вами прощаться...

Латимер пожал протянутую руку. Она была сухая и мягкая, точно без костей.

— Спокойной ночи, — сказал Латимер.

У двери мистер Питерс обернулся.

— На полмиллиона франков можно купить массу хороших вещей, мистер Латимер. Мне хочется верить, что мы встретимся в Париже. Еще раз желаю вам спокойной ночи.

— Мне тоже. Спокойной ночи.

Дверь закрылась, но улыбка великомученика все стояла перед глазами Латимера, напоминая ему улыбку чеширского кота, которая парила в воздухе. В изнеможении прислонился он к двери и вдруг заметил на полу пустые, раскрытые чемоданы. Начинало светать. Он еще долго не мог заснуть, но вдруг сон навалился на него, и его размышления прекратились.

## Гродек

Когда Латимер проснулся, было уже одиннадцать часов. На столике возле кровати лежали три листа бумаги, оставленные мистером Питерсом. Они напомнили Латимеру, что надо многое хорошенько обдумать и принять какое-то решение, и это было неприятно. Он сел на кровати и взял эти листы в руки. На первом, как и говорил мистер Питерс, был написан женевский адрес:

Владислав Гродек

Вилла «Акация»

Шамбеси

(в 7 км от Женевы)

Латимер с трудом разобрал записку, написанную корявыми, прыгающими буквами. И обратил внимание, что цифра семь перечеркнута, как это обычно принято у французов.

Он взял второй лист. В письме было всего шесть строчек, но Латимер не смог их прочитать: оно было написано на каком-то незнакомом языке, вероятно, на польском. Во второй строке он нашел свою фамилию, почему-то написанную с ошибкой. Вдохнув, он отложил письмо в сторону.

Латимер подумал, что дружеские отношения мистера Питерса с бывшим шпионом являются важным ключом, но как им воспользоваться, он не знал. Подтверждением тому было вызывающее поведение мистера Питерса вчера ночью: предпринять обыск в отсутствие хозяина и вдруг после размахивания пистолетом предложить полмиллиона франков и рекомендательное письмо к бывшему шпиону мог только человек, которого легко заподозрить в самых тяжких преступлениях. Но где основания для подозрений? Латимер вспомнил свой разговор с мистером Питерсом, и чем отчетливее в памяти возникали слова и фразы, тем больше он выходил из себя: в самом деле, он вел себя немислимо глупо. Он перетрусил, увидев пистолет, хотя этот тип ни за что бы не решился выстрелить (впрочем, такие мысли появляются,



когда опасность давно миновала), он позволил вовлечь себя в разговор вместо того, чтобы передать этого человека полиции, и, что хуже всего, в своих переговорах с мистером Питерсом он не имел твердой позиции и докатился до того, что принял с благодарностью рекомендательное письмо и эти адреса. Ему даже не пришлось в голову поинтересоваться, как этот тип попал в комнату. А ведь он мог бы, да что там мог, он должен был взять этого мерзавца за глотку и заставить его говорить. Как это характерно для людей с высшим образованием, привычно обобщил он; они вспоминают о том, что могли применить силу, только тогда, когда в этом уже нет необходимости.

Но не появившись в его номере Питерс, он бы поехал в Белград. А таинственный мистер Питерс советует ему ехать в Швейцарию. И хотя мистер Питерс сделал ему определенное предложение, можно было послушаться совета. Например, он не очень-то верил, что ему удастся выбросить из головы Димитриоса. Удовлетворенное тщеславие? Да ничего подобного. Да, несомненно, его интерес к Димитриосу все больше походил на наваждение. Это было нехорошее слово, с которым у Латимера ассоциировались горящие фанатизмом глаза. Но, что там ни говори, Димитриос притягивал к себе, и вряд ли он мог спокойно заниматься новой книгой, зная, что где-то вблизи Женевы живет человек, который может рассказать о Димитриосе массу любопытного. Значит, возвращение в Афины было бы пустой тратой времени.

Личность мистера Питерса также требовала разъяснения. Попробуй выброси его из головы. Самое же привлекательное было то, что Димитриос был такой же осязаемой, вызывающей любовь или ненависть фигурой, как Прудон, Монтескье или Роза Люксембург, а не тем картонным героем, которые заполняют детективы.

Латимер стал одеваться, бормоча: «Ну и хорошо, и прекрасно! Поезжай в Женеву, брось начатую работу. А почему? Да потому, что ты обленился, а лентии вечно заняты всякой чепухой. Заруби себе на носу, милейший, что автор детективов никак не связан с действительностью, кроме некоторых технических подробностей, как то: законы баллистики, медицина, юридические законы. Надеюсь, ясно. Так что хватит нести всякий вздор».

Он побрился, собрал вещи и, спустившись вниз, осведомился у дежурного о расписании поездов на Афины. Тот начал листать книжку, Латимер молча наблюдал за ним, и вдруг у него вырвалось:

— А что если бы я поехал отсюда в Женеву!

На другой день Латимер получил письмо со штампом почтового отделения в Шамбеси. Это был ответ на посланные им Гродеку письма — свое и Питерса. Письмо было на французском.

*Вилла «Акация»,  
Шамбеси,  
пятница*

*Дорогой мистер Латимер!*

*Я буду рад, если вы заглянете ко мне завтра. Мой шофер заедет за вами в отель в 11—30.*

*Пожалуйста, примите мои уверения в глубоком к вам уважении.*

*Гродек.*

Шофер прибыл минута в минуту и, отсалютовав Латимеру, точно тот был генерал, жестом пригласил в огромный шоколадного цвета автомобиль. Потом он сел за руль, и машина быстро помчалась под моросющим дождем, точно они уходили от погоны.

Латимер с интересом разглядывал внутренности автомобиля: дорогие породы дерева и слоновью кость, очень удобные подушки из кожи — короче, все говорило о богатстве, о том, что денег у хозяина куры не клюют. Если верить Питерсу, деньги эти были получены за темные шпионские дела. Интересно знать, каков он из себя, этот герр Гродек. Ему пришла в голову странная мысль, что это, должно быть, старец с седой бородой, с испанской бородкой. Питерс говорил, что он по национальности поляк, большой любитель животных и чудесный человек в полном смысле этого слова. А вдруг в действительности он окажется отвратительным субъектом? Кстати, любовь к животным вообще ни о чем не говорит: нередко страстные любители животных искренне и глубоко ненавидят все человечество.

Некоторое время они ехали по шоссе вдоль северного берега озера, но у Преньи свернули налево и стали подниматься вверх по пологому холму. Через километр еще раз повернули налево, на узкую просеку в сосновом бору. Когда

машина подъехала к железной оградке, шофер вышел и открыл ворота. Потом повернули направо и оказались у большого, неприветливо глядевшего загородного дома.

Деревья росли довольно далеко от дома, внизу, в долине, за пеленой снега с дождем виднелись деревушка и возвышающаяся над ней деревянная колокольня местной церкви. Еще дальше, за деревней, серело озеро. Латимер видел озеро летом, и сейчас оно произвело на него особенно мрачное и тоскливое впечатление.

Дверь открыла полная улыбающаяся женщина, по-видимому, экономка. Она взяла у Латимера пальто и, открыв перед ним дверь, впустила в большую комнату.

Комната напоминала деревенский трактир: вверх вдоль стен шла галерея, на которую можно было подняться из зала по лестнице; в огромном камине горел огонь; на полу лежал ковер. В комнате было очень чисто и тепло.

Улыбнувшись, экономка сообщила, что герр Гродек сейчас спустится вниз, и куда-то ушла. Латимер направился к креслам, стоявшим у камина. Вдруг раздался слабый шум, и Латимер увидел, как на спинку одного из кресел взобрался сиамский кот и с явной враждебностью прищурил на него голубые глаза. Тотчас к нему присоединился и второй. Выгнув спины, они наблюдали за Латимером. Не обращая на них внимания, Латимер сел в одно из кресел. В наступившей тишине слышно было, как потрескивали дрова в камине. На лестнице послышались шаги.

Коты подняли головы, затем, точно по команде, мягко прыгнули на пол. Латимер обернулся — к нему шел, протянув руку и немного виновато улыбаясь, высокий широкоплечий человек, которому, наверное, было уже под шестьдесят.

Его когда-то густые, цвета соломы волосы сильно поредели, да и седых волос было уже немного, но серые с голубоватым оттенком глаза смотрели молодо. Он был тщательно выбрит. Овальной формы лицом с широким лбом, маленьким плотно сжатым ртом и едва заметным подбородком он напоминал англичанина или датчанина. В домашних туфлях и мешковатом, свободном костюме из твида он двигался уверенно и энергично, очевидно, наслаждаясь заслуженным покоем после праведных трудов.

— Извините, пожалуйста, месье, — сказал он, пожимая Латимеру руку, — но я не слышал, как вы приехали.

— Позвольте прежде всего поблагодарить вас, месье Гродек, за оказанное мне гостеприимство. Я не знаю, что писал вам мистер Питерс в своем письме, потому что...

— Потому что, — весело и жизнерадостно воскликнул Гродек, — вы не дали себе труда изучить польский язык. Надеюсь, вы уже познакомились с Антуаном и Симоном. — Он показал рукой на котов. — Я, например, убежден, что они на меня обижаются, что я не говорю по-сиамски. Вы любите кошек? Я убедился, что Антуан и Симон умны и сообразительны. Ведь вы же не такие, как другие кошки? — Он взял кота на руки и показал Латимеру. — Ах, Симон, ты не знаешь, до чего же ты мил и хорош! — Он посадил кота себе на ладонь. — Ну давай, прыгай скорее к своему другу Антуану! — Кот прыгнул на пол и оскорбленно удалился. — Правда, они прекрасны? И очень похожи на людей. Когда стоит плохая погода, они тоже нервничают. Мне так хотелось, чтобы в честь вашего визита, месье, сегодня была хорошая погода. В ясный солнечный день отсюда открывается чудесный вид.

Латимер охотно согласился. Ему пока никак не удавалось определить, что за человек был Гродек. Чем дольше присматривался Латимер к Гродеку, тем очевидней становился контраст между его внешностью вышедшего на пенсию инженера и его скупыми, но быстрыми жестами и плотно сжатыми губами, говорившими о большой внутренней силе. Латимер подумал, что он, вероятно, все еще имеет успех у женщин, а ведь мало кто из людей его возраста может этим похвастаться.

Чтобы поддержать разговор, Латимер сказал:

— Здесь, наверное, очень приятно жить летом.

— Конечно, — сказал Гродек, открывая створку шкафа. — Что будете пить? Может, английское виски?

— Да, спасибо.

— Очень хорошо. Я тоже предпочитаю его.

Он налил виски в стакан.

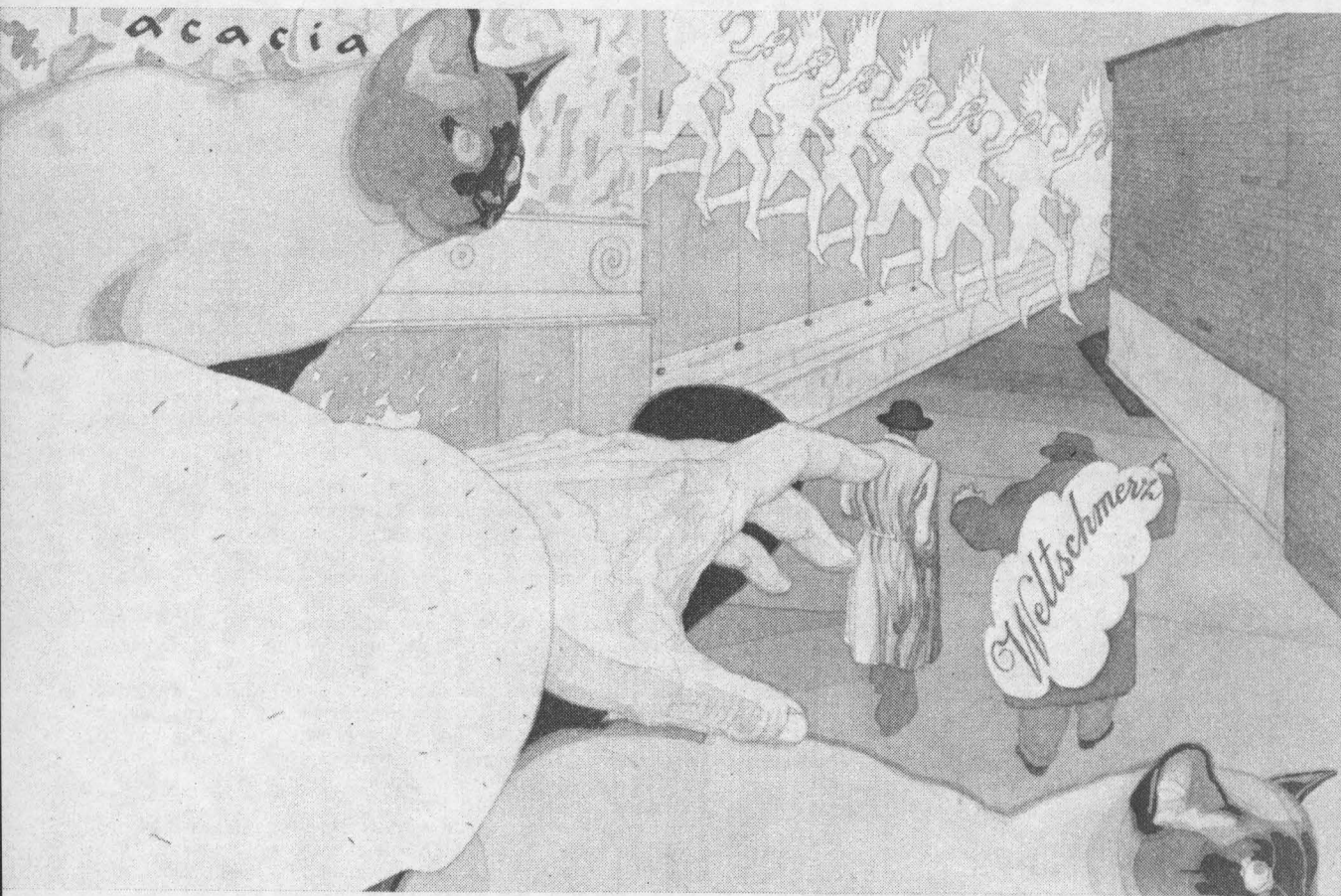
— Летом я люблю писать на воздухе. Очень полезно для здоровья, но, по-видимому, не для работы. Вы никогда не пробовали работать на открытом воздухе?

— Нет, не пробовал. Мухи...

— Совершенно верно, мухи. Вы знаете, я пишу книгу.

— Вот как? Вы, вероятно, пишете мемуары?





Гродек открывал бутылку с содовой, и Латимер заметил, что возле глаз у него появились морщинки.

— Нет, месье. Это жизнеописание Франциска Ассизского. Я думаю, мне хватит этой работы до конца дней моих.

— Должно быть, это утомительный труд, ведь требуется хорошее знание источников.

— О, да. — Он передал Латимеру стакан. — Главное преимущество в том, что о Франциске Ассизском написано так много, что мне не нужно обращаться к первоисточникам. Я не выдвигаю какую-то оригинальную концепцию, просто это занятие позволяет мне с чистой совестью жить в полной праздности. Как только мне становится скучно, как только я чувствую первые признаки, так сказать, душевного недомогания, я, удалившись в библиотеку, начинаю изучать труды о Франциске Ассизском и сочиняю еще несколько страниц книги. Иногда для удовольствия я читаю немецкие журналы. — Он поднял стакан: — Ваше здоровье.

— Ваше здоровье.

Латимер слушал речи хозяина, и ему начинало казаться, что перед ним еще один претенциозный осел. Выпив виски, он сказал:

— Надеюсь, мистер Питерс написал в письме о цели моего визита.

— Нет, месье. Но вчера я получил от него письмо, в котором он пишет об этом. — Он поставил стакан и, искоса взглянув на Латимера, добавил: — Это письмо меня очень заинтересовало. (Пауза.) Вы давно знакомы с Питерсом?

Произнося фамилию, он на едва уловимую долю секунды задержался, и Латимер подумал, что сначала он, вероятно, хотел сказать какую-то другую фамилию.

— Я встречался с ним всего два раза. Один раз в поезде, другой — у меня в отеле. Вы, вероятно, с ним хорошо знакомы?

— Вы в этом уверены, месье? — удивленно поднял брови Гродек.

Латимер постарался улыбнуться как можно непринужденнее. Он вдруг почувствовал, что, по-видимому, наступил на любимую мозоль хозяина.

— Если бы вы не были с ним хорошо знакомы, он,

конечно, не рекомендовал бы меня вам и уж тем более не просил бы поделиться со мной информацией об интересном субъекте.

Латимер замолчал, довольный тем, что ему удалось выкрутиться из трудного положения.

Гродек стал вдруг задумчивым и серьезным, и Латимер мысленно выругал себя за нелепое — теперь это было очевидно — сравнение с вышедшим на пенсию инженером. Под пристальным взглядом ему стало очень неудобно, и он пожалел, что нет у него в кармане люгера, которым размахивал мистер Питерс. Нет, этот взгляд не был угрожающим. Однако было что-то...

— Месье, — обратился к нему Гродек, — боюсь вас обидеть своим прямым и, может быть, грубым вопросом. Все-таки мне хочется знать, нет ли у вас какой-либо другой причины, которая привела вас ко мне, помимо обычного для писателя интереса к человеческим слабостям.

Латимер почувствовал, что краснеет.

— Поверьте, я говорил правду... — начал он.

— Я готов вам верить, — мягко прервал его Гродек, — но, простите, где гарантии, что это так?

— Я не могу дать честное слово, месье, что любую информацию, которую я получу от вас, я буду рассматривать как не подлежащую разглашению, — тихо, стараясь быть убедительным, возразил Латимер.

— Значит, — вздохнув, сказал он, — я выразился недостаточно ясно. Информация сама по себе не имеет никакого значения. То, что происходило в Белграде в 1926 году, сейчас уже никого не интересует. Важно, однако, то, что та история имеет прямое отношение ко мне. Поскольку как писатель вы знакомы с психологией, то вам, конечно, известно, что у большинства людей, независимо от того, чем они занимаются, имеется стимул, который и определяет все их действия. У одних это тщеславие, у других удовлетворение какой-либо страсти, у третьих неумная жажда денег и так далее. Так вот, Питерс один из тех, у кого главный стимул — деньги. Причем это чувство у него настолько хорошо развито, что он, как всякий скряга, безумно влюблен только в деньги. Пожалуйста, не поймите меня превратно: я не хотел этим



сказать, что Питерс подчинил все свои действия этому. Но, насколько я знаю Питерса, невозможно себе представить, чтобы он, посылая вас ко мне, имел в виду — так он выразился — лишь «способствовать развитию английской детективной литературы». Вы поняли, куда я клоню? Мне приходится быть подозрительным, месье, ведь у меня все еще есть враги. Мне кажется, вам надо рассказать о ваших отношениях с нашим общим другом Питерсом. Вы не возражаете?

— С большим удовольствием, но, к сожалению, не могу этого сделать по очень простой причине: я просто не знаю, в каких мы с ним отношениях.

Латимер заметил, что взгляд серых глаз его собеседника стал суров.

— Мне не до шуток, месье.

— Мне тоже. Я собирал материал о Димитриосе и встретился с Питерсом. По каким-то мне непонятным причинам он также интересовался Димитриосом. Он сделал мне следующее предложение: если я встречаюсь с ним в Париже и соглашусь участвовать в одном проекте, который он разрабатывает, то в случае успеха каждый из нас получит по полмиллиона франков. Он сказал, что я обладаю информацией, которая сама по себе бесполезна, но, если ею дополнить информацию, которой располагает он, то вместе получится нечто стоящее. Я ему, естественно, не поверил и отказался участвовать в его проекте. Тогда, видимо, надеясь этим привлечь меня и в то же время доказать свою добрую волю, он дал мне рекомендательное письмо к вам. Перед этим я сказал, что интересуюсь Димитриосом как писателем, и признался, что собираюсь ехать в Белград, чтобы пополнить свою информацию о нем. И тогда он сказал, что вы единственный человек, который знает, как все было на самом деле.

Гродек вытаращил глаза от удивления.

— Вы, конечно, знаете, месье, как неприятно излишнее любопытство, но все же я хотел бы знать, откуда вам стало известно о том, что Димитриос Талат был в Белграде в 1926 году?

— Мне рассказал об этом один турецкий чиновник, с которым я познакомился в Стамбуле. Он также сообщил мне некоторые факты из жизни этого человека. Разумеется, лишь те, которые ему были известны.

— Понятно. Могу ли я вас спросить, что это за бесценная информация, которой вы обладаете?

— Я не знаю.

— Начнем все сначала, месье, — сказал Гродек, нахмурившись. — Вам хочется, чтобы я откровенно рассказал о том, что знаю. Так расскажите же мне откровенно, что вы знаете сами.

— Я уже говорил вам — и это чистая правда — я не знаю. Помню, я откровенно рассказал обо всем мистеру Питерсу. И вдруг в одном месте он почему-то заволновался.

— В каком же?

— Когда я рассказывал, что у убитого совершенно не было денег. Буквально сразу после этого он заговорил о миллионе франков.

— Как вы об этом узнали?

— Дело в том, что я видел труп в морге. Все его пожитки лежали на столе в ногах. Удостоверение личности, которое достали из-под подкладки пиджака, уже отослали французскому консулу. Денег при нем не было ни сантима.

В течение нескольких секунд Гродек пристально разглядывал Латимера, потом встал и направился к шкафику.

— Давайте еще по одной, месье?

Он налил в стаканы виски, потом содовой и, вручив Латимеру стакан, торжественно сказал:

— Предлагаю тост, месье. Давайте с вами выпьем за английскую детективную литературу!

Латимер поднес стакан к губам, как вдруг Гродек, который вначале сделал то же самое, поперхнулся и, поставив стакан, достал носовой платок. К своему удивлению, Латимер обнаружил, что Гродек заливается смехом.

— Простите мне, месье, — выдохнул он наконец, — но у меня мелькнула мысль, которая и вызвала приступ смеха. — Секунду помедлив, он продолжил: — Я представил себе, как наш друг Питерс угрожает вам пистолетом. Ведь он боится даже прикоснуться к огнестрельному оружию.

— Видимо, ему удалось сделать значительные успехи и преодолеть свой страх, — сказал Латимер раздраженно, чувствуя, что хозяин над ним потешается, и не понимая, какой он дал для этого повод.

— Наш Питерс умица. Если бы я был на вашем месте, месье, я бы поймал Питерса на слове и поехал в Париж.

Латимер до такой степени оторопел, что с трудом выговорил:

— Да я, право, не знаю...

И тут в комнату вошла экономка.

— Обед готов! — радостно воскликнул Гродек. — Идемте к столу.

У Латимера была возможность спросить Гродека, почему он дал ему этот «дружеский совет», но он узнал столько интересного, что совершенно забыл об этом.

## Белград, 1926

Люди по опыту знают, что не следует доверять своему воображению. Но — удивительное дело — иногда вымысел находит себе фактическое подтверждение. Для Латимера те несколько часов, что он провел с Владиславом Гродеком, были самыми странными в его жизни. Свои впечатления от этого разговора он выразил в большом письме к Марукакису, начатом в тот же день вечером, когда каждое слово было еще свежо в памяти.

Дорогой Марукакис!

Я обещал написать вам, если мне повезет и я узнаю что-нибудь новое о Димитриосе. Наверное, вы удивитесь — да я и сам удивляюсь этому, — но я действительно узнал кое-что интересное. Впрочем, я все равно написал бы вам, чтобы еще раз поблагодарить за ту помощь, которую получил от вас в Софии.

Вы, вероятно, помните, что, простившись с вами, я собирался поехать в Белград. И вот пишу это письмо из Женевы. Почему, быть может, спросите вы?

Дорогой мой, мне хотелось бы знать это самому. Но пока я не нашел ответа. Дело в том, что здесь, в Женеве, живет человек, на которого Димитриос работал во время своего пребывания в Белграде в 1926 году. У этого человека, бывшего профессионального разведчика, я был сегодня и разговаривал с ним о Димитриосе.

Вы когда-нибудь верили в существование так называемого «супершпиона»? С полной уверенностью могу заявить, что я в это не верил. Но после сегодняшней встречи я знаю, что такие люди есть. Всю вторую половину дня я провел с одним из них. Поскольку я не могу сказать, кто он, буду в лучших традициях шпионской литературы называть его просто Г.

Слово «супершпион» я употребляю по отношению к Г. (он, кстати, сейчас уже ушел от дел) в том смысле, в каком мой издатель говорит об одном печатнике «спеце». Г. руководил большой сетью агентов, и его деятельность (разумеется, не всегда) была в основном организаторской и направляющей.

Теперь мне ясно, какую чепуху говорят и пишут люди о шпионах и шпионаже. Но, мне кажется, лучше всего, если я начну свой рассказ так, как это сделал Г., когда беседовал со мной.

Он напомнил мне слова Наполеона о том, что во всякой войне главным является фактор внезапности. Надо сказать, Г. любит цитировать Наполеона. Несомненно, об этом знали и другие завоеватели: Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь, Чингис-хан или Фридрих Прусский. Додумался до этого, кстати, и Фохс.

Война 1914—1918 годов, говорит Г., показала, что в будущих сражениях (не правда ли, звучит очень обнадеживающе?) в результате всевозрастающей ударной силы и мобильности армии, авиации и флота главную роль будет играть, безусловно, фактор внезапности. По-видимому, войну выиграет тот, кто нападет на противника неожиданно. Следовательно, первейшая необходимость — найти средства защиты против внезапного нападения.

В Европе двадцать семь независимых государств. Каждое из них имеет армию, авиацию и — за исключением некоторых стран — флот. Безопасность любого государства требует сведений о том, как развиваются вооруженные силы в этих двадцати семи странах, какова их ударная мощь, эффективность, ведется ли там тайная подготовка к нападению. Ну, а это означает, что нужна разведка, нужна целая армия специально подготовленных людей.

Признаюсь, сначала все это показалось мне довольно глупым и вряд ли соответствующим действительности. Неужели взрослые люди, управляющие государствами, ведут себя, как мальчишки, играющие в индейцев? Оказалось, что дело обстоит именно так. Влюбленный в свою профессию, Г. рассказывал о ней с восторженным энтузиазмом молодого коммивояжера, случайно оказавшегося в деревенской таверне. Мои скептические замечания задели его, и он, как мне кажется, привел очень убедительное доказательство своей правоты.



Он напомнил, что в большинстве европейских стран за шпионаж, равно как и за преднамеренное убийство или государственную измену, полагается смертная казнь и что шпионаж, таким образом, рассматривается как одно из самых тяжких преступлений.

Очевидно, продолжал он, учитывая приведенные выше факты, минимальное число разведчиков, находящихся на службе у какого-либо европейского правительства, должно составлять примерно семьдесят человек — по три человека на страну и по два на те страны, у которых нет флота. Значит, минимальное число занимающихся разведкой людей составит в одной только Европе что-то около двух тысяч.

За последние годы цели и методы разведывательной деятельности сильно изменились. До первой мировой войны шпиону было достаточно похитить формулу отравляющего газа или чертежи нового пулемета, чтобы обеспечить себя на всю жизнь. Сейчас разведчики — это люди, получившие хорошую подготовку или, что бывает реже, люди (женщины, естественно, не исключаются) с выдающимися личными качествами.

Но какое отношение все это имеет к Димитриосу? Ведь у Димитриоса не было ученой степени. Он, как мы знаем, был убийцей, сутенером, шантажистом и, кроме того, тайным агентом Евразийского кредитного треста в Болгарии и Турции. Каким же образом Г. удалось завербовать его и для каких целей?

Весной 1926 года Г. поселился в Белграде. Отношения между Италией и Югославией в то время стали особенно напряженными в результате захвата Италией Фиуме и последовавшей затем бомбардировки Корфу. Ходили слухи (как вскоре подтвердилось, вполне обоснованные), что Муссолини готовится оккупировать Албанию. Разумеется, Югославия готовилась дать отпор. Итальянцам через своих агентов стало известно, что югославы собрались минировать побережье, чтобы помешать высадке десанта.

Как мне объяснил Г., при закладке минных полей всегда оставляют свободные проходы для своих кораблей. Таким образом, требовалось получить карту минных полей. Именно эта работа и была поручена Г., поскольку теперь требовалось не только узнать расположение минных полей вблизи побережья, но сделать это так, чтобы югославы не догадались об этом, так как в противном случае они просто расположили бы мины по-другому.

Г. начал с того, что, появившись в министерстве военно-морского флота, попросил дежурного показать, где находится отдел снабжения. Это, конечно, не вызвало подозрений. Получив разрешение пройти, он свернул в коридор и, остановив первого встречного, сказал, что заблудился и не знает, как пройти в отдел по борьбе с подлодками. Войдя в отдел, спросил, верно ли, что это отдел снабжения. Когда ему сказали, что нет, он извинился и вышел. Он пробыл там не более минуты, стараясь запомнить всех, кто ему попался на глаза. И выбрал троих. В тот же вечер он дождался, когда один из замеченных покинет здание министерства, и проводил его до дома. Узнав его имя и кое-какие дополнительные сведения о нем, он повторил то же самое с двумя другими. Подумав, он решил остановиться на некоем Буличе.

Вы, быть может, скажете, что это грубая работа, но такие люди, как Г., всегда считали и считают успех оправданием своих действий. В искусстве разбираться в людях Г. проявил несомненную одаренность: выбрать в качестве агента именно Булича было равносильно попаданию в десятку.

Тщеславный озлобленный человек, которому давно перевалило за сорок, Булич был старше остальных сотрудников отдела, почему-то сильно не любивших его. Он был женат на красивой женщине, капризной и вечно недовольной, на десять лет моложе его. Хронический катар желудка довершал картину.

После работы Булич обычно заходил в кафе, чтобы пропустить стаканчик. Здесь с ним и познакомился Г., спросив, нет ли у того спичек.

Они стали встречаться в кафе каждый вечер. Поскольку Г. до этого никогда не был в Белграде, он иногда спрашивал у Булича совета по разным поводам — это давало возможность вести пустую, ни к чему не обязывающую беседу. Г. платил за выпивку, и Булич снисходительно принимал это. Иногда они играли в шахматы, причем Г. старался проигрывать Буличу; иногда вместе с другими посетителями играли в безик.

И вот однажды Г. рассказал Буличу о своем деле. Ему-де стало известно от одного из общих знакомых (им мог быть кто-нибудь из тех, с кем они играли в карты), что Булич

занимает важный пост в министерстве. Булич нахмурился. Он подумал, что над ним издеваются. Но Г., не дав ему опомниться, стал говорить, что фирма хочет получить у военно-морского ведомства заказа на морские бинокли. Он, конечно, подал заявку, но, как Булич, наверное, знает, в таких делах нет ничего лучше помощи друга. Если бы Булич, воспользовавшись своим влиянием, протолкнул это дело в министерстве, то фирма, получив заказ, выплатила бы ему двадцать тысяч динаров!

Г. говорит, что Булич сделал слабую попытку не впутываться в это дело. Покраснев и сконфузившись, он заикнулся о том, что его влияние сильно преувеличено и он не уверен, что может помочь. Г. понял это как желание увеличить взятку. Булич стал уверять его, что Г. неправильно его понял. Он был жалок и смешон. Через пять минут он согласился. Они стали друзьями.

Чтобы у Булича и дальше развивался комплекс важного чиновника, Г., как лучший друг, начал приглашать его и красивую, но очень глупую мадам Булич в шикарные рестораны и ночные клубы. Для обоих это было как дождь на изнывающую от засухи землю. Как-то Г., предварительно накачав Булича шампанским, завел разговор о возрастающей мощи итальянского военно-морского флота и об угрозе десанта на югославское побережье. Понял ли Булич, во что его втягивают? Разумеется, нет. Он впервые за долгие годы мог похвастаться перед женой, что тоже кое-чего стоит. В конце концов можно же намекнуть, что он не какая-то там пешка. Язык его развязался, и он заявил, что ему доподлинно известно о том, как остановить итальянцев на подступах к побережью. Вы, конечно, понимаете, что это большой секрет, но...

В тот вечер Г. узнал, что Булич имеет доступ к секретной карте. Теперь надо было подумать, как снять с нее копию. Он тщательно разработал план, но не мог взять все на себя — ему нужен был посредник.

Г. прекрасно помнит, как к нему заявился Димитриос: среднего роста человек, которому можно было дать и тридцать пять, и пятьдесят (напомню, что на самом деле ему было тридцать семь лет). Он был одет по моде и... Но лучше я предоставлю слово Г.

«Он изо всех сил старался создать «шикарное» впечатление, но, как ни пыжился, как ни задира нос, достаточно мне было посмотреть ему в глаза, и я тотчас раскусил его. Не спрашивайте, как я догадался, что он сутенер. По-видимому, у меня, как и у женщин, нюх на этих субъектов. Одевался он всегда элегантно, да и взгляд у него был умный. Мне это как раз понравилось, потому что я терпеть не могу молодчиков из подворотни. Хотя иногда приходится прибегать и к их услугам, но в принципе я против — уж очень трудно найти с ними взаимопонимание».

Заметим, что Димитриос не тратил времени попусту и за эти два года научился сносно говорить по-немецки и по-французски. Вот что Димитриос сказал Г.

— Я сразу же направился к вам. Хотя у меня были в Бухаресте дела, я все бросил, потому что много слышал о вас.

Г. объяснил, не вдаваясь в подробности и опуская некоторые важные детали (вновь принятому на работу необязательно раскрывать карты), что тому надо делать. Димитриос выслушал его не моргнув глазом. После того как Г. замолчал, он спросил, сколько ему заплатят за работу.

— Тридцать тысяч динаров, — сказал Г.

— Пятьдесят тысяч, — сказал Димитриос, — и предпочтительно в швейцарских франках.

В конце концов столковались на сорока тысячах швейцарских франков.

Тем временем Булич и его жена наслаждались жизнью. Бывая в местах, где проводят время богачи, мадам Булич постепенно привыкала к роскошной обстановке и уже не смотрела на мужа с презрением. За счет экономии (обеда и ужины оплачивал этот глупый немец) она могла теперь покупать свой любимый коньяк и, выпив, становилась сговорчивой. Ну, а впереди была радужная перспектива получения двадцати тысяч. Как-то, лежа в постели, Булич сказал жене, что у него почти прошел катар — вот что значит хорошо питаться. Между прочим, печальный конец этой истории уже был близок.

Заказ на морские бинокли получила чешская фирма. «Правительственный вестник», где и было опубликовано сообщение об этом, поступил в продажу в полдень. Купив газету, Г. немедленно отправился к граверу. В шесть часов вечера он был у министерства. Он видел, как Булич вышел из здания на улицу, под мышкой у него была газета. Даже



издалека было видно, что он очень расстроен. Г. пошел за ним.

Обычно Булич, точно на крыльях, летел к кафе. Сегодня он на секунду задержался, но затем решительно прошел мимо — нет, встретиться с немцем он не хотел.

Г. свернул в одну из боковых улиц и поймал такси. Через две минуты он догнал Булича. Попросив таксиста остановиться, он выскочил из машины и крепко обнял Булича. Не давая опомниться, он затащил его в машину, все время повторяя поздравления с успехом и слова благодарности. Затем сунул ему в руку чек на двадцать тысяч динаров.

— Но ведь вы же потеряли заказ... — промямлил Булич.

— Да неужели? — захохотал Г., как будто Булич сказал что-то очень остроумное. — Ах, да. Я совсем забыл сказать вам. Заявка была подана дочерним отделением нашей фирмы. Вот посмотрите сюда. — Он сунул Буличу одну из отпечатанных сегодня карточек. — Я редко ими пользуюсь — общеизвестно, что чешская фирма является филиалом дрезденской. Ну, а теперь надо как следует sprysnut' это дело!

Булич, справившись наконец с шоком, воспринял происходящее как должное. Он был уже сильно навеселе и понес такую околесицу насчет своего влияния в министерстве, что Г. едва сдерживался, чтобы грубо не одернуть его.

Г. сообщил под большим секретом, что будет еще дополнительный заказ на дальномеры. Мог ли Булич устоять против этого? Хитро улыбаясь, он напомнил, сколько трудов потратил, проталкивая давний заказ: видимо, надеялся на новое поощрение. Г., конечно, не ожидал такой прыти, но, посмеявшись про себя, тотчас согласился и вручил Буличу новый чек на десять тысяч динаров. Кроме того, он обещал еще десять тысяч, когда заказ будет размещен на предприятиях фирмы. Итак, теперь у Булича было тридцать тысяч динаров. Спустя два дня Г. пригласил его с женой поужинать в один из самых дорогих ресторанов и там познакомил супругов с бароном фон Кислингом. Думаю, вы уже догадались: конечно, это был Димитриос.

— Глядя на него, — говорит Г., — вы могли бы подумать: он всю жизнь только и делал, что проводил время в шикарных отелях и ресторанах. Сразу был виден человек с безупречными аристократическими манерами. Когда Г. представил ему Булича как важного чиновника из министерства, Димитриос снисходительно подал ему руку. Наоборот, с мадам Булич он вел себя по-другому. Г. видел это своими глазами — он, прежде чем поцеловать ей руку, сначала пощекотал ей ладонь. Простите, я немного забежал вперед.

Димитриос заранее появился в ресторане. Г., притворившись, будто не ожидал его здесь встретить, сообщил супругам, что это барон фон Кислинг, всемирно известный банковский воротила. Когда же «барон» пожелал выпить вместе с ними бокал шампанского, они были на седьмом небе от счастья. С трудом подбирая немецкие слова, они старались выразить благодарность за оказанную им честь. Вероятно, Булич с замиранием сердца думал: вот она, цель жизни — вот один из хозяев жизни, которые либо помогают выйти в люди, либо, скомкав, как ненужную бумажку, выбрасывают на помойку. Наверняка он мечтал о том, что, быть может, «барон» поможет ему. Хорошо было бы стать директором какой-нибудь компании, принадлежащей «барону»: большой дом, слуги, — вот какие мысли носились у него в голове.

К их столику подошла цветочница. Димитриос выбрал самую большую и самую красивую орхидею и широким жестом вручил ее мадам Булич, сказав, что он просит принять этот цветок как дар от восхищенного ее красотой поклонника. Он достал из кармана бумажник и раскрыл его — из него выпала на стол толстая пачка денег. Каждая купюра была по тысяче динаров.

Извинившись, он положил деньги в бумажник и сунул его в карман. Г. (так и было задумано) сказал, что носить с собой большую сумму не очень разумно, и спросил «барона», зачем это нужно. «Получилось совершенно случайно, — сказал «барон». — Просто был у Алессандро и выиграл эти деньги. Бывали ли вы, мадам, у Алессандро?» — спросил он. «Нет», — отвечала она. И пока «барон» рассказывал, как все здорово устроено у Алессандро, где, не в пример другим игорным домам, все зависит только от вашей удачи, а не от искусства крупье, супруги угрюмо молчали — они отродясь не видели столько денег. «Конечно, мне сегодня ужасно везло, — закончил Димитриос, устремив свои горячие черные глаза на мадам. — Если вы никогда не были у Алессандро, то мне доставит громадное удовольствие сопровождать вас к нему».

Супруги были не в силах побороть искушение. Разумеется, их ждали и все тщательно подготовили. Рулетка была исключена, потому что здесь мошенничество практически исключалось. Была выбрана карточная игра *trente et quarante*. Минимальная ставка — двести пятьдесят долларов.

Итак, все готово — фарс начинается. Появляется Алессандро, и «барон» знакомит его с супругами Булич. Узнав, в чем дело, тот разводит руками: какой может быть разговор? Друзья «барона» — его друзья. Да и причин для волнений пока нет — вот если бы господам не повезло, тогда, конечно, другое дело.

Г. считает, если бы Димитриос не помешал разговору супругов между собой, они бы ни за что не сели за стол. Да, сейчас у них было тридцать тысяч динаров, но, зная о том, сколько еды и всякого добра можно было бы купить на одну карточную ставку, они не рисковали бы их потерять. Супруги стояли возле кресла Г. и следили за игрой. И вот тут-то Димитриос шепнул на ухо Буличу, что ему нужно поговорить с ним о деле, и предложил пообедать вместе в самое ближайшее время.

Как Димитриос и рассчитывал, шепоток этот произвел на супругов неизгладимое впечатление. Небрежно брошенные «бароном» слова для Булича могли означать только одно: «Дорогой мой, даже если вы проиграете несколько сот динаров, не стоит из-за этого расстраиваться — вы мне понравились. Так что не портите то хорошее впечатление, которое вы на меня произвели».

И мадам Булич села играть.

Она проиграла свою первую ставку, потому что у нее была не та масть, вторую — потому что у нее был перебор. Димитриос, который советовал действовать как можно осторожнее, предложил сыграть *à cheral*. В результате — проигрыш, потом еще один.

Спустя час она проиграла пять тысяч динаров. Явно симпатизировавший ей Димитриос, чтобы утешить ее, дал ей пять фишек, по сто динаров каждая, из той кучи, которая громоздилась перед ним, и сказал, что это должно «принести ей счастье». Для Булича все происшедшее было чем-то вроде изощренной пытки, и он, считая, что это подарок, промямлил что-то нечленораздельное вроде: «Спасибо, но лучше не надо». Мадам Булич тем временем совсем потеряла голову. Ей иногда везло, но проигрыши случались гораздо чаще. В половине третьего игра закончилась. Булич подписал долговую расписку на имя Алессандро в том, что он обязуется выплатить ему двенадцать тысяч динаров. На прощание Г. угостил супругов шампанским.

Можете себе представить, какая сцена произошла между супругами, когда они вернулись домой: упреки, слезы, взаимные обвинения. Все-таки мрак не был таким уж безнадежным: ведь завтра «барон» пригласил Булича пообедать вместе с ним и обсудить кое-какие деловые вопросы.

Встреча, конечно, состоялась. Причем Димитриосу было дано указание ободрить Булича. «Барон» рассказывал, какие баснословные доходы имеют его друзья, какой у него чудесный замок в Баварии — у Булича от этих рассказов сладко замирало сердце. Какие-то двенадцать тысяч? Да чепуха — теперь он заработает миллионы.

Димитриос первым заговорил об уплате долга Алессандро. Он предложил пойти сегодня же к нему и все уладить. Он сам сядет за стол и будет играть. Что же касается проигрыша, то ведь без него не бывает и выигрыша. Надо, чтобы они играли вдвоем — женщины только портят все дело.

Когда Булич начал игру, у него было сорок фишек. Через два часа ни одной. Он взял в долг еще двадцать фишек, заявив, что счастье переменчиво. Странно, но ему не пришло в голову, что он имеет дело с шулерами. Вероятно, пример «барона», который тоже много проиграл, создавал иллюзию честной игры. Он еще раз взял в долг и опять все проиграл. Когда, наконец, решил остановиться, проигрыш составлял тридцать восемь тысяч динаров. Он был бледен, как полотно; по лицу его струился пот.

Теперь Г. и Димитриос могли вить из него веревки. На следующий день они позволили ему выиграть тридцать тысяч. В третий раз он проиграл четырнадцать тысяч. В четвертый раз, когда он был уже должен двадцать пять тысяч, Алессандро потребовал вернуть долг. Булич обещал сделать это в течение недели. Естественно, Г. был первым, к кому обратился он за помощью.

Г. с участием выслушал его. Но ведь двадцать пять тысяч не шутка, не правда ли? Конечно, он мог бы помочь, но средства, которыми он располагает, принадлежат не ему лично, а фирме, поэтому он не распоряжается ими по своему



усмотрению. Все, что он может, это дать ему займы на несколько дней двести пятьдесят динаров. Больше он, к сожалению, ничего сделать не может, потому что... Булич взял у него деньги.

Г. посоветовал ему обратиться к «барону», который всегда принимает близко к сердцу трудности своих друзей. Нет, займы «барон» не дает (у него принцип: никогда не давать займы), но он дает своим друзьям возможность заработать большие деньги. Почему бы не побеседовать с ним?

«Беседа» состоялась в гостиной номера, который «барон» занимал. Заказанный Буличем ужин на две персоны был подан прямо в номер. Г., запершись в ванной, подслушивал.

Преодолев некоторое смущение, Булич наконец взял быка за рога: что было бы, если бы он отказался платить Алессандро?

Димитриос гневно отверг это предположение. Булич наконец понял: его тотчас выгонят из министерства. Наверняка всплывет и то, что он брал деньги у Г. Никто же не дает деньги за одни только красивые глаза — значит, здесь что-то есть, а это уже грозило тюрьмой. Буличу оставалось только одно: выпросить деньги у «барона».

После долгих упрямствований «барон», наконец, сдался и сказал, что кое-кого из его знакомых интересует информация, которую они не могут получить по обычным каналам. Эти люди могли бы заплатить за информацию тысяч пятьдесят, если все будет сделано без шума.

Между прочим, Г. приписывал свой успех (для него это слово означает совершенно то же самое, что и для хирурга, если оперированный выжил после операции) тщательно продуманному манипулированию с деньгами. Первая взятка в двадцать тысяч, затем долги Алессандро, который был агентом Г., и, наконец, предложенные Димитриосом пятьдесят тысяч были этапами психологической обработки Булича.

Сразу сломать Булича не удалось. Когда он понял, что от него требуется, он, конечно, сначала испугался, но потом впал в настоящее бешенство. Видимо, у него наконец-то спала с глаз пелена, потому что он несколько раз выкрикнул: «Шпион... подонок». Действительно, после этих слов «барон» перестал изображать из себя занятого филантропией аристократа и собственноручно подавил бунт. Удар ногой в живот согнул бедного Булича пополам и вызвал приступ рвоты. Затем последовал удар ногой в лицо, после чего, бросив его в кресло, Димитриос еще раз объяснил, что у него нет другого выхода.

Все было очень просто: Булич должен был принести карту после работы в отель и положить ее на место на следующий день.

На следующий день вечером Димитриос получил карту. Отнес ее Г., который немедленно занялся фотографированием и проявлением пленки, Димитриос вернулся в гостиную и не спускал глаз с Булича пока Г. не дал ему знать, что карта больше не нужна. Затем Димитриос вручил Буличу карту и деньги и тот, не вымолвив ни единого слова, удалился.

Г., находившийся все это время в спальне, говорит, что звук захлопнувшейся за Буличем двери был для него слаще музыки. В самом деле, негатив обошелся в весьма умеренную сумму. Если Булич незаметно вернет карту, то получится, что и волки сыты, и овцы целы.

И в этот момент в спальню вошел Димитриос.

Г. сразу понял, какую ошибку он совершил.

— Позвольте получить то, что причитается мне за работу, — сказал Димитриос, протягивая руку.

Г. согласно кивнул головой и пожалел о том, что пришел без оружия.

— Вам придется пройти со мной, — сказал он и шагнул к двери.

Димитриос отрицательно покачал головой.

— То, что мне причитается, у вас в кармане.

— То, что у меня в кармане, причитается мне, а не вам.

Ухмыльнувшись, Димитриос достал револьвер.

— Поднимите руки, mein Herr, и держите их на затылке.

Г. подчинился. Сделав два шага, Димитриос остановился.

Г. говорит, что он только теперь понял грозящую ему опасность.

— Только, пожалуйста, без глупостей, mein Herr.

Улыбка вдруг исчезла с его лица. Он сделал еще один шаг и, ткнув револьвером Г. в живот, сунул свободную руку в карман пиджака и вытащил пленку. Потом, отскочив в сторону, сказал:

— Теперь можете уходить.

Г. ушел. Но и Димитриос, в свою очередь, совершил ошибку.

В ту ночь агенты Г. с завербованными уголовниками прочесывали Белград, пытались схватить Димитриоса. Но Димитриос как сквозь землю провалился — больше его Г. никогда не видел.

Вы спросите, что стало с негативом? Вот ответ Г.:

— Когда на следующий день стало ясно, что он ушел от нас, мне — как это ни горько, ведь вся моя работа пошла насмарку — ничего не оставалось, как рассказать о происшедшем работнику германского посольства, который был моим приятелем и кое-чем был обязан мне. Спустя два-три дня после этого памятного вечера мне стало известно, что Димитриоса видели вместе с человеком, который работал на французскую разведку, так что германскому посольству представилась прекрасная возможность оказать услугу правительству Югославии. Как вы думаете, могло оно не воспользоваться этим?

— Если я правильно понял, — сказал я, — вы поступили вполне сознательно, известив югославские власти о том, что карта побывала в чужих руках?

— К сожалению, у меня не было другого выхода. Будучи новичком в нашем деле, Димитриос совершил непростительную ошибку, выпустив меня живым. Он, наверное, думал, что я легко опять заполучу карту, шантажируя Булича. Но эта карта теперь не имела для меня никакой ценности — во-первых, потому что секретные сведения стали известны другой разведке, а, во-вторых, потому что, сообщая сведения, уже известные другой разведке, разведчик роняет свой престиж. Конечно, я был очень зол на самого себя. Единственным утешением было только то, что Димитриос получил от французсов половину договорной цены за информацию, как будто они догадывались, что она уже устарела. Впрочем, она стала таковой чуть позже, после предпринятого мной демарша.

— Что стало с Буличем?

Черты лица Г. исказила брезгливая усмешка.

— Жаль, конечно, что все так получилось. Я обычно беру на себя ответственность за судьбу тех, кто на меня работает. Его арестовали чуть ли не на другой день. Он рассказал властям все, что знал о Димитриосе. Это и спасло ему жизнь — он был приговорен к пожизненному заключению. Я уже приготовился к тому, что власти будут разыскивать и меня: в конце концов ведь это я познакомил его с Димитриосом. Но, как ни странно, меня не тронули. Подумав, я решил, что он, возможно, боится дополнительного обвинения в получении взятки, либо сделал это из благодарности за те двести пятьдесят динаров, которые я дал ему в последний раз. Весьма вероятно, он так и не догадался, кто стоял за всем этим. Как бы то ни было, мне это очень пригодились: ведь я еще не закончил свою работу в Белграде и, если бы за мной началась слежка, мне пришлось бы переменить паспорт и — что самое для меня неприятное — прибегнуть к гриму. Судите сами, насколько это усложнило бы мне жизнь.

Я задал последний вопрос, и вот что он мне ответил:

— Да, я сфотографировал новую карту. Правда, на этот раз я пошел другим путем. Вернуться с пустыми руками я не мог, хотя бы потому, что ухлопал на это мероприятие кучу денег. Кстати, в нашем деле всегда так: хорошо, если огромные силы и средства тратятся хотя бы не впустую. Вы, наверное, думаете, что я просчитался, поставив на Димитриоса. Полагаю, это не справедливо. Ведь моя ошибка заключалась только в том, что Димитриос казался мне таким же жадным до денег дураком, каких миллионы. Каково же было мое удивление, когда он отнял у меня пленку, не дожидаясь сорока тысяч. Эта ошибка в прямом смысле слова стоила мне очень дорого.

— Ошибка эта особенно дорого обошлась Буличу, — сказал я с каким-то мстительным удовольствием и пожалел об этом, потому что Г. нахмурился.

— Я хочу напомнить вам, уважаемый месье Латимер, — начал Г. свою отповедь, — что Булич был изменником родины и получил по заслугам. Сантименты по отношению к таким, как он, просто недопустимы. Кроме того, как известно, на войне и убивают, а Буличу здорово повезло, что он остался жив, — обычно таких, как он, расстреливают. Рискую прослыть в ваших глазах беспредельно жестоким, я заявляю, что тюрьма для него дом родной. Ведь, в сущности, ему не нужна была свобода. Жена только и ждала подходящего случая, чтобы бросить его. Уверен, она прекрасно устроилась.

Мое письмо, дорогой Марукакис, подходит к концу. Думаю, я утомил вас. Все-таки надеюсь, что вы напишете



охотнику за призраками и скажете мне, есть ли хоть какой-то смысл в исследовании прошлого. Между прочим, я начинаю сомневаться в этом. Согласитесь, история получается ну совершенно никчемная — ни героя, ни героини; одни только дураки и негодяи. А вам, быть может, кажется, что только одни дураки?

Но уже и так я отнял у вас слишком много времени, чтобы еще предаваться риторике. Сейчас начну упаковывать вещи. На днях я брошу вам открытку с моим новым адресом и надеюсь получить от вас письмо. Во всяком случае, мы вскоре непременно увидимся.

С наилучшими пожеланиями

Ваш Чарльз Латимер

## Восемь ангелов

Латимер прибыл в Париж хмурым ноябрьским днем. На вокзале он взял такси и поехал на остров Сите, в отель. Над городом нависли черные тучи. Они мчались на юг, гонимые сильным северным ветром. Он подумал, что дома на набережной Кэ-де-Корс выглядят как-то особенно неприветливо и таинственно. У него было такое ощущение, будто за ним кто-то следит. Улицы были пустынные — редко-редко появлялся торопливый прохожий. Париж был мрачен, как старинная гравюра, изображающая кладбище.

У Латимера вдруг упало настроение. Поднимаясь по лестнице к себе в номер, он всерьез подумывал о том, чтобы вернуться в Афины. В номере было холодно. Не зная, чем заняться, он решил побывать в тупике Восьми ангелов и посмотреть на дом под номером три. Не без труда отыскал он это место: тупик ответвлялся от улицы, пересекавшей Рю де Ренн.

Вход в тупик преграждали высокие железные ворота, которые, очевидно, никогда не запирались. Довольно широкая мостовая была выложена крупным булыжником. Слева шла высокая железная решетка с пиками наверху, отделявшая тупик от прилегающего жилого квартала, справа была глухая стена, на которой черной масляной краской, сильно облупившейся, было написано: «Вывешивать афиши запрещается. Распоряжение от 10 апреля 1929».

Затем тупик делал крутой поворот. Здесь-то, в самом его конце, и находились три дома, хорошо спрятанные от случайного прохожего, зажатые между глухой стеной отеля, по которой, точно змеи, проходили канализационные трубы, и другой стеной неизвестного происхождения. Усмехнувшись, Латимер подумал, что жизнь в тупике Восьми ангелов была своеобразной подготовкой к переходу в лучший мир. Видимо, эта мысль приходила в голову каждому, кто тут появлялся. Возможно, поэтому два дома из трех были заколочены, и только в третьем, кажется, жили люди, да и то лишь на самом верхнем, четвертом этаже.

У Латимера было такое чувство, точно он вторгся в чужие владения. Он решил подойти к дому номер три поближе. Дверь подъезда была распахнута настежь. За нею выстланный плиткой коридор, в конце которого — небольшой, находившийся несколькими ступенями ниже, холл. Справа по коридору комната консьержки, но в ней давно уже никто не сидит. К стене прибита доска, где-то когда-то вывешивался список жильцов, а теперь был прикреплен кнопкой грязный клочок бумаги, на котором чернильным карандашом прыгающими печатными буквами была написана фамилия единственного жильца — Кель.

— Ну, что ж, — подумал Латимер, — теперь он по крайней мере знает, что мистер Питерс не выдумал адрес, который сообщил ему. Он повернулся и вышел на улицу. На Рю де Ренн зашел на почту, купил открытку и, написав на ней адрес отеля, в котором остановился, отправил ее мистеру Питерсу. Дальнейшее во многом зависело от того, какие шаги предпримет тот, но прежде Латимеру необходимо было в обязательном порядке познакомиться с сообщениями парижской прессы о нашествии в декабре 1931 года процессе над бандой торговцев наркотиками.

В 9 часов утра, сразу после завтрака, Латимер отправился в редакцию одной из газет просмотреть старые подшивки. В номере от 29 ноября 1931 года была помещена заметка под заголовком «Торговцы наркотиками арестованы»: «Вчера в квартале Алеся арестованы мужчина и женщина, замешанные в торговле наркотиками. Полагают, что они принадлежат к давно разыскиваемой банде иностранцев, снабжающей наркоманов. Как сообщили нам из полиции, в течение ближайших дней будут произведены дальнейшие аресты».

Несколько скуповато и весьма загадочно, подумал Лати-

мер, обратив внимание на то, что в заметке отсутствовали фамилии задержанных. Вероятно, заметка представляла собой резюме более обширного полицейского протокола. Полиция считала целесообразным не сообщать имена, пока следствие не закончено.

Следующее сообщение появилось 4 декабря под заголовком «Еще трое из банды арестованы»:

«Вчера поздно ночью в кафе вблизи Порт д'Орлеан были арестованы три человека, принадлежащие к преступной организации по продаже наркотиков. Появившиеся в кафе полицейские были вынуждены открыть огонь, так как один из задержанных был вооружен и предпринял отчаянную попытку к бегству. Он был задержан, получив небольшое ранение. Двое других, из которых один оказался иностранцем, без сопротивления сдались полиции».

Итак, число арестованных членов банды составляет теперь пять человек. Арестованные неделю назад мужчина и женщина, как полагают, принадлежат к той же банде.

Полиция намеревается произвести дальнейшие аресты, поскольку в Бюро по борьбе с наркотиками имеются улики против некоторых лиц, связанных с этой бандой.

Месье Огюст Лафон, директор Бюро, сделал следующее заявление: «Нам давно было известно о существовании банды. Бюро была проделана кропотливая работа по расследованию ее преступной деятельности. И все-таки мы воздерживались от скоропалительных арестов, так как нам нужно было взять вожakov. Только арест вожakov и прекращение контрабанды наркотиков из-за границы могли покончить раз и навсегда с гнусными торговыми наркотиками, которые наводнили Париж. Я убежден, что нам удастся полностью уничтожить эту банду, равно как и другие, подобные ей».

Наконец 11 ноября в газете появилась следующая заметка: «Банда торговцев наркотиками уничтожена. Новые аресты. «Теперь они в наших руках» — говорит Лафон. Совет семи».

Шестеро мужчин и одна женщина находятся сейчас под арестом в результате акции, проведенной месье Лафоном, директором Бюро по борьбе с наркотиками.

Как мы уже сообщали, две недели назад в квартале Алеся были арестованы женщина и мужчина, ее сообщник. В завершение этой акции вчера в Марселе арестованы два человека, которые, как полагают, являются последними членами банды, именуемой себя «Совет семи», преступная деятельность которой наконец прекращена.

По просьбе полиции мы не сообщали читателям фамилии арестованных, дабы избежать возможных помех при ведении расследования. Поскольку в этом нет больше необходимости, мы сообщаем их читателям.

Единственная женщина среди арестованных, Лидия Прокофьева, русская, прибыла во Францию из Турции в 1924 году с паспортом, выданным организацией Нансена. В преступном мире она известна под кличкой «Великая герцогиня». Арестованной вместе с ней голландец Манус Виссер благодаря связи с Прокофьевой получил кличку «Герцог».

Приводим имена остальных: Луи Галиндо, принявший французское гражданство мексиканец, находится сейчас с пулевым ранением бедра в больнице; Жан-Батист Ленотр, француз из Бордо, и Жакоб Вернер, бельгиец, были арестованы вместе с Галиндо; Пьер Ламар, по кличке «Любимчик», и Фредерик Петерсен, датчанин, были арестованы в Марселе.

В заявлении, сделанном вчера для печати, месье Лафон сказал: «Теперь они в наших руках. Наконец-то банда уничтожена. Отрубив голову, мы тем самым умертвили ее мозг. А лишнее мозга тело быстро умирает. Итак, с бандой покончено».

Петерсену и Ламару предстоит сегодня допрос у следователя. Суд над арестованными ожидается в самое ближайшее время.

Советуем читателям обратить внимание на статью «Тайны банды торговцев наркотиками», помещенную на стр. 3».

Латимер приступил к чтению статьи на третьей странице.

Автор, скрывшийся под псевдонимом «Бдительный», сообщил читателю, что морфий имеет химическую формулу  $C_{17}H_{19}O_3$  и является производным от опиума; что в медицине применяется гидрохлорид морфия; что героин (диацетилморфин), другой алкалоид, производный от опиума, наиболее популярный из всех наркотиков, потому что более эффективен и быстрее действует; что кокаином получают из листьев тропического кустарника коки и употребляют в виде гидрохлорида кокаина (химическая формула  $C_{17}H_{21}O_4 \cdot HCl$ ); что все эти вещества способствуют сексуальной возбудимости, созда-



ют вначале у человека, принимающего их, чувство физического и душевного комфорта, которое затем сменяется чувством душевного краха, а впоследствии приводит к полной физической и умственной деградации, вызывая при этом у наркомана такие муки, которые не могли бы причинить ему самые изощренные пытки. Доставка наркотиков потребителю была поставлена так хорошо, что любой житель Парижа или Марселя, пожелавший иметь наркотик, мог получить его. В каждой европейской стране имеются тайные лаборатории, производящие наркотики. Их мировой объем производства в сотни раз превышает медицинские нужды. Общее число наркоманов в одной только Западной Европе составляет несколько миллионов человек. Контрабанда наркотиков представляет собой широко разветвленный и хорошо организованный бизнес. Далее автор приво­дил список последних конфискации наркотиков полицией: 16 кг героина было найдено в ящиках с машинным оборудованием, отправленным из Амстердама в Париж; 25 кг героина было спрятано между двойными стенками цистерны с нефтью, доставленной из Нью-Йорка в Шербур; 10 кг морфия нашли под вторым дном сундука для вещей в каюте парохода, пришедшего в Марсель; 200 кг героина было обнаружено в лаборатории, находящейся в одном из гаражей вблизи Лиона.

Разносчики наркотиков находились под контролем банд, во главе которых стояли богатые, всеми уважаемые люди. Полиция была подкуплена этими подонками. В Париже имелись бары и дансинги, где продажа наркотиков происходила прямо на глазах полиции. Разносчики потешались над полицейскими. Статья заканчивалась патетической тирадой: «Полиция провела акцию против этих негодяев. Будем надеяться, что не последней. Между тем тысячи французов и француженок обречены на адские муки хозяевами дьявольского бизнеса, который подрывает здоровье и силу нации». Для Латимера было очевидно, что «Бдительный», несмотря на все свое негодование, ничего не знал о подлинных тайнах банды.

После ареста «Совета семи» интерес прессы к этому делу заметно остыл. Возможно, не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что «Великая герцогиня» была переведена в Ниццу, где ей предъявили обвинение в мошенничестве, которое она совершила здесь тремя годами раньше. Суд над остальными был скорым. Галиндо, Ленотра и Вернера приговорили к штрафу в размере пяти тысяч франков и трем месяцам тюрьмы; Ламар, Петерсен и Виссер были приговорены к двум тысячам франков штрафа и к одному месяцу тюрьмы.

Латимера не на шутку удивила мягкость приговора. «Бдительный» вновь выступил на страницах газеты с комментариями по этому поводу. «Благодаря тому, что суд опирается на давно устаревшие и во многом абсурдные законы, — гре­мел он, — вынесен этот странный приговор. Будь все иначе, каждый из шестерых мог быть приговорен к пожизненному тюремному заключению. Неужели у кого-то может возникнуть мысль, что один из этих шести вожак банды? О, нет! Очевидно, никому из полицейских не могло прийти в голову, что кто-то из этих крыс мог организовать дело, которое, согласно показаниям, данным в суде, приносило только в течение одного месяца доход свыше двух с половиной миллионов франков».

Автор заметки явно намекал на то, что полиция словно забыла о существовании Димитриоса. Разумеется, полиция не собиралась развенчивать мысль о своей проницательности — в противном случае ей пришлось бы поведать читателям о том, что арест банды стал возможен только благодаря доносу пожелавшего остаться неизвестным доброжелателя, который, как справедливо предполагала полиция, и был вожаком банды. Латимеру стало досадно, потому что чтение старых газет, предпринятое им с целью выяснения некоторых темных вопросов, ничего не дало — он знал гораздо больше, чем те, кто писал эти заметки.

Он уже хотел захлопнуть подшивку, как взгляд его вдруг упал на фотографию, помещенную в газете. Обычная газетная иллюстрация, от которой нельзя было ожидать слишком многого: полицейский, к которому прикованы трое заключенных. Они заметили репортера и пытались отвернуться от объектива, но это им так и не удалось.

Выйдя из редакции, Латимер отметил, что к нему опять вернулось хорошее настроение.

В отеле его ждала открытка. Мистер Питерс извещал о том, что он навестит его в шесть часов вечера.

Мистер Питерс появился в половине шестого. На Латимера обрушился водопад приветствий.

— Дорогой и уважаемый мистер Латимер! Мне трудно выразить словами, как я рад, что снова вижу вас. Наша последняя встреча была сопряжена с такими ужасными обстоятельствами, что я не смел даже надеяться, что... Но, мне кажется, мы могли бы поговорить и о более приятных вещах. Я приветствую вас! Добро пожаловать в Париж! Надеюсь, доехали благополучно? Расскажите, как вам показались Гродек? Он написал мне, что вы не только понравились ему, но просто очаровали его. Он один из тех, кого зовут добрый малый, не так ли? Как вам его кошки? Он прямо-таки их боготворит.

— Общение с ним было очень полезно. Что же вы стоите, садитесь, пожалуйста.

— Я хорошо знаю, как много пользы приносит общение с Гродеком.

На лице мистера Питерса засияла сладостно-горестная улыбка, и, глядя на улыбающегося мистера Питерса, Латимер подумал: нечто подобное испытываешь, когда случайно встретившийся на улице знакомый, которого вы искренне и глубоко ненавидите, вдруг поздорова­ется с вами.

— Вот только не знаю, зачем ему понадобилось напускать на себя такой таинственный вид, — продолжал Латимер. — Между прочим, он настаивал, чтобы я обязательно поехал в Париж и повидал вас.

— Вот как?

Кажется, мистеру Питерсу это не очень понравилось, и его улыбка заметно поблекла.

— А что еще он сообщил вам, мистер Латимер?

— Он сказал, что вы умный человек. Ему, видимо, показалось забавным все, что я рассказал.

Мистер Питерс наконец-то осторожно присел на кровать. Улыбка совершенно исчезла с его лица.

— И что же вы ему рассказали?

— Во-первых, он пожелал узнать, какие у меня могут быть с вами дела. Я с ним был совершенно откровенен, — злорадно сказал Латимер. — И рассказал ему все то немногое, что мне известно. Я понимаю, что вам это может не понравиться, но прошу меня простить, ведь ваши изумительные планы до сих пор остаются для меня неизвестными.

— Теперь я понимаю, почему его письмо ко мне написано в таком легкомысленном тоне. Впрочем, я рад, что благодаря вам он удовлетворил свое любопытство. В этом мире богачи часто завидуют тем, у кого дела идут в гору. И хотя Гродек мне друг, но его помощи в нашем деле не требуется. Он, вероятно, это понял, хотя, быть может, и хотел бы в нем участвовать.

Латимер как замороженный смотрел на него. Вдруг у него вырвалось:

— Вы, конечно, не забыли взять с собой пистолет, мистер Питерс?

Толстяк сделал вид, что этот вопрос ему ужасно неприятен.

— Господь с вами, мистер Латимер. С какой стати я должен таскать с собой эту штуку, раз я пришел в гости к другу?

— Очень хорошо, — сказал Латимер резко.

Он встал и запер дверь на ключ.

— Мне очень не хочется выглядеть негостеприимным, но и моему терпению приходит конец. Приехав сюда Бог знает из какой дали, я до сих пор не понимаю, зачем я это сделал. Теперь очень хочу это знать.

— И, безусловно, все узнаете.

— Я это слышал и раньше, — грубо оборвал его Латимер. — Но, прежде чем вы опять начнете разводить турусы на колесах, хотел бы обратить ваше внимание на две вещи. Признаюсь, мистер Питерс, я не из тех, кто любит навязывать свою волю другим. Более того, мистер Питерс, я искренне и глубоко ненавижу всякое насилие. Но ведь бывают же случаи, когда даже миролюбивцы прибегают к насилию. Мне кажется, я как раз на грани этого. Я гораздо моложе, и вы, вероятно, с этим согласитесь, физически сильнее вас. Если опять начнете увильгивать от ответа, то, предупреждаю вас, я применю силу. Вот что я хотел сказать во-первых. Ну, а во-вторых, я ведь знаю, кто вы. Ваша фамилия не Питерс, а Петерсен. Вас зовут Фредерик Петерсен, и вы были членом банды, торговавшей наркотиками. Возглавлял эту банду Димитриос. После ареста в декабре 1931 года вы были приговорены к тюремному заключению сроком на один месяц и штрафу в размере двух тысяч франков.

Мистер Питерс попытался улыбнуться.

— Вы узнали это от Гродека? — спросил он тихо и печально, и Латимер подумал, что ему, наверное, очень хотелось сказать: «Вам все рассказал этот Иуда?»



— Нет. Я видел вашу фотографию в старой газете.  
— Вот оно что... Мне трудно было поверить, что Гродек...  
— Итак, это правда?  
— Конечно. Конечно, это правда.  
— Ну что ж, в таком случае, мистер Петерсен...  
— Питерс, мистер Латимер. Я решил переменить фамилию.

— Хорошо, пусть будет Питерс. Давайте перейдем теперь к третьему пункту. Еще в Стамбуле я узнал некоторые интересные подробности, касающиеся краха вашей банды. Мне говорили, что именно Димитриос выдал вас полиции. Это правда?

— Безусловно, он поступил очень скверно по отношению ко всем нам, — сказал мистер Питерс мрачно.

— Мне говорили, что Димитриос сам пристрастился к наркотикам. Это верно?

— Как ни печально, но это факт. Я думаю, вы со мной согласитесь: если бы не наркотики, не было бы и доноса в полицию. Ведь мы приносили ему огромный доход.

— Я слышал также, что многие из вас собирались отомстить за это Димитриосу.

— Я не собирался, — возразил мистер Питерс. — Хотя некоторые горячие головы, как, например, Галиндо, очень этого хотели. Каюсь, я солгал. Я все-таки взял с собой пистолет. Надеюсь, вы меня поймете? Своей скрытностью вы довели меня до отчаяния.

— Во всяком случае, вам бы это было на руку.

— Да поймите же наконец, мистер Латимер, — сказал мистер Питерс устало, — это вам не детективная история. Выбросьте наконец из головы все эти глупости. Подключите свое воображение и подумайте над тем, что Димитриос, очевидно, не оставил завещания в мою пользу. Ведь так? Но это значит, что неверно ваше предположение, будто я убил его из-за денег, не правда ли? Ведь вы, конечно, не думаете, что он держал свои сокровища в сундуке? Так что давайте, мистер Латимер, спустимся на землю и обсудим все как разумные люди. Давайте вместе пообедаем. Можно пойти ко мне, я угощу вас хорошим кофе. Мне, например, ваш номер совсем не нравится. Если же вы предпочитаете пойти в кафе, то я тоже согласен. Я знаю, что я вам не нравлюсь, и не хочу вас осуждать за это. Давайте вообразим, что мы питаем друг к другу теплые чувства.

Латимеру вдруг стало его жалко: последние слова он сказал печальным тоном и даже не улыбнулся. Кроме того, Латимер в самом деле вел себя довольно глупо — не доставало только, чтобы он вел себя как святоша или лицемер. И все-таки...

— Я тоже проголодался, — сказал он. — В самом деле, почему бы и не пойти к вам. Как и вы, я в отчаянии от постоянных трений между нами. Я только хочу вас предупредить, мистер Питерс, что если и на этот раз я не получу от вас удовлетворительного ответа — зачем я вам понадобился, то, уверю вас, — заметьте, мне наплевать на полмиллиона франков, — я немедленно покину Париж. Надеюсь, это ясно?

— Куда уж яснее, мистер Латимер, — сказал Питерс, улыбаясь. — Мне так нравится, когда вы искренни со мной. Что может быть лучше искренности? Как хорошо, когда наши сердца открыты друг другу, когда мы не боимся, что нас поймут неправильно! Как хороша тогда жизнь! Но нет — мы слепы, как кроты. И когда Всемогущий делает свой выбор, и кто-нибудь из нас совершает неблагоприятный поступок, не будем спешить осуждать его. Ведь свершилась Его воля, которую нам не дано понять. Как мы можем знать Его волю? Как, я вас спрашиваю?

— Я, право, не знаю.

— И никто не знает, мистер Латимер. Никому это не дано, если только он не окажется по ту сторону.

— Совершенно верно. Мне кажется, тут недалеко есть датский ресторан. Может, пойдем туда?

— Вы ошибаетесь, мистер Латимер, — сказал мистер Питерс печально и надел шляпу. — Вам почему-то доставляет удовольствие смеяться над стариком. В любом случае, я предпочитаю французскую кухню.

Спускаясь по лестнице, Латимер в который раз отметил удивительную способность мистера Питерса ставить его в неловкое положение.

Они пообедали в ресторане на Рю Жакоб, причем расплачивался мистер Питерс. Потом они отправились в тупик Восьми ангелов.

— Кто этот Кель? — спросил Латимер, когда они поднялись по грязной лестнице.

— Он сейчас в отъезде. В настоящий момент, кроме меня, здесь никто не живет.

— Понятно.

Тяжело дыша, мистер Питерс остановился на площадке второго этажа.

— Полагаю, вы сделали вывод, что я и есть этот самый Кель.

— Естественно.

Мистер Питерс продолжал восхождение по скрипевшим под его тяжестью ступенькам. Он был сзади похож на слона в цирке, который с явной неохотой взбирается по ступенькам пирамиды под хохот публики. Но вот наконец и площадка четвертого этажа. Мистер Питерс, тяжело дыша, достал ключи и начал открывать замок сильно обшарпанной двери. Распахнув ее, он включил свет и пригласил Латимера войти.

За занавесом, отделявшим прихожую, оказался довольно большой зал, по-видимому, занимавший весь этаж. Слева были двери на балкон. Обычная, правда, очень большая комната в обычном старом французском доме.

Но то, что Латимер там увидел, было просто фантастично. Прежде всего, конечно, занавес. Он был сделан из какой-то тяжелой золотистой ткани. Стены и потолок были выкрашены режущей глаза фиолетовой краской, на фоне которой сияли большие золотые пятиконечные звезды. Весь зал вплоть до самых углов был застелен марокканскими коврами, причем кое-где в два или три слоя. По стенам стояли три огромных дивана со множеством подушек. На полу валялись кожаные набитые войлоком турецкие подушки для сидения. Перед одним из диванов стоял сделанный в Марокко стол. В углу зала висел громадных размеров гонг. Зал освещали три подвешенных к потолку фонаря, искусно украшенных резьбой по дереву. В центре стоял небольшой обогреватель из хромированной стали. После улицы было трудно дышать пыльным воздухом.

— Вот мы и дома! — сказал мистер Питерс. — Раздевайтесь, мистер Латимер. Хотите, я покажу вам остальные апартаменты.

— С удовольствием.

Они вышли в прихожую и вновь поднялись по лестнице.

— Вот здесь моя спальня, — сказал мистер Питерс. — Как видите, мне удалось найти своего рода оазис в этой отвратительной пустыне.

Латимер увидел небольшую, низкую комнату, в ней кровать и неизменный марокканский ковер на полу.

— Здесь ванная и туалет.

На подзеркальнике лежала вторая запасная челюсть.

— А теперь, — сказал мистер Питерс, — я покажу вам кое-что интересное.

В углу стоял большой платяной шкаф. Мистер Питерс открыл дверцу и зажег спичку. К стене шкафа было привинчено несколько металлических крючков для одежды. Взявшись за один из них, он нажал на него — стенка шкафа отодвинулась в сторону, пламя спички заметалось, и Латимер почувствовал на своем лице струю холодного ночного воздуха и приглушенный шум большого города.

— Вдоль стены этого дома идет железная платформа, которая соединяется с другим домом. Там стоит точно такой же шкаф, хотя снаружи это обычная стена. Это Димитриос придумал, чтобы исчезать отсюда незаметно.

— Димитриос!

— Да, ведь это он купил все три дома. Из соображения безопасности они оставались без жильцов. По большей части они использовались как складские помещения. Зал был местом, где мы все собирались. Между прочим, все эти дома до сих пор принадлежат Димитриосу, хотя формально они были записаны на мое имя. Полиция, к счастью, ничего об этом не знала, и я, выйдя из тюрьмы, нашел здесь пристанище.

Мистер Питерс ушел и вернулся с марокканским подносом, на котором стояли необычной формы кофейники, спиртовая горелка, две чашки и коробка с марокканскими сигаретами. Он зажег горелку и поставил на огонь кофейники. Положив на диван рядом с Латимером коробку с сигаретами, он протянул руку, достал с полки одну книгу и начал листать ее. Из книги выпала небольшая фотография, и мистер Питерс нагнулся, поднимая ее с пола.

— Не узнаете? — сказал он, подавая ее Латимеру.

Выцветшая любительская фотография человека, которого он когда-то видел.

— Это Димитриос! — воскликнул Латимер.

Мистер Питерс взял у него фотографию и, сев на оттоманку, убавил огонь под кофейником.

— Итак, вы его узнали. Очень хорошо.



Впервые Латимеру показалось, что слезящиеся в набухших веках глаза мистера Питерса изучали что-то вроде блеска.

— Угощайтесь сигаретами, мистер Латимер,— сказал он.— Я собираюсь рассказать вам одну историю.

## Париж, 1928—1931

— Вечерами я люблю сидеть дома у огонька,— сказал мистер Питерс задумчиво,— и размышлять над тем, удалась моя жизнь или нет. Что касается денег, то они у меня есть: кое-какая недвижимость, рента, доленое участие в разном бизнесе — но не о деньгах речь. Ведь деньги в конце концов еще не все. Главный вопрос: на что я потратил свою жизнь, которая дается в этом мире лишь раз. Мне иногда кажется, что было бы гораздо лучше, если бы я обзавелся семьей, но у меня слишком беспокойный характер, меня слишком волнуют соблазны мира сего. Возможно, мне просто недоступно понимание смысла жизни. Но разве я один такой? Сколько моих бедных собратьев чего-то ждут, на что-то надеются, между тем как проходит бесследно год за годом, а они так и не поняли, для чего живут. Ну, в самом деле, для чего? Этого ведь никто из нас не знает. Деньги? Их добываются только тогда, когда их мало. Иногда мне кажется, что бедняк, имеющий хлебную корку, гораздо счастливее многих миллионеров. Потому что этот человек знает, чего он хочет: он хочет, чтобы у него были две корки. Он не знает в жизни сложностей, потому что не обременен имуществом. Тогда как я знаю только то, что я хочу чего-то, чего у меня нет. Но я не знаю, что это такое. Я искал утешения в искусстве и философии.— Он показал рукой на книжную полку.— Платон, Герберт Уэллс — круг моих интересов довольно широк. Пока читаешь, это доставляет удовольствие, но утешения это не приносит.— Он печально улыбнулся, а Латимер подумал: «Вот еще одна жертва неизлечимой болезни под названием *Weltschmerz*!». — Не остается ничего другого, как ждать, когда Всемогущий призывает на свой суд.

Да, мистер Латимер, подавляющее большинство так и не знает, чего им, собственно, нужно в жизни. Но Димитриос не был на них похож — он совершенно точно знал, чего он добивается. Его интересовали только две вещи: власть и деньги, причем как можно больше и того, и другого. И, как ни странно, я помогал ему в этом.

Моя первая встреча с Димитриосом произошла здесь, в Париже, в 1928 году. Я был тогда совладельцем одного заведения на Рю Бланш под названием *Le Kasbah Parisien*. Однажды мой компаньон Жиро привел его к нам. Он отвел меня в сторону и заговорил о том, что дела идут все хуже и хуже и что их можно поправить, если принять участие в бизнесе, которым занимается его новый друг Димитриос Макропулос.

Димитриос не произвел на меня большого впечатления, скорее наоборот. Он мне показался одним из тех, кого называли сброд, а на них я уже достаточно насмотрелся. Одет он был с иголочки, в волосах много седых волос, ногти наманикюрены. Он так нехорошо смотрел на женщин, что вызывал их явное неудовольствие. Жиро подвел меня к его столу, и мы пожали друг другу руки. Он жестом предложил садиться, и я почувствовал себя официантом, которого пригласил для разговора патрон. Я очень разозлился и довольно грубо спросил, какого черта ему нужно.

Он пристально посмотрел на меня — у него, представьте себе, были красивые карие глаза — и сказал: «Я хочу выпить бокал шампанского, мой друг. Надеюсь, вы не возражаете? Я могу себе это позволить, раз у меня есть деньги. Я хочу посоветовать вам быть повеселее, потому что в качестве партнера могу найти гораздо более разумных людей».

Я человек выдержанный и стараюсь избегать неприятностей. Мне всегда казалось, что мир, в котором мы живем, был бы намного приятнее, если бы мы научились разговаривать друг с другом вежливо и уважительно. Безусловно, бывают моменты, когда трудно удержаться и не наговорить грубостей. Вот и я тогда сказал, что не собираюсь быть с ним вежливым и пусть он убирается откуда пришел. Но тут вмешался Жиро, который стал перед ним извиняться. Димитриос выслушал Жиро, все время не отводя от меня глаз.

У меня было сильное предубеждение против Димитриоса, но все-таки я дал себя уговорить и согласился выслушать, что он предлагает. Говорил он убедительно, и мы начали работать вместе. И вот в один прекрасный день...

— Минуточку,— перебил его Латимер,— что это значит — работать вместе? Вы начали продавать наркотики?

— Нет, мистер Латимер,— сказал мистер Питерс, волнуясь и хмурая брови,— мы этим тогда еще не занимались.— Видимо, волнение было так велико, что он перешел на французский.— Раз уж вы так настаиваете, то я, конечно, расскажу вам, чем мы занимались. Только человеку из другой среды трудно понять такие вещи. Они вас сразу оттолкнули, потому что ваш личный опыт совсем другого рода.

— Неужели? — спросил Латимер, стараясь связать.

— Видите ли, мистер Латимер, мне как-то попала в руки одна из ваших книг, и я ее прочел. Она произвела на меня ужасное впечатление. Я был буквально взбешен созданной вами атмосферой нетерпимости, всевозможных предрассудков и строгих моральных принципов, проводимых в жизнь с холодной жестокостью.

— Понятно.

— Лично я,— продолжал мистер Питерс,— за смертную казнь. Мне кажется, вы — против. Вас, конечно, шокирует практическая сторона. Но ведь она — следствие варварской жестокости, которая, кстати, видна и в вашем романе. С каким жалким злорадством вы преследуете там этого несчастного убийцу. Мне это показалось отвратительным. Вы мне напомнили sentimentalного юнца, провозжающего на кладбище свою богатую тетюшку: в глазах у него стоят слезы, а сердце поет от радости. Вам, конечно, известно, что испанцам непонятно, почему англичане и американцы так выступают против боя быков. Этим простакам не приходит в голову, что надо было обязательно подвести под это дело моральные и юридические основания и сделать вид, что они очень сожалеют. Я прошу вас правильно понять меня, мистер Латимер. Я не вашего морального осуждения боюсь, я боюсь — глубоко и искренне, поверьте,— вас шокировать.

— Но ведь вы так пока и не сказали, в чем заключалось дело,— сказал Латимер, явно раздражаясь.

— Да-да, конечно. Прошу прощения, но мне показалось, что ваш интерес к Димитриосу во многом связан с тем, что он вас глубоко шокирует, не так ли?

Латимер задумался.

— Возможно, вы правы. Но, несмотря на это, я пытаюсь понять, объяснить, откуда берутся такие, как он. Я не верю в изощренного, точно дьявол, бесчеловечного убийцу-профессионала, о котором кричат все детективные книжки. Однако все, что я знаю о Димитриосе, говорит мне: он действовал жестоко и бесчеловечно не один или два раза, а постоянно.

— Но ведь нет ничего бесчеловечного в стремлении к деньгам и власти, не правда ли? Все мы тщеславны, а тщеславие лучше всего могут удовлетворить власть и деньги. Что касается Димитриоса, то его тщеславие сразу же бросалось в глаза. Оно было таким основательным, таким бескомпромиссным, таким непохожим на павлинье тщеславие обыкновенных людей, что он мне сразу показался опасным. И все-таки, мистер Латимер, будем разумными людьми и останемся, так сказать, на почве фактов! Ведь разница между Димитриосом и добившимся успеха уважаемым джентльменом не так уж велика: разница только в методах — в первом случае они незаконны, во втором случае находятся в рамках закона. Но в том и в другом случае дело ведется с одинаковой жестокостью.

Мистер Питерс разлил кофе в чашки и, поднеся свою к губам, вдохнул аромат. Потом поставил чашку на стол.

— Димитриос занимался в то время тем, что принято у нас называть, мистер Латимер, поставкой белых рабынь. Прошу обратить внимание на прилагательное «белых» и на существительное «поставка», которое весьма занимательно, так как за ним скрываются отвратительные вещи. Давно прошли дни работорговли, но замечательно, что большинство этих рабынь цветные. Какая-нибудь негритянская девушка из Даккара или молоденькая китайка из Харбина, хотя, конечно, среди них может оказаться и какая-нибудь нищая девчонка из Бухареста — разумеется, конец у всех один. Комитет Лиги Наций, занимавшийся этим вопросом, разумно поступил, отклонив это сочетание слов, и назвал то, чем занимался Димитриос, «торговлей женщинами».

(Окончание следует.)

<sup>1</sup> Мировая скорбь (нем.)





**Виталий  
КОРОТИЧ**

## НА ЕДИНЕ

*Главы из книги  
«Сохранить душу...»*

В партию меня забыли принять. Событие это достойно быть запечатленным, потому что других подобных случаев и не знаю.

Я окончательно расстался с медициной; на съезде писателей Украины меня единодушно определили в правление писательского Союза, а затем избрали его секретарем. Тогда же я стал главным редактором молодежного киевского ежемесячника «Ранок» — это были последние пароксизмы хрущевской оттепели, неотвратимо погружающейся в брежневское болото. У меня партийного билета не было, но этого то ли не заметили, то ли не сочли нужным учитывать — не знаю. Начинать я писательствовать и редакторствовать в одно время, но работать мне предстояло уже совсем в другое. В партии редактор обязан был находиться — хотя бы потому, что партийное членство было частью той самой круговой поруки, на которой Система держалась. Стало ясно, что или я уйду, или вступлю, — я подумал, что надо вступать. Меня ведь даже в ЦК не пускали без партбилета, а туда ходить приходилось часто: еще до набора все рукописи изымались, что называется, «на ковер», а часть рукописей не возвращалась в журнал никогда.

Заявление и рекомендации отправились путешествовать своими кругами, и вскоре меня вызвали на партийную комиссию Печерского райкома города Киева; журнал «Ранок» был прикреплен именно к этой районной коммунистической организации, где также состояли на учете все руководящие деятели партии и КГБ Украины. Райком находился в одном из старинных дворянских особняков, а рядом с ним высились жилые дома для тех, кто чувствовал себя новым дворянством, — их дома с улучшенной планировкой называли, как роман русского классика Тургенева, «Дворянское гнездо». Обитатели «дворянских гнезд» и составляли после ухода на пенсию авторитетный совет ветеранов, самый консервативный орган райкома — его парткомиссию.

Это было хорошим уроком. Позже я много раз убеждался в этом, но тогда едва ли не впервые в жизни с такой концентрированностью ощутил чужую немотивированную ненависть. Вокруг стола сидели гладенькие, чисто выбритые старички, мечтавшие свести счеты не со мной — со временем, с эпохой и ее недавней попыткой измениться. Как они ненавидели! Уже вначале двое или трое из них прочли мне по лекции о том, до чего подло Хрущев попытался разрушить славные идеалы, как нам надо шагать к коммунизму, сметая всех, кто идет с нами не в ногу. У старичков не было ни имен, ни фамилий: казалось, сама Система шипит на меня из их вставных челюстей, сама Система хочет поквитаться со временем.

Это было очень давно, но я навсегда запомнил тогдашние свои ужас и бессилие. И никогда не забуду, как я заплакал. Стыдно было плакать перед этой дрянью, но слезы потекли сами, и я увидел, как от этого людям вокруг стола стало еще лучше. Кто-то из них громко сказал, что «Москва слезам не верит», а еще один добавил, что и не такие перед ним плакали, но ни один не разжалобил.

Я встал. Как сейчас, помню клубок гнева, перехвативший мне дыхание, не дававший передохнуть. Уже ни о чем не думая, я заорал, что не хочу быть с такими вот в одной партии. Еще что-то я сказал, от чего глаза старичков недобро блеснули, вставные челюсти отвалились, и я снова ощутил всю силу гнева этих людей, всю их ненависть, направленную в меня. Встал, хлопнул дверью и ушел, не оглядываясь.

Назавтра мне в редакцию позвонил Бойченко, идеологический секретарь Киевского городского комитета партии. Он попросил ни с кем особенно не разговаривать о том, что случилось, и прийти к нему.

Это был непростой и запомнившийся мне разговор.

— Ты не представляешь себе, — сказал Бойченко, — сколько твоих коллег по литературе посмеются над твоим поведением. Ты постепенно поймешь, сколько из них унижаются и служат кому угодно, чтобы получить хорошую должность. И таких сцен перед парткомиссией не учиняют. Они пришли в Киев из своих деревень. Киева не знают, не понимают и не любят и готовы заплатить за свое возвышение на чужой территории чем угодно. Большинство из них, кстати, давным-давно уже в партии и не хотят, чтобы ты мог на эту партию влиять.

— Но я больше не пойду к этим бандитам. Если они снова будут издеваться надо мной, я швырну в ближайшего из них ручкой, чернильницей, стулом — что попадется...

— Когда они лет тридцать назад людей допрашивали,

Окончание. Начало см. в № 7.



в них и не таким швыряли, но это не помогло. Я сделал так, что тебе больше не придется туда ходить. Я сам прослежу за приемом. Ты подумай, о чем мы разговаривали, ты подумай...

Осенью 1967 года в партийную организацию журнала «Ранок» официально сообщили, что я принят в КПСС.

Через двадцать с лишним лет после того, как меня приняли в партию, уже редактируя «Огонек», я столкнулся с точно таким, как когда-то, сюжетом о непослушании и вздрогнул от неизменности догм Системы.

Молодой сотрудник «Огонька» Бирюков поехал с корреспондентом журнала «ЮС ньюс энд уорлд рипорт» по Транссибирской железной дороге. Они написали путевые очерки для своих журналов, и я запланировал очерк Бирюкова в праздничный номер к 7 ноября. Очерк был панорамой идущих в Сибири перемен с ясным уклоном к тому, что наше революционное дело всепобеждающе. Такие парадные очерки можно давать только в праздник. Так-то так, но в очерке был один момент, где исследователь общественного мнения в Новосибирске сообщает, что уже шестьдесят процентов сибиряков за перестройку — значит, скоро будут за перестройку все поголовно. Мы посоветовались и решили, что странно было бы, если бы очередной раз безоговорочно страна помчалась в указанном направлении. Даже хорошо, что вот сейчас — шестьдесят, значит, завтра будет еще лучше!

Очерк вышел в номере к 7 ноября. А накануне в своем докладе к этой дате Горбачев сообщил, что все советские люди, как один, приняли перестройку. У него, значит, сто процентов, а у нас на сорок меньше. Ясно, кто был не прав.

Мне позвонил человек, которого я уважал и уважаю в этой партии больше всех: Яковлев. Даже Яковлев. Он потребовал уволить Бирюкова.

Виноват молодой журналист был только в одном — в умышленном расхождении его мнения с мнением Генерального секретаря ЦК. Никто не обсуждал цифры, никто не вкапывался в их достоверность (как показало время, сторонников у перестройки было и поменьше шестидесяти процентов населения не только в Сибири, но и во всей стране). Мне пришлось маскировать Бирюкова в глубинах отдела, убирать его фамилию из журнала, чтобы сохранить парню работу. Я прекрасно понимал, что, если его уволить, он не устроится нигде.

— Убрали его? — спросил однажды Яковлев.

— Да, — соврал я. Было стыдно, и не потому, что соврал, а потому, что низменной оставалась Система. Бедняга Бирюков получил строгий партийный выговор в райкоме, нам указали на либерализм и рекомендовали убрать его из журнала. Бирюков работает у нас до сих пор, но жизнь парню испортили основательно. Лет десять назад его бы уничтожили, а лет сорок назад могли бы и расстрелять. У Системы менялась строгость, но не направленность наказаний.

Сколько раз меня хотели убрать или унижить — всегда обрабатывались не в суд, не к закону, а к Системе и к ее основе — партии. Уже совсем недавно тот же Яковлев показал мне донос, написанный на меня неплохим русским прозаиком депутатом Беловым, который требовал наказать и устранить меня из журнала, потому что я троцкист. Что понимал и понимает Белов в троцкизме, я не знаю. Думаю — ничего. Но он понимает, что именно надо написать партии, чтобы она занервничала и среагировала. На этот раз было хорошо — письмо попало к человеку образованному и умному. А разве мало в партии других? В том числе на верхних этажах власти?

### **«Привыкли к тому, к чему привыкать невозможно...»**

Система выделяла мне разные места в стройном ряду соотечественников. Помню, как я удивился, став редактором киевского журнала «Ранок» в 1956 году, когда мне буднично сообщили, что и семья моя отныне может пользоваться услугами поликлиники № 2 Четвертого управления.

Вскоре меня столкнули с этажей власти. Это длинная история, я ее рассказываю по кусочкам, но здесь важен результат: после короткого пребывания в начальных рядах я со свистом из них выбыл, перестав быть и редактором, и одним из руководителей писательского Союза. В то время у меня уже был сын, и парня угораздило простудиться. Высокая температура, боли в груди — похоже было на воспаление легких. Накануне утром у нас дома были врач

с медсестрой, сделавшие все, что положено: на завтра они должны были зайти снова, но не зашли. Накануне днем было завершено мое освобождение от всех должностей, с немой быстротой эта новость последовала в поликлинику, в ее аптеку — везде. Теперь уже можно было помирать, и никто из благословенного Четвертого управления в мою сторону и не глянет.

Впрочем, и я, сам того не сознавая, преподавал начальству один урок. Желая сосредоточиться на писательском Союзе, решил уйти из журнала. Решение было тем более обоснованным, что мне надоело проследивать, как самые интересные рукописи вместо наборного цеха уходят в ЦК и зачастую не возвращаются на страницы журнала. Я раздражал партийных шефов все больше, партийные шефы раздражали меня: короче говоря, пришло время уйти.

Решившись, я отпер сейф, добыл оттуда редакционный бланк и ввернул его в пишущую машинку. Подумал и напечатал следующее: «Я, Виталий Коротич, с сегодняшнего дня прекращаю редактировать журнал «Ранок». Обязанности главного редактора возлагаю на своего заместителя». И расписался. Приказ я собственноручно запечатал в конверт и с курьером послал в ЦК. Запер кабинет, отдал ключ дежурному по редакции, попрощался и ушел.

Через два дня мне позвонили в Союз писателей, где я стал появляться ежедневно. «Как у вас хранятся редакционные бланки?» — спросил голос в трубке. «Обычно в сейфе», — ответил я. «Какой-то хулиган похитил бланк и прислал нам фальшивый приказ о вашем освобождении от работы», — ответил голос. «Это не хулиган, — уточнил я. — Это я сам». Голос еще немного пошевелился в телефонной трубке и умер от удивления. В Киеве до сих пор пересказывают небывальщину о том, как я сам себя снял с работы. Впоследствии мне сто раз объясняли, что этого нельзя делать, поскольку освобождения от высоких должностей и назначения на них являются прерогативой Системы, а не человеческих особей. Это надо принимать без рассуждения и не вмешиваясь.

Мне дали долгую возможность поразмышлять на эти темы. С 1969 по 1978 год я не работал нигде. Меня любили в республике, и я мог бы прелестно прожить, попросту выступая в разных городах и беря деньги за выступления. Пару лет моих книг не издавали, а затем они прорвались, пошли, но все это было как бы само собой. И время от времени ко мне звонили из украинского ЦК или из московских газет, предлагали подписать то или иное воззвание против диссидентов, заклеить авторов разного рода не позволенных воззваний и книг, которых становилось больше и больше. Я не сделал этого ни разу. Даже странна была легкость, с которой клеймили своих недавних коллег московских официальные классики, все эти только расцветшие бондаревы, ивановы, исаевы, проскурины, и несть им числа. Выглядел я белой вороной и среди большинства украинских коллег, не придававших такой мелочи значения. «Ну подписал, — говорили они. — Ну не я, так другой бы...» Система сохранила свою гнусную роль освободителя от ответственности. Она продолжала говорить всем, что ответственность на ней, на Системе, и призывала делать, что велено, разрушая человеческие личности где-то в самой глубине, на уровне души.

### **«Пойдем, Витя, — сказал Щербицкий...»**

В 1978 году меня возвратили реальному делу. После десяти без малого лет безработицы я понял, что выстоял, и главным образом потому, что ни разу не ходил просить о помощи. Все время я видел, что за мной наблюдают, что меня испытывают, и так, а мое задумчивое нежелание суетиться выглядело даже привлекательно на фоне моих дергающихся коллег. По крайней мере я был понятен. Меня не считали врагом, меня не считали и своим, но я раздражал меньше, потому что поступал по своей логике, а не пытался угадать чужую.

Несколько раз во время разных больших мероприятий, связанных с культурой, я даже попадал на званые встречи, где разрешалось поглядеть на вождя вблизи. Один из них, подвыпив, сказал мне: «Понимаешь, с тобой все ясно. Ясно, что ты можешь сделать, а чего не сделаешь никогда. Ты заметил: с каких-то пор тебя уже и не принуждают подписывать письма против националистов с диссидентами. Все равно не подпишешь...»

Те, кто побывал в заключении, рассказывали мне, что там устроено точно так же: ломали до тех пор, пока имело



смысл ломать. Затем убивали или начинали относиться терпимее. На всех этапах Системы борьба за право быть собой продолжалась в той или иной форме.

Я всегда тосковал по дружбе, по умному и равноправному человеческому общению, но никогда не испытывал потребности сбиваться в стаю. Люди, так или иначе испачкавшиеся, очень интенсивно ищут общество подобных себе, где в истериках взаимных оправданий они способны на что угодно. Это хорошо, что к исполнению стремятся многие, но толпа грешников, желающих немедленного отпущения грехов, может натворить что угодно. Я всегда избегал свальных грехов и массовых движений. Я привык пробиваться в одиночку и видел, до чего же это нравится многим вокруг меня. В Киеве мне было бесконечно уютно и удобно: множество таксистов, футболистов, врачей, парикмахеров — самых обыкновенных людей — искренне звонили, звали в гости. Я подолгу разъезжал — по Украине и за ее пределами, месяцами жил в других республиках, особенно в Латвии и Грузии. Писал книги. Это все больше были не только одни стихи. По моим сценариям сняли больше десятка документальных фильмов и два художественных, я вел передачи на радио и телевидении, которые в республике считались самыми популярными. Отношений с ЦК не было никаких совершенно: меня не трогали, и я обходился без них. Меня очень не любили идеологические руководители украинского ЦК, а на уровне инструкторов отношения бывали вполне человеческими, без вражды. С руководством республики отношения складывались, как у Вольтера с Богом: великий француз однажды сказал: «Мы расклавываемся, но не разговариваем».

Но Система нашла нужным напомнить мне, что именно она продолжает владеть страной и ее гражданами.

В Киеве происходила декада азербайджанской культуры — очередной фейерверк дорогостоящих и фальшивых объятий, когда клятвы в верности народа народу, вождя — вождю, а всех вместе — коммунистической партии звучали безостановочно. Я никакого участия во всем этом не принимал, тем более что с Азербайджаном у меня не было ровно никаких дел. Бывает же так: ни я их, ни они меня...

Тем более странным показался звонок, которым меня пригласили на заключительный прием декады в киевский дворец «Украина». Не просто пригласили, а вежливо попросили быть непременно, да еще и подготовить тост. Прислали большой пригласительный билет с золотым тиснением.

Стол, за которым мне надлежало вкушать праздничную пищу, находился сбоку зала, но не так уж и далеко от президиума. Тогдашний председатель украинского Союза писателей Козаченко, певец Гнатюк и академик Бажан были искренне удивлены моим общением, но если Бажана оно обрадовало, то Козаченко погрузило в задумчивость. Все это должно было что-то значить.

После произнесения первых речей и всеобщего вопля в честь великих народов, партии и руководителей Азербайджана и Украины Щербицкий двинулся в зал. Украинский партийный вождь был и физически личностью крупной, заметной, репутацию имел жесткую и жесткую, поэтому зал отслеживал его передвижения с интересом.

Щербицкий нес в руке бокал с чем-то спиртным и по дороге чокался с встречаемыми, но двигался тем не менее очень целенаправленно. Вскоре стало ясно, что он идет к нам, и это все заметили. Украинский вождь вскоре остановился у нашего столика, и Козаченко с Гнатюком радостно вытянули шеи к нему. Мы с Бажаном поздравительно кивнули и ступили чуть в сторону, понимая, что гость не наш.

— Знаете, кто мне нужен? — сказал Щербицкий. — Витя Коротич!

Меня никто и никогда не называл Витей. Я почувствовал себя как средневековая девушка, которую дракон выбрал на ужин.

— Пойдем, Витя! — сказал Щербицкий и на глазах удивленного зала обнял меня за плечи.

Мы пошли.

— Что ж это ты, — продолжал вождь, адресуясь уже ко мне, — дурака валяешь. Мне сказали, что ты разъезжаешь туда-сюда, нигде не работаешь. Надо браться за дело. Вот принимай журнал «Всесвіт» и делай дело...

Я все понял. Видимо, придется идти в журнал. После десяти лет официальной безработицы брать журнал.

— Я подумаю, — сказал. — Как вам позвонить, товарищ Щербицкий? Я подумаю...

— А о чем думать? — удивленно приподнял лохматые брови вождь. — Номер телефона я тебе, конечно, скажу, но не в этом дело. Принимай и делай журнал...

Он мне назвал какой-то телефонный номер, подождал, пока я его запишу, и подтолкнул к микрофону, велел говорить тост.

...Телефонный номер оказался несуществующим, а редактором «Всесвіта» меня, оказывается, утвердили еще накануне. Я очень смешно разговаривал на приеме с товарищем Щербицким.

Впрочем, журнал был хорошим, не публиковал ничего, кроме переводов из зарубежных литератур, — я сам печатал там свои переложения из Уитмена, Эллиота, современных американских поэтов. С конца шестидесятых годов меня прочили в редакторы этого ежесеместрника, но если тогда это имело смысл, то теперь? Но я не видел необходимости отказываться. Государство в это время резко повысило цены на периодику, «Всесвіт» стал почти вдвое дороже, и тираж его резко рухнул. Надо было делать журнал более современным, возвращать ему популярность. И все это — защищая свою независимость и не покупаясь на мишуру.

Нет смысла пересказывать, что в дальнейшем произошло со «Всесвитом». Он очень изменился и внешне, и внутренне, стал более светским, более городским, что ли. Я принял на работу много молодежи, резко сократил количество чисто пропагандистских статей. Но было очень трудно. Однажды злой и сытый чиновник, доведенный мной до откровенности, выдохнул фразу, которую многие из них, уверен, повторяли в разговорах между собой: «Вот мы тебя вынули из дерьма и в дерьмо опустим, если захотим...»

Я с этим не мог согласиться. Если сам не поспею в дерьмо, ничего у них не получится: я уже это знал.

Существовала особая изощренность в попытках Системы подчинить себе каждого гражданина, и осуществлялись попытки эти не одной только силой.

Сила применялась в конце — чтобы сломать. Как правило, начинали с методов помягче, повежливее и всякий раз давали понять, что никуда ты не денешься, что за тобой приглядывают специально и все про тебя знают. И дома знают, и за границей — везде.

Я очень горжусь приказом по редакции «Огонька», которым запретил спрашивать у поступающих на работу их национальность и партийную принадлежность. Мне всегда хочется вводить людей в нормальные системы координат, в естественность человеческой жизни.

Такое не всем по душе.

— Они приходят и спрашивают, кто бывает у вас, долго ли, о чем говорите, — жаловалась мне сотрудница отдела публицистики во «Всесвите» уже в восьмидесятые годы.

— Ну а вы пошлите их подальше — ведь не имеют же права! — бодро советовал я.

— Ведь потом не оберешься. Разве можно.

Страх страшен. В шестидесятые и семидесятые годы я встречал в Киеве эмигрантов-украинцев из-за океана, которые боялись разговаривать на родном языке, так как считали, что это запрещено. Они до того забывали о своих правах и возможностях, что начинали испуганно отвечать на вопросы представителей секретных служб, посещавших их прямо в гостиницах «Интуриста». Откровенно боялись вчера еще храбрые люди, те, кто пересек полмира по пути к свободе, переплыл океан, завоевал свое место в совершенно новом мире. Но даже им Система дарила ощущение своего всевластия. Даже им.

### «...даже сквозь страх»

При помощи определенных ритуалов можно было заслониться от Системы, как в старину заклинаниями заслонялись от нечистой силы. Но спастись?

Огромная, талантливая часть моего поколения, среди них те, кто мог стать зачатком новой городской интеллигенции, выходили на площади, шли в тюрьмы, погибали. Сегодня на Украине часто говорят о Стусе, одном из наиболее выразительных представителей погибшего поколения, — он возвращается из небытия.

Были — этих больше — такие, кто плакал в истерике, шел в грузчики, спивался. Были такие, кто работал, стараясь не пачкать душу, отстаивать себя в деле. Всякие были, разные были — не упрощайте нас.

Даже среди тех, кто откровенно обслуживал Систему, не помышляя о бунте, появлялись мыслители незаурядные. Даже среди запуганных и сломанных время от времени возникала мысль, что так жить нельзя. Мы оживали медленно, всякий по-разному, выдавливая из себя раба или защищаясь против Системы доступными способами. Мало кто на полном



серьезе относился к происходящему — даже сквозь страх.

Собко, довольно известный в послевоенные десятилетия украинский прозаик, рассказывал мне, как в пятидесятые, довольно крутые годы в составе советской делегации ему довелось побывать в Стокгольме. В делегацию входил и Маршак, замечательный детский писатель и переводчик. Собко вспоминал, как его поразило, что человек, которого он привык считать классиком и умницей, заорал, войдя в номер: «Я вас не боюсь, фашистские сволочи! Все равно коммунизм победит!» Так как для интеллигентного еврея Маршака такое поведение было по меньшей мере странным, Собко решился спросить во время одной из совместных прогулок, неужели тот и вправду верит, что фашисты из послевоенной Швеции установили пункт наблюдения за ними, двумя писателями из СССР, в стокгольмской гостинице.

После паузы Маршак пожал плечами: «Я давно уже не бывал за границей. А вдруг КГБ захотел проследить и подслушать, как я себя веду?» С подозрением оглядел Собко и больше на эту тему не разговаривал. Вера во всевластие Системы вошла в Игру одним из главнейших правил. Поэтому храбрость и трусость обретали собственные, многим непонятные измерения, делая даже рассказ о них непростым.

Сегодня храбрецов в десять раз меньше, чем было вчера. Вчера легко было храбриться на кухне: мы с тобой молодцы, а там, наверху, нам запрещают быть молодцами. Эх, если бы не те, наверху!

Когда сверху перестали жать с прежней силой, настало время поступков, и оно резко сместило системы координат. Либералов убавилось раз в десять, когда понадобилось не обсуждать поступки, а совершать их. Когда стало возможно веровать без опасения попасть в пасть ко льву, может быть, некоторые выходившие из катакомб христиане стали атеистами. Когда Система чуть отпустила вожжи, пришлось отчаянное ощущение того, что вот можно плакать, позволено быть хоть чуть-чуть собою.

Медленно в людях вызревало собственное отношение к со-бытиям. Не верьте тем, кто сегодня глаголет, что понял всю негуманность Системы с колыбели. Понимали зачастую от противного, от того, что большинство записных хвалителей оказывались безразличными или глубоко разуверившимися людьми. Либо то и другое вместе. Немало записных хулителей тоже чувствовали себя неуверенно, ибо обязательно были людьми талантливыми или вдумчивыми. Попросту осточертело и им: возникали этикие доминанты в сознании — сродни тому, как смертельно усталый человек думает об одном лишь — «хочу есть» или «хочу спать»... У одних желание свободы подавляло все прочие; у других усталость от несвободы была такова, что оставалось лишь отмахнуться от всего сущего: «Да ну его...» Независимо от декларируемых лозунгов, независимо от желания заявить о своей причастности к той или иной системе взглядов нарастало число безразличных. Тех, кто не в состоянии выковать собственную судьбу, а навязанной подчиняться не хочет. Но подчиняется. И вновь ищет для себя место в новой толпе.

Люди, которым годами запрещалось быть самими собой, выдумывали, вымечтывали себе некую независимость, а затем пытались ее осуществлять. Приставали к любым течением, дерганно, до истерики: «Я с вами!» Затем с них первых и спрашивали. Некоторые и сегодня требуют, чтобы вспомнили, с кем вместе они скандировали «против» или «за», но — с кем вместе! Ах, эти российские политические истерики, это нежелание быть собой! Работать — так целонощно, круглосуточно, до упаду, без еды, без сна. А затем с такой же легкостью отключаться от всей этой отчаянной жизни, снова обалдевать от своего безразличия — и надолго. Политиканство в России нападает массово, как понос, и так же внезапно прекращается. Кроме тех, у кого понос этот окажется дизентерией или даже холерой. Там уже серьезнее.

Сегодня храбрецов из прошлого очень много. Сегодня советских друзей у Солженицына не меньше, чем тех, кто недавно свидетельствовал, что лично носил на суботнике одно бревно с Лениным. Сегодня выгодно быть храбрым вчера. Отношения с современностью рискованнее.

Я помню, как при всем уважении к Ельцину я отказался опубликовать поспешное интервью с ним. «Ага», — пронесся слух. — Коротич против Ельцина». Затем я восхитился твердостью Ельцина, его умением собирать вокруг себя незаурядных людей, смело отстаивать свои взгляды. «Ага», — сказала. — Коротич с Ельциным!» Я подошел к Ельцину и попросил у него для «Огонька» рукопись мемуаров. Это было тем более естественно, что мемуары записывал заведующий отделом писем нашего журнала Юмашев. Но, когда прочел

воспоминания, понял, что они по уровню не могут быть напечатаны в «Огоньке» полностью. Слабая книга. «Ага», — сказали. — Коротич против Ельцина». И так бесконечно. Слава Богу, у самого Ельцина есть достаточно умения ценить чужую независимость, раз он пытается отстоять свою. А то ведь постоянно ощущается, что мы воспитанники Системы, у которой стройная и твердо вбитая во все головы система правил. Умных или глупых, честных или гнусных — другой вопрос. Но — стройных, будто шлагбаум.

## «Советоваться с собой самим...»

Вы ничего в этом не поймете. Чтобы понять происходившее со мной, надо быть тем человеком, которым был я в конце семидесятых годов, не устававший от попыток выстроиться и отстоять свою независимость и понимающий, что попытки эти все более опасны. В Системе демонстративная самостоятельность даже в самых простых действиях и решениях наказуема. Ты постоянно обязан быть в контролируемой Системой стае, команде, организации, группе — где угодно, но не один, а с кем-то надежным. Я с детства ценил свою самостоятельность даже в общем деле; мне и в командных видах спорта меньше всего везло, больше — в индивидуальных, где один на один, где двух победителей не бывает. Не могу сказать, чтобы это была страсть побеждать непременно, любой ценой. Но это было постоянное желание знать себе цену и знать цену победе, ничего больше.

Мне еще сто раз вспоминалась ситуация из «Марсианских хроник» американского фантаста Рэя Бредбери. Помните? Марсианин и землянин хотят обменяться рукопожатием, хотят подражаться; но руки их проходят друг сквозь друга навывлет. Они существуют в разных измерениях, а посему не могут друг другу ни повредить, ни помочь. Это ощущение как часть восприятия Системы не уходило от меня никогда; группы людей, существующих в одной стране и в одно время, но в разных измерениях; раздельность, при которой нет смысла спорить; расстояние от души до души, исключающее взаимное понимание. Огромный рынок аморальности, где весь вопрос лишь в цене...

Это ощущение становилось кошмаром, когда ощущаешь себя товаром в бесконечности политических покупок-продаж и не видишь выхода. Иногда в самые трудные моменты контакта с Системой к нормальному человеку даже приходит ощущение, что все это, наверное, понарошку, не на самом деле, что вот проснусь, и ничего этого не будет.

Неожиданно это ощущение прикинуло и после утверждения меня на главное редакторство в «Огоньке». У меня не запросили бессмертную душу — времена изменились, я нужен был, какой есть. Но все равно страшно было приходиться в еженедельный оплот мракобесия, в журнал, где сам я всегда стеснялся публиковаться. Но чтобы понять все, надо вспоминать по порядку.

Начал Щербицкий, в ту пору первый в республике человек, правитель всевластный и всемогущий. Где-то на сломе зимы с весной он собрал у себя в кабинете самых известных украинских писателей, чтобы посоветоваться, кто же будет председателем республиканского писательского Союза после очередного съезда, предполагающегося через несколько месяцев. «Конечно же, будут выборы», — сказал Щербицкий. — Но у нас плановое хозяйство. Вы понимаете...» Все понимали.

Затем Щербицкий вдруг взглянул на меня и произнес странную фразу: «А ты, Коротич, что, в Москву собрался? Мне Горбачев говорит — отдай Коротича...»

На меня устремились непонимающие и негодующие взоры коллег. С одной стороны, претендент на председателское кресло явно выпадал из гонки, но почему никто не знал о моей постыдной идее бежать из Киева?

Самое смешное, что об этой идее не знал и я. Как положено, хозяйка именина, Система в очередной раз решила передвинуть фигурки и — не советоваться же ей с этими пешками? Видимо, со мной решили побеседовать в последнюю очередь. Если сказанное Щербицким было правдой.

Ну что же, совещание прошло; ничего определенного не решив, я снова занялся своими делами, а в Киеве снова заговорили, что я куда-то уеду. Такие слухи уже вспыхивали не раз, благополучно стихая. Не могу сказать, что на этот раз разговоры о переезде укрепляли мои позиции. Одни любили меня и обижались, что я надумал тайне от них куда-то бежать; другие терпеть не могли ни меня, ни Киев, но сам факт возможного ухода казался им поступком темным: непатриотичным и лишавшим их любимого неприятеля.



Но меня-то никто из Киева никуда не звал. Я решил, что Щербицкий заплетает интригу с целью отодвинуть меня от писательского престола и мне в этом розыгрыше предназначено некое пограничное между украинской и всесоюзной столицами место.

И в это время взорвался Чернобыль, затмивший все. Пылающий реактор осветил своим пламенем всю нелепость Системы и жизни, устроенной ею. Началось со слухов: в течение трех дней были только слухи. Затем объявили, что да, началась катастрофическая ситуация, но ничего особенного, главные трудности, о которых говорят, придуманы паникерами для омрачения всеобщего счастья.

Лето пришло рано. Уже в мае киевское солнце жгло, как никогда (позже мы узнали, что метеорологи при помощи самолетов рассеивали дожди над зоной катастрофы, чтобы не допустить сброса радиоактивных вод в большие европейские реки). Не верилось, что жизнь сломалась так необратимо и трагически. Куда-то исчезли из города воробы; на лужайках не было столь привычных для глаза маленьких птиц. Многое становится заметным лишь после потери; птицы исчезли, и Киев сразу стал меньше.

Рано на рассвете стали появляться машины с водой. Они окатывали стены домов до третьего этажа, и от этих рассветных шуршаний водяных струй становилось еще тревожнее.

Министр здравоохранения начал очень забавно успокаивать нас по телевидению. Он уверял киевлян, что ничего серьезного не случилось, но, придя домой, обув надо оставлять за дверью, собак после прогулок мыть под душем.

Я слушал журчание утренних струй по стенам и понимал, что все это нелепо, вода ведь уходит обратно в Днепр...

Руководитель Украины Щербицкий был в своем оптимизме еще директивнее. Всех депутатов разных рангов, городских и партийных начальников велено было выгнать гулять на улицу. Мне позвонили из Верховного Совета и предупредили, что на ближайшие дни намечено грандиозное возложение венков и другие патристические мероприятия, где каждому строго определено место и где надлежит быть, опровергая паникерские слухи о радиации. Щербицкий тоже возлагал все и везде, таская за собой внука Вовочку, символизирующего для одних бесстрашие, а для других безответственность рода Щербицких. Самое страшное и глупое, что уж он-то, дедушка, знал обо всем. За что же он готов был платить здоровьем собственного внука? За ложь? Так же, как расплачивался за ложь своей собственной жизнью. Просто та, главная ложь его жизни стала уже привычной.

Эта глава — о том, как Система требует платы за все. Сейчас Система надумала измениться, и оплатить все изменения тоже придется нам. Я думал о том, как над чернобыльским дымом и радиоактивными киевскими воробьями назревает поворот в моей судьбе. Что-то происходило. Я ощущал это по поведению начальства, по звонкам из Москвы. Нужна была еще какая-то подробность. Но она приближалась медленно, эта решающая подробность. Вначале пришел корреспондент «Комсомольской правды», симпатичный молодой парень по фамилии Положевец, и сказал, что газете требуется интервью со мной. Интервью должно быть оптимистическим, о том, насколько советские люди сильнее атома, который подло взорвался в Чернобыле, но никого не страшит.

Я написал о том, что произошло преступление. О том, как скрывается правда, о том, как детей и депутатов, и женщин, и всех остальных выгоняют на улицы. Написал все, что наболело за эти дни.

Телефон зазвонил через двое суток. «С вами будет разговаривать секретарь ЦК товарищ Яковлев», — сказала телефонная трубка, повергнув меня в смятение, потому что секретари ЦК еще никогда не звонили мне из своего московского далека домой.

— Вы не возражаете, если я покажу ваше интервью для «Комсомольской правды» Михаилу Сергеевичу Горбачеву? — спросил в трубке окаянный голос басистого человека, разговаривающего с северным русским акцентом.

— Конечно, нет, — ответил я.

Через три дня меня вызвали в Москву, и Яковлев прямо предложил мне взять «Огонек». Он вдруг начал говорить о плате за демократические изменения в стране, о том, что нам надо будет выкупать ее и отбивать у тех, кто развалил общество, и для этого необходима свободная пресса, пресса, которой будут руководить новые люди.

Я попросил времени для раздумий.

— Такого времени нет, — сказал Яковлев.

— Когда вам предложили стать секретарем ЦК, — спросил я, — вы с женой-то хоть посоветовались?

— Нет, — сказал Яковлев.

— А мне надо.

Я знал, что советоваться буду с собой самим. Первый раз мне была предложена большая работа и ничем не требовали платить за нее; ничем стыдным, ничем унижающим душу и ум. Я впервые увидел человека, который готов отдать все для демократических изменений. Снова пришло ощущение, что есть ведь что-то значительнее твоей личной жизни. При всей банальности этой фразы к ней следует относиться серьезно, коль уж она приходит в голову, не услышанная на митинге, а — сама по себе.

Мы еще долго разговаривали с Яковлевым. Может быть, никто другой и не смог бы меня убедить так логично. Мне предстояло сломать всю жизнь — уйти из устроенного, отрегулированного и довольно независимого киевского быта в московскую неизвестность. Но игра стоила свеч. Встречу за встречей Яковлев проводил так, что я подвигался к тому, чтобы согласиться. И если прежде Система требовала изматываться вместе с ней, сегодня — чтобы сломать хоть что-то в подлости ее — надо было оказаться готовым идти на риск.

Я, все еще колеблясь, так и не рассказав о сложившейся ситуации никому из домашних — они отдыхали у друзей где-то в Грузии, дал, по сути, согласие на работу в «Огоньке». Приблизил разговоры с Лигачевым, человеком № 2 в партийной иерархии страны, отвечавшим за кадры. Я еще буду вспоминать о том, как шел этот перелом в моей жизни, но он стал неотвратим.

...В декабре 1987 года целый самолет сопровождающей Горбачева свиты летел в Америку. Там были редакторы всех основных советских газет, четко вставших на либеральную позицию. Летели несколько писателей и деятелей культуры с так называемыми вольнодумными репутациями.

Мы пили водку и веселились, когда один вдруг сказал:

— Вот узнает какой-нибудь генерал, кто в этом самолете, и шархнет ракетой, и — конец гласности...

Мы все затихли, восприняв шутку очень серьезно.

— Хоть бы скорей вылететь из советского воздушного пространства, — серьезно произнес кто-то.

Больше таких экипажей Горбачев не составлял. Он начал брать с собой всяких, чтобы никого не обидеть, чтобы всем было хорошо.

От сопровождающих стало меньше толку. Консерваторы были представлены во всех поездках и перестали жаловаться. Горбачев сделал очередную бессмысленную попытку помирить всех со всеми.

...Очень обидно было в то время, что всех главных сторонников Горбачева можно было собрать в одном самолете. Даже не страшно, что собьют, а обидно, что так мало и так легко собрать всех вместе.

Через два года кто-то из начальников сказал, что если сажать теперь, то пришлось бы брать несколько миллионов, больше, чем когда бы то ни было за последние полвека.

Слава Богу! Нашего полку прибыло...

## «Не надо подписывать от Политбюро»

Этот звонок был особенным. 11 июля 1990 года в 11 часов утра Александр Николаевич Яковлев позвонил мне и сказал, что сегодня нам не удастся встретиться, потому что он должен быть на партийном съезде. «Почему? — спросил я. — Разве там еще не все ясно?» «Мне очень важно, чтобы меня не внесли даже в списки по выборам ЦК партии. Я хочу теперь работать только в Президентском совете. Устал». «Устали быть идеологом?» — спросил я. Мой собеседник засмеялся.

Для меня этим смехом закончилась целая эпоха и целая линия надежды. Я не знал и вряд ли узнаю когда-нибудь на официальной советско-партийной должности человека такой образованности и такого ума.

Система приподняла этого человека, испугалась и быстро убрала, потому что он был слишком умен и честен, дабы оставаться в лидерах главной партии Системы. Тем более — в ее идеологах.

Всегда я пытался понять, почему вокруг Горбачева, на самых важных постах, столько людей невыразительных, неопределенных, неброских. Особенно среди идеологов (за исключением Яковлева, конечно). То ли он сам оставлял себе все эти вопросы, не подпуская к ним большое количество людей с собственным мнением, то ли ему нужен был такой фон, чтобы выглядеть получше, то ли не он, а другие расставляли идеологов вокруг него, как забор, отделяющий лидера страны от правды о ней.



Мне никогда не понять, почему официальным идеологическим лидером партии был объявлен Медведев, человек неавторитетный, угрюмый, переполненный собственными комплексами, молчаливый, обидчивый. Медведеву в партийной иерархии было выделено место, которое прежде занимал сталинско-хрущевско-брежневский идеолог Суслов. В стенах ЦК же немедленно родилась кличка «суслик», которая намертво пристала к Медведеву, сидящему в норке, будто в постоянной засаде.

В голове у Медведева — и это ощущалось физически — постоянно шелкал догматический калибровочный механизм. Что бы собеседник ни произнес, это сверялось с раз навсегда установленной шкалой догм и оценивалось исключительно по ней. Социализм, коммунизм, экономика — у Медведева все было ясно раз и навсегда. Когда, отвечая на записки делегатов XXVIII съезда партии, в июле 1990 года, Медведев назвал «Огонек» журналом антипартийным, в этом звенела железная верность догматическому сознанию. Для главного идеолога партии само понятие партийности существовало в раз навсегда запечатленной клетке; партийность и самостоятельность, партийность и свобода были для него антиподами. Он трудно разговаривал с людьми; я не устаю удивляться тому, каких унылых людей с комплексами подгребают к себе тоталитарная идеология, как они подвержены хандре. Почему и у Горбачева такие?

Впрочем, было исключение. Яковлев.

Мощный и храбрый ум, способный на самостоятельные решения.

Помню утро, когда умер академик Сахаров. На рассвете мне позвонили, сообщив черную весть, а я, в свою очередь, позвонил, кому смог. Происходило это в дни парламентской сессии, и мы, человек десять, пришли в Кремль за час до заседания, чтобы решить, как повести себя на нем. Условились, что если заседание начнут не с трагического известия, Ульянов, любимый и уважаемый всеми актер, взойдет на трибуну и поднимет зал в минуту молчания.

Мы напряженно разошлись по местам, понимая, как смерть Сахарова не только объединит, но и разделит людей, размышляя, как следует почтить великую память. Зал понемногу заполнялся, и я увидел, как из-за кулисы вышел Яковлев, направляясь к своему месту в зале. Весь в только что завершившемся разговоре, ничего не зная об официальных мнениях, помня, как Горбачев на прошлой парламентской сессии отключал Сахарову микрофон, я тем не менее сказал Яковлеву одно слово: «Сахаров...» «Знаю», — ответил он.

— Напишите о нем. Именно вы. Член Политбюро.

— Напишу. Но не надо подписывать от Политбюро. Только фамилией подпишите. Это мое мнение о Сахарове будет.

В то была чисто яковлевская черта. Один из немногих, он мог позволить себе быть собою и этим отличался от многих. Даже от своего патрона. В первом же перерыве (собрание все-таки началось с сообщения о смерти Сахарова, сухого, но внятного) я подошел к Горбачеву.

— Напишите для моего журнала одну фразу: «Я очень люблю этого человека, и мне будет его не хватать».

— Нет, — сказал Горбачев. — Я что-нибудь напишу, но для международной прессы. Может быть, через АПН. Я уже обещал им.

Он в очередной раз что-то просчитывал, не позволяя себе негосударственного поступка, отказывая советской прессе в интервью. Имидж остался ненарушенным; будто женщина быстро поправила смазавшуюся в углу рта краску.

— Напишите, — настаивал я, глядя на Горбачева. — Яковлев тоже напишет.

— Пусть, — сказал Горбачев. — Он идеолог...

Даже не занимая официально этого положения, Яковлев считался идеологом, а либеральное крыло партии другого и не признавало.

...Яковлев был первым, кто заговорил о моем редакторстве в «Огоньке», настойчиво предложил мне этот пост. Он был откровенен предельно:

— Еще когда я работал в отделе пропаганды, я хотел согнать с места этого мастодонта Софронова. Но тогда сняли с работы меня и отправили послом в Канаду. Теперь я должен довершить начатое и показать, что именно имел в виду, снимая Софронова.

Он всегда говорил точно и нескрывтно. Его же атаквали, как правило, исподтишка. Лишь в последний год его пребывания в Политбюро вся ура-патриотическая братия поперла

в открытую. Помню, как Яковлев удивленно показывал мне листовки, разбросанные на Старой площади Москвы у входа в ЦК. В листовках сообщалось, что он, Яковлев, происходит из старой еврейской семьи, а настоящая фамилия его Эпштейн.

— У нас в Ярославской области и евреев-то почти не было, — окал он по-волжски и подхохотывал над всей этой шушлой. — И вот что еще интересно: в дни пленумов на Старую площадь и кошки проходят по пропускам, а тут — листовки, и хоть бы что...

Он понимал, скольким стоит поперек горла, и по-своему был этому рад. Яковлев дорожил своим достоинством, но никогда не дергался по мелочам и не напускал на себя показного величия, обычного для руководящих работников ЦК. У себя в кабинете расхаживал в вязаной кофте зимой и в белой рубашке с подтяжками летом. Не прятался, разговаривая по телефону; я выходил, лишь когда звонил белый аппарат с надписью «Горбачев». Впрочем, однажды зазвонил другой аппарат, взяв трубку, Яковлев произнес: «Здравствуйте, Михаил Сергеевич!». Я встал, чтобы выйти, но Яковлев замаха л рукой, приглашая остаться. Положил трубку и улыбнулся: «Это Соломенцев. Тоже Михаил Сергеевич, но совсем другой».

Впрочем, при всей подчеркнутой преданности Яковлева Горбачеву отношения там не раз казались мне неравноправными. Может быть, потому, что Горбачев как личность в гораздо большей степени был сформирован аппаратом Системы и соблюдал его правила. Однажды в кабинете у Яковлева я очень активно атаковал его, утверждая, что Горбачев ведет себя таким образом, будто все угрозы ему исключительно слева, от либералов. Нельзя игнорировать аппаратные нападки столь откровенно, нельзя руководителю страны с таким небрежением отзываться о потенциальных либеральных союзниках. Яковлев слушал-слушал меня, а затем взорвался:

— Вот идите и говорите Горбачеву все это! Что вы делаете из меня единственного посла левых сил при Политбюро? Что это у меня за роль такая — пугать его, предостерегать, отговаривать?! Вот идите к нему сами и доказывайте...

Я вспомнил, как однажды попробовал сказать. Дело было часов в шесть вечера, и Горбачев выглядел изрядно уставшим. Я тоже устал и позволил себе сказать то, что, может, и не сказал бы утром именно Горбачеву:

— Вы понимаете, как вас не любят многие в аппарате? А за что им любить вас? Вы сами не пьете и не даете другим. Вы орденов ни себе, ни другим не навешиваете! За что вас любить людям, которые и Брежнев-то презирали, но терпели за то, что он и сам жил и им жить не мешал?..

— Да что ты! — отмахнулся Горбачев. — Я ведь каждый день с людьми общаюсь, по этим вот телефонам прозваниваю обком за обкомом. Знаешь, какой подъем сейчас, как люди воодушевлены! Да что ты!..

Яковлев так не сказал бы. Тоже отрываемый от жизни, отрезаемый от нее стенами охранников, подхалимов, секретарей и помощников, он удивительным образом умудрялся сохранять понимание текущих процессов — с таким ироническим прищуром. И никто его не боялся, хотя не знаю людей, которые не уважали бы его. Ни у кого я не видел таких способных шутить секретарей и помощников — при всей зависимости и даже раболепии их миссий. Только у Яковлева, придя к нему на прием, можно было увидеть весь штат референтов, смотрящих в рабочее время по видеомонитору американскую «Индиану Джонс». Но когда их вызывали к делу — я не видел так хорошо и весело работающего штаба, как яковлевский. Сама Система строила барьеры вокруг него, а он даже барьеры эти умел подчинить и заставить работать на пользу делу. У него было совершенно «неполитбюровское» чувство юмора. Помню, однажды Медведев, уже выбившийся в официальные идеологи, распалял меня в присутствии Яковлева за то, что мы издевательски поместили на обложке журнала портрет армейского отставника, усеянного значками, орденскими лентами, нашивками за ранения — всей атрибутикой отставничества великолепия, обращенного к флагу царской России у него над головой и книге Сталина, прижатой к груди. «Как вы посмели, — восклицал Медведев, — издеваться над ветераном, на чьей груди нашивки за боевые ранения?!»

— А может быть, он был в голову ранен? — угрюмо заметил Яковлев, и все разрядилось, и стало невозможным читать мне нотацию за нелюбезное отношение к сталинисту. Я вспомнил, как однажды Яковлев сыронизировал о себе по ветеранскому поводу:



— Вот ведь являюсь председателем комиссии по расследованию сталинских злодеяний и знаю об усатом бандите больше многих других, а ранили меня в самом начале войны, и стал я инвалидом после того, как стукнула меня немецкая пуля, а я все орал: «За Сталина!» — и порывался бежать в атаку...

К новой жизни он возвратился через Нью-Йорк, через Колумбийский университет, где успел поучиться после войны; через исследования по экономике, в которой стал одним из самых крупных специалистов; через десятилетнюю польскую работу в Канаде.

Возвратившись, он не раз, наверное, говорил фразу, которую однажды произнес, склоняя меня принять редакторство в «Огоньке»:

— Ну довольно, поборолся за чистоту, а теперь надо взять метлу и подметать. Хватит бороться за чистоту — подметать надо.

Он ненавидел шовинизм и, будучи человеком стопроцентно русским, давил тех, кто был русским по профессии, спекулировал на национальности, унижал другие народы. Его статья против шовинизма была в свое время очень болезненным и точным ударом по визгливым патриотам — ее Яковлеву не простили никогда, то объявляя его евреем, то нападая на каждого, кого русские шовинисты считали единомышленником Яковлева. Часть осколков из снарядов, нацеленных в него, принял и я. Меня всегда удивляла и радовала его способность игнорировать нападки — он взрывался лишь в крайнем случае, как было это на XXVIII съезде партии, где в кулуарах открыто раздавали пасквилы, прямо компрометирующие его и его дело.

Однажды, устав от бесконечных потоков грязи в свой адрес, умноженных догматическими атаками Медведева и его команды, я искренне сказал Яковлеву, что в любой момент готов хлопнуть дверью своего редакторского кабинета и уйти, потому что надоедает собственная беззащитность перед всей этой дрянью.

— Меня ведь не надо будет выволакивать из моего кабинета за шиворот, как Софронова, — сказал я. — Когда я окончательно пойму, что все в стране возвращается к прежним догматическим нормам, уйду сам; я уже готов уйти...

— Я тоже готов, — спокойно сказал Яковлев. — И, может быть, уйду раньше вас. Не спешите. Вам должно быть дорого дело, а не собственные амбиции. Будет невоготу — все уйдем, не оглядываясь...

11 июля 1990 года Яковлев позвонил мне и сказал, что не хочет больше быть ни в Политбюро, ни в составе Центрального Комитета.

— У вас и телефон, наверное, изменится, — сказал я.

— Наверное, — ответил мне очень усталый голос. — Я вам позвоню.

21 июля вышел «Огонек», в котором мы заявили об отказе журнала выполнять указания любых партий, существующих или намеренных существовать в стране. Включая коммунистическую, поскольку других пока не было. Собственно, о коммунистической партии и шла речь.

## «Вблизи и одновременно...»

Примерно через полгода моей работы в «Огоньке» мы смогли снять на видеопленку тренировки военизированных отрядов в подмосковном городе Люберцы. Это были подстриженные, аккуратные мальчики, занимавшиеся боевым карате в подвалах индустриального городка, специально оборудованных для таких тренировок. Ребята были очень похожи на гитлеровских штурмовиков и в свободное от тренировок время ездили в Москву, где отрабатывали выученные приемы, избивая хиппи, панков и других хилых волосатых обитателей московских бульваров. Так называемые «люберы», как звали себя подмосковные штурмовики, вели себя очень нагло и пользовались совершенно явной поддержкой Министерства внутренних дел и местной власти. Мы написали обо всем этом — публикация была щедро процитирована в мировой прессе; через неделю мне позвонили и сказали, что я приглашаюсь на Секретариат ЦК для разговора о публикации «Огонька», направленной на компрометацию советской власти и ее органов охраны правопорядка. Эти самые органы представлял заместитель министра внутренних дел СССР Трушин.

Председательствовал на Секретариате Лигачев, и я навсегда запомню его первый же вопрос — он задал его задолго до того, как я услышал подобный же вопрос от Горбачева:

— С кем вы? В чьей вы команде?

Вот тогда-то у меня и появилось первое ощущение, что в таком замечательно монолитном, как уверяли нас, руководстве есть несколько разных команд.

— Скажите честно, — продолжал Лигачев, — а вы сами, когда видите такое лохматое, с цепями на шее, пританцовывающее существо, вы-то сами не хотите взять его за эту цепь и...

— Нет, — сказал я и восхитился собственной отвагой. — Весь опыт нашей истории свидетельствует, что если человека бить по голове, он не обязательно начинает относиться к советской власти лучше...

Я не могу сказать, что все руководители страны поддерживали Лигачева. Некоторые из них, в том числе один из руководителей военно-промышленного комплекса Долгих, даже бурчали что-то не весьма агрессивное. Но Лигачев жал. Он был настроен не то чтобы немилосердно по отношению ко мне лично — он просто объяснял правила игры своей команды и свою способность защитить единомышленников. Я впервые был под прессом на таком высоком уровне и так откровенно; я понимал, что, задев этих самых любителей, влез невольный в политическую игру, ведущую высоко и серьезно. Лигачев объяснял, с какой непримиримостью надо вырывать из советской жизни ростки чужого мировоззрения, делал это жестко и вполне серьезно выказывал свое недовольство мной.

Я был достаточно опытен, чтобы понять, — с первого раза не разорвут. Но проучить намерены серьезно. Страху не было; я просто ожидал, чем все кончится.

Спас меня Соломенцев. Он с закрытыми глазами молчал все время, а тут вдруг вскинулся и, совершенно не обращая внимания ни на Лигачева, ни на меня, ни на остальных, сказал странную фразу:

— А вчера я смотрел телевизор...

Я представил, как заседали в брежневском Политбюро, где такие соломенцевы составляли большинство. Вот спал человек, спал, а затем проснулся и сказал про телевизор, независимо от того, что обсуждается...

Соломенцев сорок минут рассказывал, что он вчера видел по телевизору. Ему понравились новости, но не понравилась молодежная передача, где мальчишки сидели на лестнице. («Нелзя, что ли, было найти им приличный клуб, одеть почище и подготовить беседу на важные темы?» Честное слово, вот так он и говорил.)

Меня спас Соломенцев своим неожиданным болтанием, как гуси спасли Рим. Лигачев обиделся. Может быть, ему тоже все надоело, но после сорокаминутного соломенцевского монолога он пробурчал что-то об этом важном разговоре, который должен послужить мне уроком, и закрыл заседание. Я увидел Лигачева собранного, знающего, чего он хочет, — такого медведя, напролом идущего через лес.

Еще недавно он говорил со мной по-другому.

...В мае 1986 года мне сообщили в Киеве, что на завтра к 11 утра мне надлежит быть у второго секретаря ЦК, ведущего кадровые вопросы, Лигачева. Лигачев любил вмешиваться и в вопросы идеологии — как второй секретарь ЦК он имел право на это. Я понимал, что пойдет решающая беседа об «Огоньке». По сути, я сказал уже свое «да» Яковлеву, но не писал никаких прошений о приеме на службу, и на разговорах все пока ограничилось.

Я понимал, что разговор будет решающим, и захотел его отсрочить хоть ненадолго. Бросился к Шевченко, назначенной руководить парламентом Украины. «Да вы что! — сказала она. — Если Лигачев вызывает, надо идти». Я помчался к помощникам Щербицкого, и те сказали, что их шеф вообще не оспаривает распоряжения, поступившие из Москвы. А в случае с Лигачевым — особенно. С Лигачевым Щербицкий не спорит.

Я прорвался к Ивашко, который в 1990 году станет заместителем Горбачева по партии, а в ту пору был идеологическим секретарем украинского ЦК. «Это приказ партии, — сказал он. — Даже если вы сейчас скажете мне, что больны, я лично в «скорой помощи» отвезу вас в Москву».

Такова была сила лигачевского звонка. Его боялись, и с ним не спорили. У Лигачева сложилась репутация генерала, который приказов не повторяет.

В 9 утра поезд из Киева прибыл на Киевский вокзал Москвы, а в 11 я оказался в кабинете у Лигачева. Это был тот же пятый этаж первого подъезда ЦК, где находится кабинет Горбачева. На пятом этаже всего два кабинета: первого и второго людей партии. Остальное — залы заседаний, помещения для помощников и всякой прочей бюрократической мелочи. В залах пятого этажа заседают и Политбю-



ро, и Секретариат.

Мой первый разговор с Лигачевым был недолог. Он просто спросил у меня, что следует сделать, дабы мне было удобно в Москве. Он подтвердил, что моя кандидатура обсуждена у высшего руководства, а значит, вопрос о том, хочу или не хочу я редактировать «Огонек», не имеет смысла. Все-таки я спросил:

— Почему вы так настаиваете на мне?

Лигачев неспешно оглядел меня и неспешно ответил:

— Мы изучили очень много кандидатур. Многих отвергли, некоторые доказали, что они не справятся с делом. Большинство из тех, кто не прошел, в качестве альтернативной кандидатуры указывали на вас. И еще одно: мы очень подробно изучили вашу киевскую биографию. Вы все время были в центре внимания, интересно работали, но никогда у вас не было собственной мафии.

— Не имея собственной мафии, я здесь пропаду, — не удержался я.

— Не думаю. Обращайтесь. Я вам помогу. Звоните когда угодно. Я всегда буду вам рад.

Лигачев умел и умеет говорить убедительно, выталкивая на поверхность беседы интересы дела. Одновременно он дает понять, что человек, положившийся на него, не пропадет. Общаясь с Лигачевым, полагается не рассуждать и в основном слушать.

При самой первой встрече мы обменялись еще несколькими не важными для сущности дела репликами, он пресек мою попытку покаяться о литературе. Литература была чем-то вполне несущественным при такой могучей силе, как воля партии. Затем Лигачев взглянул на стенные электрические часы и сказал таким небрежным манером:

— Заболтались мы с вами. Еще будет время наговориться. Пойдемте-ка со мной на минутку...

Он буквально за руку подвел меня к боковой двери своего кабинета и пригласил следовать за ним. Я ступил в большую комнату, где лица собравшихся были странно знакомы, будто стоял я в праздничный день на Красной площади и глядел на ГУМ, увешанный их портретами.

Очень забавно наблюдать такое количество вождей вблизи и одновременно.

Лигачев тем временем прошел к центральному месту во главе стола и, не приглашая меня сесть, сказал:

— Вот хочу вам, товарищи, представить Коротича. Вы его должны знать. Есть предложение утвердить его редактором «Огонька».

Все промолчали, лишь кто-то, кажется, Зайков, сказал, что почему бы и нет, человек известный.

Лигачев добавил, что Украина и Ленинград неохотно отдают людей в Москву, но вот взяли Зайкова в Ленинграде, и ничего не случилось. А теперь взяли Коротича в Киеве.

— Нет возражений? — еще раз спросил он.

Все молчали.

— Вы свободны, — сказал Лигачев, и я вышел.

Происшествие было столь молниеносным, что, оказавшись в приемной, где никого, кроме секретарей и охранников, не было, я еще не отдавал себе полного отчета в происшедшем. В том, что я уже назначен работать в другой город и в другой журнал. Яковлев развязывал гордые узлы, стараясь во всем разобраться и ничего не повредить. Лигачев — рубил их. Меня вызвали, по сути, для того, чтобы информировать, что теперь мне предстоит работать в журнале «Огонек». Ничего против этой работы я уже не имел, становилось все интереснее, но железная лапа московского вождя в тонкости не вникала. Меня попросту повернули лицом в нужном для Системы направлении и дали пинка под зад.

В данный момент я был нужен партии, и ничего больше ее не интересовало. После молчаливых киевских идеологов контраст был очевиден, и столь же очевидной была необходимость оставаться самим собой. Я понимал, что, в сущности, не меняется ничего и новый период моей жизни будет снова борьбой за возможность сохранить собственное лицо во всех обстоятельствах.

Новый опыт наползал на старый, умножался им. Я знал, что не являюсь такой уж простой дацкой. «Это он с виду мягкий, — говорили те, кто хорошо меня знал. — Черепашка такая твердая, потому что она такая мягкая». Вполне возможно.

Времена разделились, им не хочется склеивать разбитое зеркало, в каждом из обломков которого картинки разные, но достаточно четкие. Весь день 11 июля 1990 года, когда Яковлев пошел на съезд партии, чтобы отвести свою кандидатуру из всех возможных списков ее руководства, Лигачев

упорно сражался за право занять партийный стул № 2. Его отводили, его оскорбляли, ему говорили слова, после которых любой нормальный человек должен был бы помереть от стыда. А он отстаивал свое право руководить партией, хотя понимал, что очень многие уйдут из нее, если в руководстве окажется Лигачев. Он был символом консерватизма и не боялся этого; от Лигачева исходило постоянное ощущение уверенности и силы — он владел убеждениями и сражался за них.

Внешне он немного смахивал на американского вице-президента Спиро Эгню и, как Эгню, постоянно пребывал в положении человека, которого каждую минуту могут бросить народу, истосковавшемуся по справедливости. Постепенно Лигачев превратился в немыслимо стойкого оловянного солдата партаппарата; они любили его, как собственную мечту.

Он любит называть себя реалистом, но лигачевский реализм — как и медведевский — это прежде всего хорошая память на догмы и непоколебимая вера в них.

Впрочем, он оставлял место и для личных привязанностей. Помню, как в конце 1986 года, наставляя меня на путь истинный, не помню уже, по какому поводу, он вдруг подошел к двери своего кабинета, отодвинул полочку в деревянной панели над дверью и достал оттуда два тома, роскошно переплетенные в красную кожу с золотым тиснением.

— Поглядите-ка, — дал он их мне.

Это были самодельные сборники Гумилева, прекрасного поэта, убитого в самом начале революции и запрещенного после этого на семьдесят лет. Убили его незаконно, подло — это было и одно из убийств в длинной цепи уничтожения деятелей культуры. Жене его, русской поэтессе Ахматовой, тоже пришлось не сладко. Но Гумилев был не только убит — запретив его стихи, Система совершила еще большую несправедливость.

Старое славянское убеждение, что люди, с которыми ты преломил хлеб, становятся тебе ближе, можно принять исключительно с оговорками.

Вспоминаю, что я писатель и что вот уже много лет избегаю застолий в ресторане Союза писателей и тамошних заверений в вечной любви. Не надо садиться с кем попало. Моральная деградация Системы ярко отражена в деградации ее писательства: нечему удивляться.

Впрочем, не все в этой жизни просто.

Летом 1986 года, вскоре после того, как я стал редактором «Огонька», коллеги по писательскому ремеслу пригласили меня отужинать с ними. Группа коллег. И не в какую-нибудь ведомственную харчевню, а за специально заказанный стол в ресторане «Украина». Даже представляя себе теперь влиятельность пригласивших меня людей, я никогда не предполагал, что они так влиятельны именно здесь — среди разбалованных валютных официантов, денежных гостей со всего света, проституток, улыбающихся мастерам слова. Меня ждали к ужину люди не случайные. Были это отобранные один к одному самоотверженные защитники русской души, профессиональные воплощатели национальной идеи во всей ее готовности противостоять инородцам, капиталистам и развратителям заветных достоинств. Всемогущие Петр Проскурин, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Иван Стаднюк да еще всемогущий председатель главной кормушки, Литфонда СССР, Николай Горбачев. Под икорку, водочку да семужку мне было нешутейными басами сказано, что мое будущее отныне в моих же руках, а держать его надо крепко, как поднесенный шкалик за таким вот столом. Если надо будет, каждую пятницу здесь, в этом ресторане, за дежурным столиком я могу встретить всех или нескольких из собравшихся. И все мои проблемы решатся. И водочка с икорочкой к моим услугам. И все, что мне угодно.

Но и от меня — все, что им будет угодно.

Вначале я подумал, что всемогущие шутят. Но ушло ощущение шутливости, потому что собеседники мои были серьезные и злы. Я привык к другим застольям, где шутят, смеются, а здесь пузырились злостью, и начинало казаться, что злость эта сомнет, взорвет все вокруг, — столь напориста была она.

Было похоже на итальянское кино про мафию. Собрались уголовные паханы и страдают малолетку.

Можно было бы послать их сразу же.

Но я растянул удовольствие на несколько лет и никогда не жалел об этом. Лишь время от времени, наблюдая, как маленькая группа крикунов в Союзе писателей рвет на себе патристические рубахи, я слышу, как из этих рубах со



звоном сыплется мелочь, и все это очень похоже на ресторанный дебош. Вспоминаю, как некогда в ресторане «Украина» мне подносили хлеб, легший камнем на душу.

Мы в «Огоньке» впервые напечатали большое исследование о Гумилеве и начали борьбу за переиздание его произведений. Может быть, именно зная мою позицию, Лигачев и показал мне свой самиздат. Гумилев, этакий русский Киплинг, должен был быть ему близок всем пафосом своей мужской поэзии, с ее культом силы, которая в итоге всегда права.

У меня и сейчас — когда он ушел в отставку — нет желания судить Лигачева. Мне кажется, что как личность он разнообразнее и сложнее, чем образ деревянного бюрократа, в котором несколько лет подряд видели лигачевское воплощение. Он был нужен бюрократии, как надежда, Горбачеву — как громоотвод, а Система стремилась соорудить из него подпорную колонну. Его, Лигачева, Система воспитала даже более старательно, чем других. В нем было больше веры, а мир его был красиво выложен узором из догм. Лигачев был понятен и противникам, и союзникам; он был простоват для заговорщика хорошего класса и слишком самоуверен. Помню, как в газете «Советская Россия» вышла догматическая статья — манифест Нины Андреевой из Ленинграда, призывающей возвратиться к сталинским нормам. Статью готовили загодя и в отсутствие Горбачева опубликовали в самой примитивной из партийных газет. Но Лигачев праздновал эту статью с энтузиазмом, немыслимым для умного человека. Лигачев собрал специальное совещание главных редакторов, где объявил, что именно такие статьи нужны партии. Меня он на совещание не пригласил — отношения выяснились.

Вначале Лигачев был очень внимателен к «Огоньку». По мере того, как журнал левел, он охладел к нему, а затем и вовсе перестал замечать. На втором году моей работы в журнале, как бы то ни было, он мог еще позвонить и пригласить поехать по Сибири. Затем, когда мы подряд опубликовали несколько принципиальных статей, подписанных авторами с явно еврейскими фамилиями, он напрягся, отодвинулся. Однажды нам было сделано весьма завуалированное замечание, что, мол, в журнале маловато среднеазиатских или молдавских фамилий. Такой сложный намек...

Затем — признаком лигачевской силы — пошла полоса награждений деятелей культуры откровенно шовинистического толка. Человек пять из них подряд получили звезды Героев Социалистического Труда, и все при этом откровенно и низко кланялись в сторону Лигачева. Один из таких писателей, Распутин из Сибири, упорно защищающий шовинистов из «Памяти», выступил даже в парламенте, говоря о том, что люди, целящие в Лигачева, замахиваются на Россию вообще.

Впоследствии я часто вспоминал, как Лигачев похвалил меня за то, что я обошелся без мафии. Но самая мощная из советских политических мафий сформировалась именно вокруг него. Это было похоже на некое африканское племенное сообщество, то, что на юге нашей планеты называется трайбализмом. Окружающая Лигачева публика любила рассуждать о Сибири, о том, сколь особенны и не похожи ни на кого русские национальный путь и характер и как важно нам не поддаться на всякие западные уловки. Запад для лигачевцев существовал как нечто неделимо единое, немыслимо вредное, вторгающееся в русскую душу и неумолимо разлагающее ее. Мне еще по Киеву, в родном украинском варианте, была знакома эта гремучая смесь провинциализма с патриотизмом, а вернее, логическая система, где одно понятие подменялось другим.

Лигачев отбирал свою команду постоянно, показывая при этом свое могущество. В начале моих огоньковских лет он предложил мне съездить в Китай, поглядеть, как люди строят новое общество и верны социалистическим идеалам. Я съездил, и не столько идеалы, сколько Китай очень меня заинтересовал. Он поругивал меня за невнимание к проблемам русского Севера и однажды прямо на рабочем столе в кабинете начал на спичках показывать, каким образом из бревен складывается стена русского храма. Он показывал мне иллюстрации в огромном альбоме церковной архитектуры. Я поглядел на титульную страницу — это было эмигрантское издание: церкви, уничтоженные коммунистами в России. Он был не так прост, знал, чего хочет, и его коммунизм был чем-то средним между русским монастырем и коммунистическим субботником. Он верил в колхозы, в марксизм-ленинизм и во все, что положено верить человеку с его биографией.

Идея всегда была для него важнее человека, и от этого

Лигачев не отступал никогда, этим он был любезен Системе, выносившей и родившей его.

## «И вдруг я увидел Его»

Я никогда его не боялся. Даже когда он кричал, потому что крик его никогда не был криком жестокого и всемогущего человека. Я всегда пытался понять, что стоит за криком, почему именно в этот момент по сценарию надо кричать.

Один раз он кричал на меня в своем кабинете. Было это в феврале 1988 года, с часу дня до трех пополудни, в присутствии Фролова, бывшего тогда одним из помощников Горбачева, и Яковлева. О том, как относиться ко мне Фролов, я не имел понятия, и это меня не очень интересовало. Но отношение Яковлева всегда было для меня одним из важнейших ориентиров, потому что ни честь, ни ум этого человека не вызывали сомнений. Первое, что я сделал, войдя в кабинет к Горбачеву на пятом этаже в первом подъезде ЦК, это взглянул на Яковлева. Но встретиться взглядом не удалось: и он, и Фролов глядели на Горбачева, ожидая, что скажет тот.

Горбачев выругался. Я всегда спокойно воспринимал мужскую ругань. Даже виртуозы ругательных лексиконов никогда не волновали меня; я считал, что человек волен разражать собственные эмоции как ему удобнее. Но мне впервые пришлось увидеть главу собственного государства, ругающегося, как портовый грузчик. Не то чтобы я оторопел, но вздрогнул, и, возможно, в этом был смысл вступительного горбачевского монолога — ошарашить. Вдруг — и вполне четко — я ощутил, что этот человек играет грубияна, а на самом деле он добр и разговор со мной часть чего-то более значительного, чем я могу понять.

Перейдя на речь более общепонятную, Горбачев похлопал ладонью по толстой папке, лежавшей на столе перед ним:

— Ты что это городил в Ленинграде на вечере о министре обороны СССР? Вот тут в папке у меня расшифровка, сделали мне. Человек честно работает на труднейшем участке, а ты его атакуешь почему зря...

Два дня назад мы с поэтом Евтушенко вдвоем выступали в огромном ленинградском дворце «Юбилейный», и на вопрос о моем отношении к заявлению министра обороны Язова, обозвавшего в телепередаче меня и «Огонек» немыслимыми словами, я ответил нечто вроде: «Надеюсь, что уже вскоре наша армия избавится от своих самых больших ракет и самых больших дураков. Это пойдет ей только на пользу...» Но ведь записали, расшифровали и доложили главе страны, да еще как быстро!

Горбачев почти не делал пауз:

— Ты с кем? Ты в какой команде? Может быть, возмнил себя лидером перестройки?

— Ну что вы! В вашей команде, в вашей! — ответил я. Здесь становилось привычнее — первое лицо страны со всеми разговаривает на «ты», вне зависимости от степени знакомства и возраста.

— То-то, — сказал хозяин кабинета. — Вот Александр тебя защищает, а я не знаю, верить ему или нет...

Я не сразу понял, что Александр — это Яковлев, а когда понял, взглянул в его сторону и увидел широко улыбающееся, умное яковлевское лицо. Значит, не так страшно. Фролов сидел рядом со мной, с той же левой стороны стола от Горбачева, но он молчал, и мне от него не было ни жарко ни холодно. Я поглядел на улыбающегося Яковлева и отвел глаза, потому что Горбачев закричал снова:

— Ты что имеешь против Лигачева и Чебрикова? Я работаю с ними, и мне лучше знать, что они за люди. Ты учишь меня намерен, кто друг мне, а кто враг?! Лигачев уже 17 лет в ЦК, и я в нем уверен. Ты учишь меня будешь?

— Нет, — сказал я. — Не буду вас учить.

— То-то, — повторил Горбачев и пододвинул ко мне одно из двух стоящих перед ним блюдец с совершенно коктейльными маленькими бутербродиками с вареной колбасой. — Даже поесть некогда, вот так и ем. Ешь!

Я съел маленький бутербродик. Было невкусно, и к тому же усиливалось ощущение, что все это не вразумно, а я не могу понять, в чем смысл игры. Горбачев разговаривал громко, четко артикулировал, будто шла студийная запись и он сейчас должен был отработать свои монологи, не очень обращая внимание на реплики партнеров по пьесе. После паузы он долго, как умеет это и любит, излагал свои мысли о необходимости преобразований в стране, о том, как важно, чтобы все, что его поддерживает, не спешило и не совершало необдуманных шагов. Речь его стала вполне литературной —



даже с таким ораторским изыском. Не изменилось только лицо — внутренне напряженный, добрый, очень усталый человек, сосредоточенно занятый важным делом. Он разговаривал со мной, варьируя разные интонации и разные голоса, вставал, подходил к письменному столу, всякий раз произнося фразы громко и очень четко.

Разговор длился уже довольно долго. Мы обсудили проблему раскладки сил в стране, положение интеллигенции, ее трудности. Желая сбить Горбачева с ритма, вытолкнуть его из колеи, а заодно четче понять происходящее, я сказал:

— Интеллигенция признает вас лидером. Даже анекдотов обидных про вас нет. А кто выдумывает анекдоты? Исключительно злые интеллигенты...

— Не ври, — четко артикулируя, сказал Горбачев. — Хочешь, расскажу? Стоит очередь за водкой, и последний в очереди говорит: «Надоело ждать, что это за безобразие устроили! Пойду-ка набью Горбачеву морду за такие порядки». «Ну что, набил?» — спрашивают из очереди. «Там очередь еще больше...»

— Кто вам все это рассказывает? — спросил я.

— Рассказывают! — протянул Горбачев и вдруг совершенно не узнаваемо взвился, вскричал, возвращая себе прежний, из начала беседы, темперамент и лексикон:

— Тебе кажется, что все, кто раньше был у власти, враги! Ты вот Лигачева и Чебрикова терпеть не можешь, а ведь все мы вместе жопу лизали Брежневу, все! Это было, а сегодня надо объединять всех, кто с нами в перестройке. Ты не забывай, что мы товарищи в партии и каждый, кто с нами сегодня, должен оставаться с нами!

Я съел еще один бутербродик с вареной колбасой, встал, поблагодарил.

— Александр проводит тебя, — сказал хозяин кабинета, и Яковлев, прихрамывая; пошел со мной. Фролов так же молча, как просидел всю встречу, кивнул на прощание.

— Вы поняли, как он вас защищал? — сказал мне Яковлев в тамбуре между первой и второй кабинетной дверью. — Вы поняли?

Ничего я не понял, а затем просто боялся признаться себе, что глава государства, человек, которого я искренне и глубоко уважаю, вынужден был декламировать нечто на запись, для успокоения своих могущественных оппонентов, для демонстрации того, что он всех этих поганых любителей держит в горсти.

Только не это.

Впрочем, я мог все это и напридумать, навоображать. Думаю, что все было иначе. Просто так разговор сложился.

Но тем не менее я никогда не принимал и не принимаю поступки этого человека прямолинейно, постоянно удивляясь точности разыгрываемых им комбинаций, просчитанных, как правило, по-гроссмейстерски на многие ходы вперед и совершающихся на грани возможного. Он платит и еще заплатит собственной бессмертной душой за многое, но мы так далеко продвинулись, а Восточная Европа освободилась именно потому, что он оказался хорошим и трезвым стратегом в обществе, не приученном к реалистическому мышлению. Обсаженный со всех сторон старой партийной гвардией, стукачами и солдафонами, он постоянно решал немыслимую задачу, как продвинуться вперед, не доводя их до крайности, даже демонстрируя им, что вот он здесь, а все эти шелкоперы-реформаторы — бумагомаки у него в партийном кулаке.

Мне очень запомнилась встреча в ЦК, на том же пятом этаже, где кабинет Горбачева; достаточно загадочная, начавшаяся ровно в полдень, когда он снова кричал на меня и не только на меня, а мне снова не было страшно. Никому не было страшно, а он обозначал собой образ ужасно строгого руководителя; меня не покидало ощущение ненатуральности происходящего и некий дальний, непонятный мне сразу расчет Горбачева.

Начнем с того, что уже сначала он был не очень похож на себя; угрюмый, со сдвинутыми бровями, начавший со слов о том, насколько всем нам необходима свертка часов в борьбе за общее дело.

Уж это общее дело... Не поверю, чтобы Горбачев не в состоянии был понять, что у него и его противников никакого общего дела нет. Но он говорил об этом снова и снова, а я, как на хорошей пьесе, ощущал затаенность второго, глубинного смыслового ряда за средним слоем аккуратных до банальности тезисов.

Не то чтобы с каждым годом — даже с каждым месяцем пребывания у власти из него уходила молодая комсомольская плюговость, нарочитость экзальтации, но боль его поднималась изнутри, постепенно делая Горбачева все более жестким

и самозабвенным. Он, мне кажется, испытывал удовольствие большого спортсмена, продумывая, как дойти дальше. Так нападающий в американском футболе мчится, зная, что его остановят, и больно: мощный защитник, уже напрягшийся на пути. Но следующая схватка будет уже ближе к чужой линии; по пути к ней его, наверное, не раз еще сшибут.

...Наутро я ожидал вызова в ЦК. Все в СССР имеет свои ритуалы, и ЦК существует для разъяснения нам, грешным, мимоходом изреченных высоких мыслей вождей. Всегда на-завтра после начальственной речи клерки помельче принимались нам ее растолковывать. Я косил глазом на телефон правительственной связи с гербом на диске, но телефон молчал. Позже редактор «Аргументов и фактов» Старков сказал мне, что ожидал звонка еще более напряженно, а когда дождался, то это был звонок от одного из высоких партийных начальников, который велел ему, Старкову, не волноваться и спокойно работать. Напряженный редактор вовсе не этого ожидал.

Зазвонил и мой телефон — сразу после полудня. Мой приятель из «Правды» прямо-таки повизгивал от восторга. «Сняли нашего главного редактора Афанасьева!» — захлебываясь, сообщил он. Через сутки ушел в отставку восточно-германский диктатор Хонеккер.

Разъяснительное совещание в ЦК так и не состоялось. Совещания вообще прекратились с тех пор. Лишь вызывали время от времени — в индивидуальном порядке. Меня пригласил Медведев, и я ахнул, увидев у него в кабинете на столе для совещаний печенье, кофейник и маленькие кофейные чашечки.

— Угощайтесь, — предложил секретарь ЦК. И после паузы, пролистав последний номер «Огонька», заметил: — Читая ваш журнал, люди перестают верить в социализм, Виталий Алексеевич.

Я разжевал вкусное печенье, отхлебнул кофе и ответил: — Посещая ваши магазины, люди перестают верить в социализм, Вадим Андреевич.

— Так мы ни до чего не договоримся, — сказал Медведев. У меня было точно такое же ощущение.

## «Мимо непогребенного...»

Почему-то, когда я вспоминаю, как это было, то начинаю с конца. С того момента, как вошел я на оцепленную Красную площадь; вошел изнутри, сквозь Спасские ворота Кремля. Охраняя вождей и делегатов от жалобщиков и террористов, на Красную площадь пропускали лишь из Кремля, где шло заседание XIX Всесоюзной партконференции. Оттуда я и вышел, чтобы перевести дыхание, — сил почти не оставалось, и я как бы плыл по раскаленному воздуху. Так и вошел в Красную площадь и медленно побрел вдоль Кремлевской стены.

Только что я выступил — коротко, но трудно. Репортаж об этом выступлении прошел по многим телеканалам мира, и меня еще долго узнавали за границей по воспоминаниям о той передаче. А я всего-то-навсего отдал Горбачеву конверт с делами четырех высокопоставленных чиновников, которых надо было допросить, они явно завязли в уголовные, связанной с получением и раздачей взяток, но следовательно допроса не разрешали. Чиновники были из ЦК, а посему их нельзя было допросить без согласия этого самого ЦК, который согласия не давал.

Откровенно говоря, я не ожидал, что статья следователей по особо важным делам Гдьяна и Иванова, только что опубликованная в нашем журнале, вызовет такой взрыв. Позже несколько высоких начальников говорили мне, что статья чуть не сорвала эту самую Всесоюзную партконференцию; не знаю, у меня такого ощущения не было. Просто-напросто впервые за много десятилетий было серьезно сказано о том, что и среди делегатов самого высокого из коммунистических партийных форумов могут оказаться преступники.

(А в зале орали: «Как так?! Да кто им, этим писакам, позволил?!» Сжавшись туго, плечом к плечу, высокие партийные чины требовали меня к ответу. Позже, когда все поутихло, я позволил себе шутить по этому поводу, одному из журналистов в интервью я ответил, что дело, пожалуй, не в моем утверждении о четырех жуликах в зале. Они попросту испугались, не зная, кого именно, какую четверку из всех возможных я имею в виду.)

Теперь я во многом зависел от порядочности и отваги Гдьяна с Ивановым, которые в нарушение всех служебных инструкций обещали привезти и отдать мне в руки четыре папки с документами против этих самых четырех начальни-



ков. Но и начальники не дремали. Накануне утром заседала специальная комиссия, мучительно решавшая, как со мной поступить. Секретарь ЦК Разумовский, возглавлявший комиссию, куда меня даже не подумали вызвать, сказал, что большинство настаивало на моем изгнании из партии. Ценой огромных усилий это решение удалось притормозить, по крайней мере — до окончания того заседания, на котором я предъявлю свои аргументы. Гдлян с Ивановым торжественно поклялись, что к этому моменту все документы у меня будут. Они понимали, что если я не смогу отстоять свою позицию, то плохо придется многим — и не в последнюю очередь им.

Следователи показали мне (еще одно нарушение с их стороны) видеозаписи допросов, на которых они исповедовали высшую в Узбекистане партию. И правильно сделали: иначе, может быть, я не поверил бы им. Румяные владыки юго-востока страны с улыбочками повествовали перед видеокамерой, как они воровали миллионы, швыряли их на взятки, подкупая московских гостей...

Бородатый Иванов с тормозным визгом подрулил на «Волге» прямо к Кремлевской Кутафьей башне, у входа в которую я переминался с ноги на ногу, ожидая обещанных документов; ткнул мне, не выходя из автомобиля, засургученный конверт, на лицевой стороне которого чернела надпись о том, что конверт разрешается вскрыть лишь Михаилу Сергеевичу Горбачеву лично. Это, конечно, тоже было служебным нарушением, но не самым страшным; даже взбунтовавшиеся следователи не ставили под сомнение тот факт, что пусть не по закону, но фактически в стране никого нет главнее Генерального секретаря ЦК единственной партии — коммунистической.

Председательствовавший на заседании Щербицкий объявил, что я готовлюсь к выступлению, и меня усадили в первом ряду, в ленинградскую делегацию, чтобы поближе было к трибуне. Оказался я рядом с ветераном партии, который позванивал, будто колокольня на ветру, увешанный толстым слоем орденов и медалей поверх черного костюмного сукна, из которого был пошит обмундировавший его то ли адмиральский китель, то ли чиновничий пиджак. Под орденами этого не дано было разглядеть. Да я и не разглядывал, потому что орденосный ветеран чистил меня почем зря. Он ругался свистящим шепотом, чтобы не мешать собратям-делегатам слушать Щербицкого. Орденосец разбирался в том, что шептал и пророчил мне, что таких вот скоро всех выведут и исключат, и позатыкают пасти, и выметут из страны; видимо, старичок был из специалистов.

А я прижимал к груди прокурорский конверт с сургучами, думая, что ладони от волнения взмокли и не ровен час надпись на конверте размажется.

Так вот, под ругательный шепот звенящего ветерана, я пошел к трибуне.

Мне кажется, это нечто звериное во мне: кожей чувствую расположение или ненависть зала всякий раз, когда поворачиваюсь к людям лицом.

На сей раз это была ненависть. Такая густая и холодная, что я вздрогнул и понял: не говорить мне с этой трибуны долго. Минуты три будут набирать воздух в легкие, а затем затопают, заорут и не дадут мне слова сказать, сгонят проклятиями с трибуны. Я знал, что у меня есть минуты три, а больше мне и не надо было.

Я четко сказал о необходимости иметь в стране единый закон для всех, которому будут подчиняться также вожди коммунистической партии, и попросил не препятствовать следствию; повернулся к Горбачеву и подал ему папку. В меня незвано входило такое веселое, триумфальное озорство: я сделал то, что хотел, сделал!

— Это большой секрет, Михаил Сергеевич! — сказал я.

— Давай, давай! — скороговоркой ответил Генсек. По обе стороны от него, бледные и безмолвные, как мраморные скульптуры, глядели на меня Лигачев и Щербицкий.

Интересно, сколько человек, включая наблюдавших эпизод по телетрансляции, хотели меня убить в то время? Думаю, что немало.

На соседнее со звонким ветераном кресло я сесть не мог. Медленно, в ледяной тишине окаменевшего зала я прошагал по проходу между креслами Дворца съездов и, свернув налево, вышел из зала через боковую дверь.

Зачем я сделал это? Ведь не было в ту минуту никакой уверенности, что делу будет дан ход и, как случилось на самом деле, всех подозреваемых отдадут следствию. Важно было другое — мое состояние, в котором я уже не способен был поступать иначе; переход всех воспоминаний о свинстве,

накопившихся в душе и на сердце, в восстание, во взрыв против них. Так в любом из нас годами накапливается усталость от несправедливости. От несправедливости, разминающей тебя, унижающей и давящей, как пресс. Каждый из нас имеет собственные лимиты терпения и собственную форму восстаний, но само восстание обязательно случится рано или поздно, если ты еще человек. Все взрывается от малой малости, и в газетах не раз писали о том, как невинный начальник вроде бы ни за что получает оплеуху от прохожего — просто за косой взгляд. А на самом деле оплеуха была выстраданной, наболевшей, сборной — за все сразу.

Мы взрываемся. Я взрываюсь. Накопилась критическая масса. Статья двух следователей попросту оказалась пусковым моментом, камешком, обрушивающим лавину. Я вдруг понял, что стал другим, перейдя Рубикон, на берегу которого ждал так долго.

Ну вот, шел я по брусчатке Красной площади вдоль Кремлевской стены по направлению к Мавзолею.

Тогда же я подумал, что ни моя жена, ни мои дети никогда в Мавзолее не были и никто из них никогда не просил меня помочь им туда попасть. В театры — просили, в Оружейную палату Кремля — тоже просили, а в усыпальницу к Непогребенному — никогда. Все важные для посещения и интересные места Москвы они знали наизусть — почему же не эту гробницу? Они никогда не разговаривали об этом, но, видимо, критическая масса накапливалась и в них. Хотя визит в Мавзолее всегда был чем-то вроде знака социального положения; космонавтов туда водили перед полетом, иностранных президентов с цветами.

У нас вообще ничего не происходит просто так. Вот сегодня я позавтракал в Кремле, затем выступил с трибуны Дворца съездов и запросто шагаю теперь по Красной площади внутри оцепления. На сегодня — имею право; Система разрешила. Впрочем, она очень изменилась за несколько последних лет, эта Система. К сегодняшнему дню, а шло 29 июня 1988 года, многое стало иным. Вон я усомнился только что — с показом по телевидению — в порядочности людей с верхнего этажа власти — и земля не разверзлась, и теленачалство не поумирало от страха.

(Это в 1990 году, зимой, телеоператор, вышагивающий на Съезде народных депутатов СССР в проходе между рядами, сказал мне, что ему запретили наводить камеру на целый ряд депутатов — и на меня в том числе. Телена начальники в очередной раз хотели кому-то угодить.) Бедные наши телеведи, постоянно пытающиеся угадать допустимые пределы гласности, самый испуганный отряд в журналистской армии (если можно их считать журналистами). Они по традиции вздрагивают круглосуточно, воображая требовательное начальственное око, остановившееся на телеэкране.

Один из самых популярных советских теледикторов, живущий неподалеку от меня, однажды устал рассказывать, что ни дня, ни ночи теперь, потому что Горбачев отпирался в сибирско-дальневосточные регионы, а начальство рассчитывает программы таким образом, чтобы подгадывать, когда Горбачеву захочется включить телевизор, и в это время задвигают в эфир самые популярные дикторские физиономии и самые бесперебойные передачи. Разница в пояском времени велика, вот дикторы и торчат в студии чуть ли не постоянно...

Многие из нас кристаллизировались в десятилетие между восьмидесятыми и девяностыми годами; я наблюдал как бы со стороны перерождение собственной интеллигентской презрительности во все более активное состояние, в способность дать по физиономии, ввязаться в драку, исход которой неясен, но смысл четок. Я сам не ожидал, что измечусь так быстро; мне кажется, все мое поколение сводило счеты с прошлым и с собою самим. Пройдя сквозь самый, может быть, позорный период в истории Отечества, мы вдруг устали от всех унижений и начали искупать их поступками, запальчиво, самозабвенно. Я всегда воспринимал Горбачева как одного из нас, и поэтому меня никогда не покидало ощущение, что я его понимаю. Даже когда не понимал, даже когда возмущался, даже когда принять не мог, я задумывался над тем, что и самого себя-то я только начинаю требовательно и немилосердно понимать.

Ну вот, думалось все это, а тем временем слева разверзся черный проем входа в Мавзолее. Окаменевшие ангелы-часовые у врат не выказывали признаков жизни, и я повернул к Непогребенному, пользуясь своим правом ходить внутри оцепления. Громовержцы-привратники не встряхнули огненными мечами; я пошел в них, в кондиционированный полумрак гробницы Непогребенного и остался с ним один на один.



Маленький рыжеватый человек был в ту пору на два года всего старше меня; сейчас уже я старше обитателя Мавзолея. Он лежал в пуленепробиваемом прозрачном сооружении, полусогнув одну ладонь и расправив другую. Ощущение потусторонности не покидало меня, и его усиливал вид совершенно нездешнего человека, офицера, немигающе глядящего на меня с другой стороны саркофага. Под этим совиным взглядом глухонемого, но бдительного стража я обошел изголовье и вышел из кондиционированной прохлады гробницы в раскаленный московский день.

Передо мной высились гранитные соратники Непогребенного, самые-самые, замечательные. Вот и они, умные из умных, честные из честных. Дзержинский и Жданов, Суслов и Ворошилов, Брежнев, Черненко, Сталин... Если Система смогла родить лишь такие вершины, что же у нее в глубине?

Когда только что я слушал возмущенное гудение высшего из партийных собраний КПСС, угадывающего, которых четырех жуликов я имел в виду, за спинами возмущенных стояли вот эти монументальные Основатели. Сейчас я пришел к ним: от детей к родителям. Здравствуйте, товарищи Сталин, Свердлов, Калинин, Буденный, Брежнев! За стеной Кремля ваши наследники в последний, возможно, раз пытались только что отстоять свою и вашу неприкасаемость, безукоризненность, всевластность. Только ни фиги уже ни у них, ни у вас не выйдет. Ответить придется самому за себя. Все вожди и все поступки оказались непогрешимыми; начнется...

Это одна из ключевых мыслей в том, что сейчас пишу, и, мне кажется, едва ли не главный вывод из опыта многих жизней. Ничего не надо сваливать на эпоху, каждый отвечает сам за себя, Ленин за себя отвечает, Сталин, Бухарин, Троцкий, Черненко, Сахаров, Горбачев, вы, я — любой из живших и живущих на свете. Никто, никакая из самых репрессивных систем не в состоянии воспрепятствовать человеку быть честным или стать распоследней дрянью. Конечно, бывают обстоятельства, благоприятствующие тому или иному поведению. Но все решения — лично твои. И ответственность — лично твоя. Вся жизнь — приход к легкости и естественности решений. И если, скажем, какой-нибудь профессиональный патриот или, напротив, профессиональный шпион, состоящий у врагов в услужении, напишет на меня донос или поступит еще каким-нибудь неприемлемым для меня способом, мне надо, чтобы и в доносчике, и в подозреваемом была готовность отвечать за свои поступки. Ныне все кланяются в сторону Непогребенного и его гранитных соратников, объясняя, что все это они подучили, что это они создали обстановку, что никто, кроме этих Нетленных, не виноват ни в чем. Каждый ответит за свое; обязан ответить.

Я еще не написал эту книгу. Собственно говоря, и не книга это, а конспект книги, прикидка к завтрашним воспоминаниям, которые, быть может, напишутся, а может быть, нет. Поздние воспоминания слишком часто становятся подгонкой под ответы, диктуемые новыми временами. Поэтому мне хотелось написать о сегодняшнем — сегодня — и лишь оглядываясь на собственный опыт еще не в попытке понять и систематизировать время, а пытаясь постоянно и ответственно видеть себя в нем. Позже, когда душа прикоснется к осмыслению сегодняшних мимолетностей, начнет выверять их и, боюсь, редактировать своим новым опытом, все напишется по-иному. Сегодняшние воспоминания конденсированней и рискованнее; детали уже не вспоминаются и еще не придумываются: пишу конспект.

Знаете, что сегодня важнее всего для меня? Зафиксировать совершенно ясное ощущение, что мы вошли в новые времена и отныне должны стать другими, и должны не разрешить никому смять и унижить наши души еще раз. Страна наша возникла из ненависти и эгоизма, из политических амбиций очень ограниченной, но фанатичной группировки провинциальных политиков, вознамерившихся преобразовать мир. Я не могу обвинять этих людей в нечестности; они, полагаю, верили в то, что творили. Но достигали своих целей они методами совершенно безнравственными, зачастую преступными. Вот и один из главнейших уроков: ничего достойного нельзя достичь недостойными методами. Просто? Оказалось, что нет.

Второй урок представляется мне еще более страшным. Эпоха ненависти не завершилась, а достигла своего людоедского апофеоза. Силы, формировавшиеся в течение целого столетия, дважды взрывавшие двадцатый век мировыми войнами, топившие целые континенты в крови, в терроре, в не-

примиримости, — они ведь не слабели в последних десятилетиях. Холодная война несколько раз выталкивала человечество на грань новых кошмаров, военно-промышленные комплексы погребали нас под горами небывалых вооружений. Сегодня необходимо заявить о том, что эпоха ненависти окончена, отречься от идеологии ненависти, в том числе необходимо признать, что основополагающие принципы советской страны далеко не всегда человечны.

Или мы придем в человечество или мы погубим его и себя в нем. Альтернативы не существует. Наша государственно-партийная песня, похваляющаяся всех разорвать в клочья и разрушить мир насилия, не учитывала, что самым-самым на свете обществом насилия стало именно наше. Или во имя того самого светлого будущего все было позволено и человечество замарширует в коммунистический рай из-под палки? Эта книга — или конспект книги, зовите ее как угодно, — писалась очень беззащитно и честно. Я прекрасно понимал, что не все в ней придется по душе всем абсолютно, и нахожусь в постоянной готовности схлопотать за свои откровения. Тридцать лет назад я начал публиковаться в «Юности» с молодых, растерянных воспоминаний о своей работе. Воспоминаниями о работе я прихожу в сегодняшнюю «Юность». Дай Бог, чтобы все хорошо кончилось, и мы с вами все это дожили, дописали, дочитали...

## АНОНС: Альманах «Петрополь» №№ 3 и 4

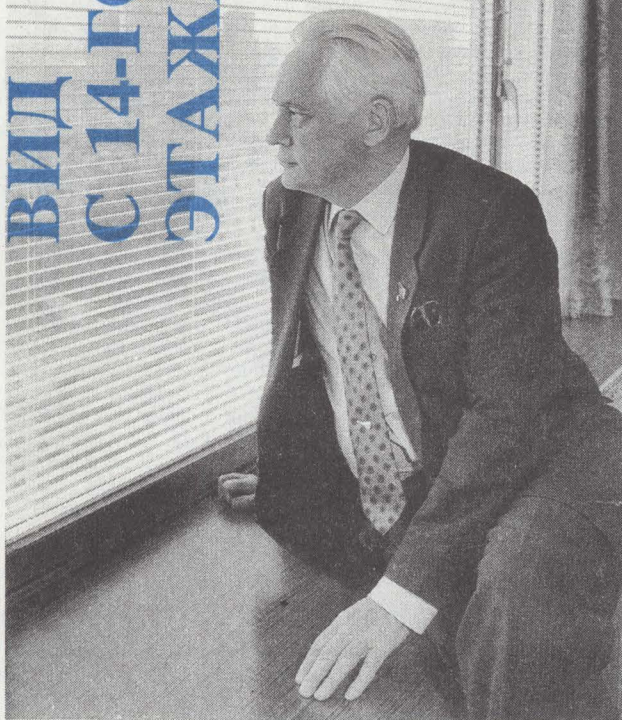
В третьем выпуске: повесть Сергея Довлатова «Лишний»; автобиографические записки Иосифа Бродского «Путешествие в Стамбул»; мистическая пьеса историка Льва Николаевича Гумилева «Посещение Асмодея»; сюрреалистическая проза Виктора Сосноры и Андрея Черных (с предисловием Александра Сокурова); эссеистика Андрея Битова (из цикла «Битва»), Якова Гордина; парадоксальная проза Валерия Попова и Саши Соколова и др.

Четвертый выпуск: повесть Александра Куприна «Купол св. Исаакия Далматского»; переводы из Кавафиса, выполненные Геннадием Шмаковым (под редакцией И. Бродского); эссе Иосифа Бродского о Кавафисе, историческая пьеса Давида Самойлова «Фарс о Клопове, или Гарун аль Рашид», повесть Виктора Сосноры «Охота на масонок», а также проза и поэзия Александра Кушнера, Владимира Микушевича, Татьяны Толстой, Саши Соколова, Александра Володина, Андрея Битова, Виктора Ерофеева и др.

Приложение к альманаху «Петрополь»: Борис Шапиро (Германия). «Соло на флейте» (стихотворения. Серия: русский зарубежный авангард). «Манхэттен на Неве». Современные американские поэты (на английском и русском языках с параллельными текстами).



# ВИД С 14-ГО ЭТАЖА



## Несколько вопросов академику Юрию Алексеевичу РЫКОВУ

— Какой пейзаж!

Представьте, виден дом в Староконюшенном, где я живу с рождения.

— Четырнадцатый этаж «небоскреба» на Новом Арбате — Комитет по науке Верховного Совета СССР — это и есть последняя крепость парламентской фракции МДГ?

— Нет, Межрегиональная группа — это такая реальность, которая опирается вовсе не на комитет по науке, хотя в нем работал, пока его незаконным образом не вывели, ответсек группы Аркадий Мурашев.

— Ваши выступления на сессии обычно выдержаны в телеграфном стиле — немногословно до крайности. Это от силы? От слабости? Или это форма психологического воздействия?

— Ничто из перечисленного. Все проще: «гибкость» регламента, привычка его нарушений для сегодняшнего ВС; искусство председательствующего сокращать иные речи до менее чем телеграфной длины; наконец, предельная выборочность трансляций, делающая бессмысленным выступление (с тем же успехом можно произносить зажигательную речь в камере-одиночке).

— Когда вы включились в политику? Первый раз я увидел и услышал вас, когда вы как «хозяин» ДК МАИ открывали учредительную конференцию «Мемориала», а второй раз столкнулся с вашим именем уже в списках избранных от Москвы депутатов...

— Для меня и многих моих сверстников со Староконюшенного политика всегда была интересна. И понимание происходящего родилось у меня не в пятьдесят и даже не в тридцать лет. При том, что наша семья напрямую не пострадала: отца взяли в 1929-м, но через полтора месяца отпустили с извинениями...

— Он был партийный?

— Нет, он был бухгалтер с небольшим дореволюционным стажем счетовода, а диплом о высшем образовании получил в сорок лет — в 1935 году. Мать окончила три класса сельской школы на Смоленщине... Так вот, понимание некоторых вещей пришло в 15—17 лет.

— Ректор МАИ — это человек из ВПК? Рыков — «падший ангел» ВПК?

— Во-первых, я не устану пропагандировать другую аббревиатуру — ВИК, военно-идеологический комплекс. Потому что заправляют там военные и идеологи. А промышленность, наука лишь обеспечивали нужный им уровень военного противостояния с остальным миром. Наука существовала на проценты с бомб и ракет, а все, что не удавалось подвести под военную крышу, умирало, подавлялось или превращалось в квазинауку. Мы сегодня требуем от экономистов рецептов выхода из кризиса, но если бы «точные науки» были десятки лет так идеологизированы, как общественные, и вдруг от них потребовали бы создать в 5—10 лет современный ракетно-космический или авиационный комплекс, дальше фанерного макета никто бы не продвинулся.

— Ну, а что же ректор МАИ?

— А ректор МАИ с самого начала занимался исследованиями, связанными с авиационной и космической техникой. Московский физико-технический институт — тогда еще факультет МГУ, который я окончил, был создан в 1947 году Сталиным, чтобы обеспечить специалистами разработку новых видов техники: реактивных самолетов, ракет, ядерного оружия, электроники, радиолокации... Так или иначе, но система сохранила в своих недрах интеллектуальный потенциал ученых, инженеров, конструкторов, высококвалифицированных рабочих. Я потому и вычлению из ВПК «П», что этот сравнительно легко конвертируемый потенциал желательно сохранять и дальше. А ВИК — ему сегодня быть бы живу, он хочет удержаться любой ценой. И у него нет уже сил и времени заботиться о перспективе, то есть об исследованиях и разработках, опытных производствах, по-прежнему, но он сохраняет огромные объемы производства оружия ценой обнищания народа. Перед военной промышленностью и связанной с ней наукой стоят сейчас серьезнейшие социальные проблемы. Но если затопленную шахту или разрушенную коксовую батарею можно со временем восстановить, то профессионализм, интеллектуальный потенциал, компетентность реставрировать бывает невозможно. Мы в комитете еще в 1989-м пришли к выводу, что страна тратит на военно-политическую безопасность больше, чем может себе позволить любое государство, а тем более — находящееся в нашем положении. В начале прошлого года у меня была статья на эту тему в «Новом времени», где я написал, что наш военный бюджет составляет не 70,9, а не менее 200 миллиардов рублей. Номер вышел в марте, а в апреле Горбачев, выступая на Урале, обнародовал цифру, приближавшуюся к названной мной. Никто ее с тех пор не оспаривал, только в «Правде» какой-то чудаки спустя год передернул, написав, что Рыков говорит о 200 миллиардах **долларов**. Хотя это относительная передержка, поскольку специалисты считают, что рубль в нашей военной сфере стоит (в долларах) много дороже, чем принято считать.

Но возникает вопрос: а что же есть безопасность, если понимать ее более широко? Как не только военно-политическую, но и экономическую, культурную, экологическую, информационную?.. Существует комплекс угроз, которые цивилизованное государство должно уметь парировать в меру возможностей и обстоятельств. Подобно тому, как в семье вы должны решать, что важнее сегодня, исходя из наличных ресурсов, — починить крышу? купить новый телевизор? Поэтому в конце зимы прошлого года я письменно и устно предложил Горбачеву создать группу для разработки концепции комплексной безопасности, где закладывались бы механизмы определения наибольшей или наиболее вероятной в каждый данный момент угрозы — и ресурсов, необходимых для ее парирования или предупреждения. Горбачев воспринял эту идею и даже — дело было накануне введения президентства — ввел меня, в дополнение к своему первоначальному списку, в комиссию по разработке поправок к Конституции. Позже, в конце апреля, распоряжением Лукьянова с санкции Горбачева была создана официальная группа народных депутатов во главе с Рыковым для работы над концепцией. Перед поездкой в Вашингтон Президент прочел нашу краткую записку, составленную по его требованию, и сказал, что вследствие важности вопроса он принимает его к своему рассмотрению. В результате сразу после нашего возвращения из Вашингтона состоялось второе распоряжение Лукьянова о том, что группа якобы свою задачу выполнила, вопрос переходит в ведение Президента, а депутаты могут продолжить эту работу в своих комитетах и комиссиях.

— И значит, концепция комплексной безопасности, о которой так много говорили, осталась благим намерением?

— Не совсем... Мы продолжаем работать со многими из тех, с кем начинали. Считаю, что уже созрели условия для



наполнения концепции конкретикой. То, что уже сделано нами, формирует некие начальные и граничные условия для разработки реформы армии, законов о госбезопасности, о внутренних войсках и так далее. Я потому и возражал на сессии против рассмотрения закона о КГБ, что нужно рассматривать — в лучшем случае — закон о госбезопасности, а комитет может быть встроен в эту структуру.

— Вы никогда не рассматривали себя во главе Российского комитета по обороне и безопасности?

— Это совершенно не по мне дело, так же как и предложенное мне Ельциным премьерство в России. Перед моим выступлением с самоотводом в ВС РСФСР одну идею мы успели с Ельциным обсудить — идею «вневедомственной» консультативной системы российского руководства. Я сказал, что в пределах своей компетенции готов таким вот образом служить России. Так возник Высший консультативный совет при председателе ВС России, в котором я являюсь заместителем председателя на «общественных началах». И дело это мне интересно. Там выступают умные, знающие, независимые во мнениях люди, не пытающиеся подлаживаться ни под Ельцина, ни тем более под его заместителей. Когда Президиум ВС Союза еще руководил Горбачев, заседания часто превращались в его монологи. Речи же Ельцина на консультативном совете занимают мизерное время, он слушает, записывает, задает вопросы. А как иначе, если собираются двадцать человек?

— Роль советника политического лидера — это драматическая роль... Если Ельцин «зарвется» или круто переложит руль своего корабля — допустим такую ситуацию, — как вы поведете себя на уровне личном? публичном?

— Если совершится неприемлемый для меня поворот — что вряд ли, — то и здесь возможны варианты. Например, вариант, когда я готов буду допустить, что он поступает по своему правильно, хотя останусь при иной точке зрения; в этом случае мне будет достаточно сознания, что я за выбранную линию не выступал. Либо скажу ему: «Я пошел!» Если же это будет такой поворот, какой Михаил Сергеевич начал осенью 1989 года, после «оттепели» лета 1990-го, а совершенно определенно переложил руль в ночь между 30 и 31 августа, во время двухдневного расширенного Президентского совета, посвященного рассмотрению «500 дней» (я там присутствовал и выступал), — вот в таком варианте, пожалуй, было бы наиболее уместно публичное отмежевание.

— Итак, Рыжов остается пока на 14-м этаже?

— Искушение оставить кресло председателя парламентского комитета у меня велико. Но думаю, да и единомышленники и друзья считают, что нужно дотерпеть до естественного конца этого «выборного органа»: видеть происходящее «изнутри», да и потом что-то, хоть и немного, иногда делать, порой чего-то не допустить, как, например, в случае с освобождением Голембиовского от должности первого зама редактора «Известий»... Тогда попытка келейного решения получила огласку. Это называлось «утечка информации». Думаю, что такая утечка бесполезна.

Когда на Президиуме ВС обсуждалась антикризисная программа Павлова и кто-то выступил со сбивчиво-трагической оценкой положения, Лукьянов сказал: «Я бы тоже мог вам порассказать кое-что о нашем истинном положении, но ведь это через двадцать минут станет известно всем!» (Видимо, камень в мой огород.)

Думаю, всем становящимся на политический путь, включая действующих сегодня лидеров, надо трезво сознавать, что в тотальные переходные периоды, подобные тому, в который мы вступили, сходят с политической сцены несколько слоев и структур и олицетворяющих их личностей. Возникают, отменяются, реформируются структуры, институты, уходят и приходят люди... Независимо от того, в какую — хорошую или плохую — сторону идет процесс, смена неминувна. И если ты понимаешь, что «ложишься на амбразуру» во имя своего понимания общественных и личных задач — личных в хорошем смысле слова, если считаешь, что этим будет сделан хоть малый шаг в сторону желаемого, к тому, чтобы стали необратимыми позитивные, на твой взгляд, изменения, — с Богом! Если же в какой-то момент оставить своей единственной целью удержаться «на плаву», посчитав неразрешимыми те задачи, которые вначале ставил перед собой, то это и безнравственно, а в практическом отношении бессмысленно и бесперспективно.

Спрашивал Рустам РАХМАТУЛЛИН



Анна  
ЛЫСЮК

Дебют в  
«Юности»

☆☆☆

Почтовый ящик. Дверь. Звонок.  
Тоска...

Подъездная дыра... могила...  
Нетерпеливо сжатая рука  
безвольно  
опустилась  
на перила.

В тисках беды и мертвой тишины,  
Стою упрямо,  
тупо  
глядя  
в стену,  
Как в зеркало  
с обратной стороны.  
Лишь чувствуя  
свою измену.

Ступени вверх —  
Но наверху — тупик.  
Ступени вниз,  
Но мне куда уж ниже?  
А лестничный пролет угрюм и дик,  
и холодом  
колени  
лижет,

И я молю, чтоб только ты впустил!  
Чтоб дом  
моим страданием огласился  
сейчас!  
А не потом, — когда простил...  
Сейчас.  
А не потом, когда — простился...

### Меланхолия

Надену румяные щеки,  
Надену бордовые губы.  
Надену глаза и ресницы  
И буду глядеть из окна.

И буду стоять — руки в боки,  
И будут прохожие шубы,  
Как дикие звери и птицы,  
Пасть под окном дотемна.

И будут любиться украдкой,  
И будут ходить к водопою,  
И будут рычать друг на друга,  
И сильные слабых съедать.

И будет охотник с рогаткой  
Ехидно трясти бородою, —  
Стой, стой, дорогая подруга,  
Тебя превосходно видать...



Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

## ДЕЛО БЫЛО В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ

# VLADIMIR CHAMBER CHOIR

SECOND UNITED STATES TOUR

*Song From  
The Heart  
Of Russia*



EDUARD MARKIN,  
DIRECTOR

S U M M E R 1 9 9 0

Мой гостиничный номер уже был оплачен, а в ресторане мне бесплатно подавали обед и завтрак. Как тут не похвалиться на похвалы с таким размахом затеянному фестивалю? Но, осмотревшись, я убедился, что влип, ввязавшись в эту историю.

Дело было в городе Владимире, где в конце апреля Товарищество режиссеров (новоявленное объединение российских режиссеров, проработавших многие годы в провинции) затеяло фестиваль «Золотые ворота», который громогласно рекламировался и как «первая широкомасштабная акция постоянно действующего международного театрально-культурного фестиваля «Рубежи», и как начало «благословенного пути, который предстоит пройти отечественной культуре, чтобы вернуть былую славу российским городам, ныне имеющим статус провинциальных», и так далее и тому подобное. Начался фестиваль с панихиды в Свято-Успенском соборе, которая была представлена как «дань памяти великим мастерам от принявших их эстафету» (отпевались, к примеру, и Александр, то есть Галич, и Владимир, то есть Маяковский, и два Андрея — Миронов и Сахаров, а вы как думали?!), а завершился фейерверком у здания Владимирского обла-

стного драматического театра им. А. В. Луначарского, на сцене которого все фестивальные дни другие провинциальные театры показывали спектакли, поставленные, разумеется, членами Товарищества.

Эмблемой фестиваля был выбран буддийский знак «Мандала» (в поисках созвучия нахожу вандала и усаживаю его у мангала), символика которого, как гласил пресс-релиз, «концентрирует в себе важнейшие философские проблемы, связанные с взаимоотношениями Человека и Вселенной». Но и «Мандала» не вывел фестиваль на вселенский уровень. Каждый спектакль — визитная карточка членов Товарищества — давался дважды, но второй показ уже не собирал зал. И даже уважаемые писатели, имена которых у всех на слуху, наезжавшие в эти дни во Владимир, не всколыхнули город...

Объективности ради зададимся вопросом: а не в том ли промашка, что сей культурный десант, щедро экипированный преуспевающим спонсором, был выброшен не по адресу? Еще Чехов обмолвился, помнится, что нет в России более скучного губернского города, чем Владимир...

Но однажды днем к концу первой фестивальной



недели во Владимир прикатили два внушительных автобуса с дипломатическими номерами. Миновав театр им. А. В. Луначарского, они нырнули под арку Золотых ворот, а затем свернули на мощенную булыжником и украшенную коваными фонарями улочку. Эта улочка ведет к Георгиевской церкви, которая стоит на том самом месте, где в XII веке был княжеский двор Юрия Долгорукого, а теперь здесь двор театральный и под сводами храма звучит хоровая музыка. К «Театру хоровой музыки» и подкатили автобусы, ибо в тот вечер выступление владимирцев ожидалось в Москве, в резиденции американского посла.

Как видите, американцы — в отличие от наших столь деятельных соотечественников из Товарищества режиссеров — прекрасно знают, что провинциальный Владимир славен ныне возрождением хорового пения — той высокой культурной традиции, которая создавалась веками в этом российском «богоспасаемом граде». Вот и я, когда познакомился с художественным руководителем и дирижером театра в Георгиевской церкви Эдуардом Митрофановичем Маркиным, сразу приободрился и поспешил — с чистой совестью — отделиться от фестивального десанта.

Признаться, я долгое время хорового пения сторонился. «Как приятно прийти после работы домой и попеть хором» — была такая репризная фраза в одном из образцовых спектаклей. Мы жили в путах коллективизма — хором славили партию и правительство, свой созидательный (только так!) труд... Да еще и петь хором? Избавьте, если возможно. Знакомый врач-психиатр, утверждавший, что хоровое пение отменно стабилизирует олигофренов, привела меня однажды на первомайский вечер, где хор ее пациентов старательно исполнял все то, что полагалось исполнять каждому хору, — песни о родине, о партии. Что ж, действительно хор как хор, разве что солиста не было — дирижер не рисковал выделять кого-либо.

Ушло, надеюсь, безвозвратно то время. Но его сменила разноголосица — чистый голос то истеричностью захлестывается, а то в спекулятивной фальши тонет. Те же, кто вчера еще — с металлом в голосе! — пел о партии, сегодня Бога сладенько славят. «Сегодня все — мастера церковной музыки, — говорил мне Маркин, — но мало кто техникой владеет и действительно постиг особенности русского песнопения». В этом театре под куполом Георгиевской церкви Маркин священнодействует: то и дело меня мизансцены, он устремляет своих хористов, чтобы гласом своим они не только «ко Господу возвах», но и меня — суетного, приземленного всем кругом нынешней жизни человека — побудили бы встрепетаться, очистительными слезами умыться и просветлеть хотя бы на миг, на час поначалу.

А вне своих вознесенных к куполу храма стен Маркин, казалось бы, обречен пусть вдохновенно, но лишь дирижировать. Однако хор, который годами в жестокой и временами почти безнадежной борьбе с двухголовым державным меем (одна голова — идеологически изоциренная, другая — быдловатая и то сонная, а то пьяная), он вел к постижению дивной музыки погребенной в нашем беспамятстве древней Руси, и в обычном зале повергает тебя в трепет. Так было и в резиденции американского посла, что в Спасесковском переулке.

После антракта, когда зазвучала уже светская, народная музыка, ведущая вызвала в зале немалое оживление, объявив, что будет исполнена русская народная песня «Ах ты, ноченька», а солирует Мэтью Джексон, гражданин США, который обосновался во Владимире, чтобы познать русскую хоровую музыку.

Огромный Джексон пробасил «Ноченьку» почти без акцента, сдержанно, чуть склонив голову, поблагодарил соотечественников, которые бурно ему аплодиро-

вали, и вновь занял свое уже привычное место в первом ряду хористов.

Владимирский камерный хор Джексон впервые услышал в прошлом году в Сиэтле, где тот открывал Игры доброй воли, и, забросив все свои дела, этот певец-любитель ездил вместе с хором, пока тот гастролеровал в Штатах, а когда гастроль закончилась, упростил Маркина взять его в ученики.

Узнаешь то и дело, что кто-то готовится уехать в Америку (Маркин заметит с горечью, что так в свое время в поисках больших жизненных благ многие, покидая провинцию, мчались в Москву), а вот Мэтью Джексон намерен обосноваться всерьез во Владимире — дом купить и чтоб были у него свой сад, своя кошка, своя собака. Обратившись во Владимире к врачу — врач оказался женщиной по имени Рая, — он влюбился в нее, и недавно они поженились.

Живя в Штатах, Джексон побывал лишь в Мексике и Канаде, теперь же летом собирается в Белоруссию, на родину Раи, а в октябре с мужской группой хора и капеллой мальчиков — в Болонью, где будет праздноваться 600-летие собора святого Петрония, и в сводном хоре самых славных певческих городов Европы и Америки будет представлен и наш Владимир. К Маркину приезжали уже итальянцы — ноты привезли, ибо целый час им предстоит петь итальянскую музыку.

Во второй половине мая я вновь побывал во Владимире. Мой коллега Николай Алексеев, который отбыл весь уже описанный фестиваль, представляя городскую газету «Молва», подтвердил мои сомнения. Мы сошлись и на том, что был на фестивале спектакль, который и на первом представлении не собрал полный зал, а жаль — речь вели о фантастической драме «Зверь», поставленной молодым режиссером Олегом Хейфецем в Пензенском областном драматическом театре. Николай сообщил, однако, что приз за лучшую режиссерскую работу владимирские журналисты вручили как раз Хейфецу. Был подготовлен уже и совсем иной, но столь же закономерный для этого фестиваля приз — за худшую режиссерскую работу, но милосердие возобладало...

А Эдуард Митрофанович Маркин — я приехал к нему на закрытие сезона — познакомил меня со своей солисткой Ольгой Янгоровой. Она преподает музыку в Добрынской сельской школе (30 минут на автобусе от Владимира). С первого по девятый класс, два раза в неделю. Так ученики попросили, так попросили родители. Много ли в стране средних и неполных средних школ, где музыка — один из ведущих предметов? А несколько раз в год добрыньские колхозники целиком заполняют зрительный зал Георгиевской церкви — приезжают празднично одетые, с охапками цветов. Свою любимую учительницу послушать и вообще...

Маркин убежден, что, если бы даже церковные врата не были нынче так широко открыты, народ все равно бы хлынул в церковь. В стране беда, а русский народ, оказавшись в беде, всегда к Богу взывал. У Максимилиана Волошина есть пророческие строки, которые посвящены чудотворной иконе Владимирской Богоматери (эту икону великой заступницы еще Андрей Боголюбский в XII веке привез во Владимир):

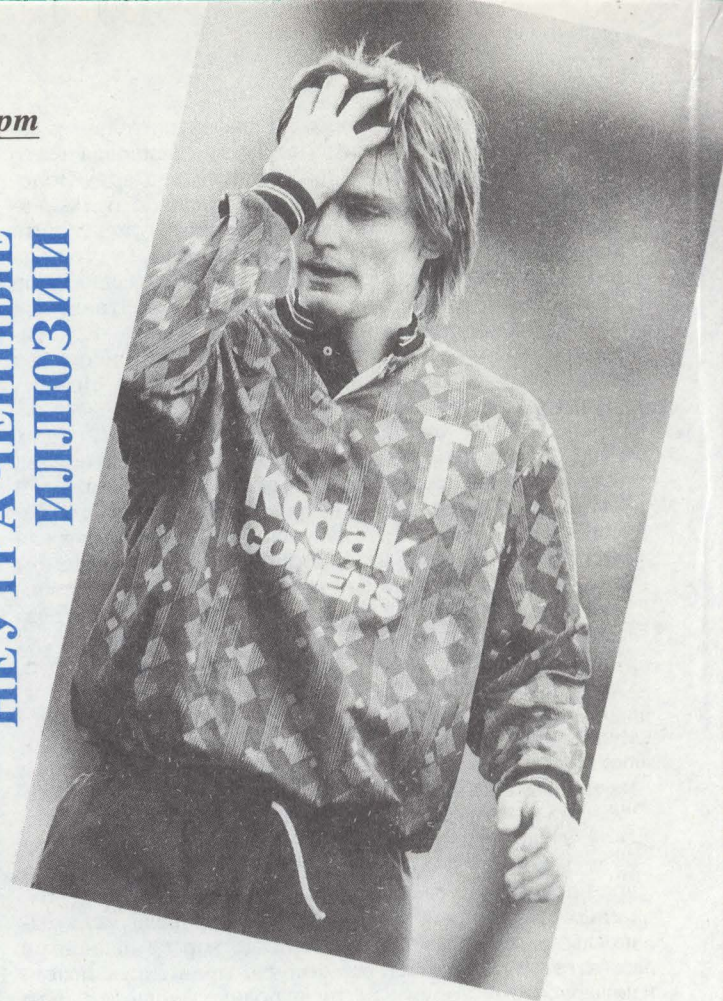
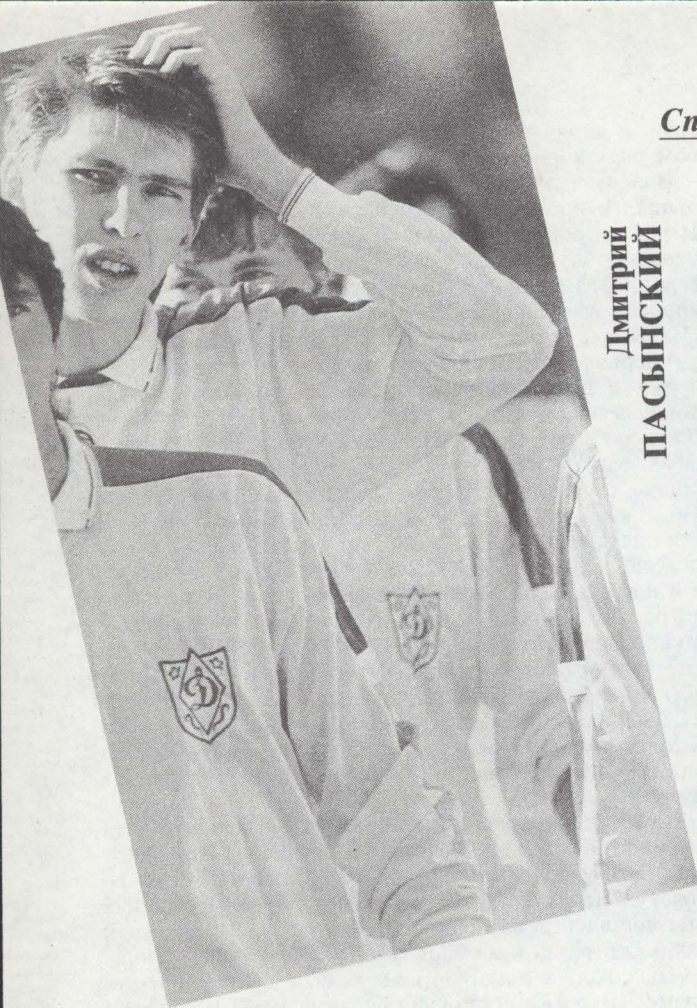
Она в тревоге и печали  
Чрез зыбь грядущего глядит  
В мировые рдеющие дали,  
Где закат пожарами повит...

Удастся ли нам загасить этот пожар? Неистовый Маркин зовет в свою Церковь, триединый символ его веры — Музыка, Бог и Человек.



Дмитрий  
ПАСЫНСКИЙ

НЕУТРАЧЕННЫЕ  
ИЛЛЮЗИИ



Задремав на заднем сиденье, я не сразу понял, что произошло. Евгений Маликов, видеооператор футбольной сборной страны, на «жигуленке» которого поздним зимним вечером мы выбирались из Новогорска в Москву, выругался и, вдарив по тормозам, юзом выкатил машину на обочину: на самом темном участке автотрассы дорогу нам перегородил мотоцикл «гаишников». Сержант, нетерпеливо постукивая жезлом по бамперу, потребовал у Маликова ключи от багажника.

— Была у меня сначала мысль проскочить, не останавливаясь. — «Засада» осталась далеко позади, но Маликов продолжал чертыхаться сквозь зубы. — Сейчас ведь в Подмосковье несколько банд таких орудут: переодевшись в милицескую форму, останавливают машину, а потом уж никто не сыщет ни водителя, ни его «тачку», загнанную втридорога...

Минуты совместно пережитой, пусть и мнимой, опасности располагают к взаимной откровенности, и поэтому разговор наш, вернувшись из детективного русла в футбольное, приобрел оттенок бльшей доверительности.

Маликов, единственный человек из «штаба» Лобановского, перешедший и в «команду» Бышовца, переспросил:

— Чем, говоришь, ребята из новой сборной отличаются от тех, кто работал много лет с Лобановским? Если не вдаваться в детали, то они на порядок раскованнее — и на поле, и в жизни.

— Это понятно. Вопрос в том: почему?

— Сам посудите: какая у их предшественников перспектива была? Ну, один турнир выиграли, другой, «видик» из поездки привезли, машину купили... А дальше — все, стена! Замкнутый круг поездок и покупок до тех пор, пока «по старости» не спишут в архив. Когда вдруг в 1988-м возможность открылась поиграть за рубежом, пожить там в человеческих условиях, то для многих это таким потрясением стало. Столько лет нельзя — и вдруг можно! Рванули на Запад, собственной удаче не веря... Сам знаешь, у большинства не очень-то дело там пошло. Психологию ведь за сезон не перестроить. А нынешние — совсем другие. Они спокойно ждут своего часа. И не просто ждут, а знают: чем больший рейтинг наберут, играя за сборную, тем выгоднее будет зарубежный контракт. Потому и атмосфера в команде иная: почти не услышишь разговоров о том, кто что «купил-продал», нет в глазах прежней тоски и безнадёги.

Как же так?! — возмутятся «социально озабоченные» обозреватели, для которых футбол всегда был зеркалом общественной жизни. В стране — разруха, все разваливается буквально на глазах, кровь в конце концов льется. А тут рисуют, видишь ли, «футбольную идиллию»... Да вы на стадион, на любой матч чемпионата страны загляните: посещаемость падает, класс игры снижается, от договорных ничьих спасу нет!

Все это так, но вот парадокс: в том же чемпионате выступает возродившийся, как Феникс из пепла, ЦСКА, и, видя футбол в исполнении армейцев, даже неискушенный человек понимает, что для молодых футболистов и их тренера Павла Садырина игра в удовольствие. А на международной арене радует глаз и тешит наши надежды сборная СССР — команда Анатолия Бышовца, которая на поле не очки вымучивает, а опять же — играет. Компанию в ней опытным Алейникову, Михайличенко, Уварову составляют те, кому 25 и меньше, — Кульков, Добровольский, Шалимов, Канчельскис, Мостовой, Юран, Колыванов, Чернышов...

К Чернышову у меня отношение особое.

У многих он вызывает скепсис. Разве таким должен быть «столп» обороны, футболист, на котором держатся все защитные построения? Еще ведь в памяти игра такого непревзойденного «либеро», как Александр Чивадзе, а если взять мировой масштаб, то сам Франц Беккенбауэр задал каноны в этой позиции на десятилетия вперед.

23-летний защитник московского «Динамо» и сборной страны Андрей Чернышов на фоне степенных и умудренных опытом предшественников не смотрится: и фигура по-юношески нескладная, и голос, которым он раздаёт указания партнерам, то и дело срывается на фальцет. С неизменным уважением о нем отзываются лишь соперники. «Понимаешь, — втолковывал мне один из наших ведущих форвардов, — Чернышов просчитывает все ходы в игре на три-четыре вперед. Кажется, уйдешь от защитников, оторвешься

На снимках: и Андрей Чернышов (слева), и Юрий Тишков сознают, какие надежды на них возлагаются.

Фото А. Федорова.



ся, и вдруг, откуда ни возьмись, у тебя будто ластой мяч с ноги снимают. Поднимаешь голову — Чернышов».

Сам Андрей к пересудам относится философски: «Я знаю, что некоторые даже пари заключают: сколько игр я в сборной продержусь, сколько в клубе... Но меня это только подстегивает».

Я в последнее время стал внимательнее присматриваться к его футболу. Что-то подсказывает: этого парня действительно не так просто выбить из седла. Но интересен Чернышов не только на поле.

Помню, как на «заре перестройки», в 1986 году, скандалом обернулось опубликованное в «Комсомольской правде» интервью киевлянина Дэви Аркадьева с лучшим футболистом сезона Александром Заваровым. Тот, на редкость откровенно рассказавший о своих былых прегрешениях (попросту говоря, о пьянстве, долгое время мешавшем раскрыться его таланту), затем публично отказался от своих слов. Уязвленный Аркадьев предоставил расшифровку записанного на магнитофон разговора. И оказалось, что пленка зафиксировала монологи журналиста, в которых он фактически «наговаривал» Заварову «текст слов». Сам же футболист отделивался репликами типа: «Ну так и было... Да кто же этого не знает?»

Постоянно общаясь в качестве корреспондента еженедельника «Футбол» с нынешним поколением футболистов, могу сказать одно: подобные инциденты сейчас исключены. Большинство из ребят за словом в карман не лезут. Но понастоящему интересно говорить лишь с некоторыми. Чернышов — из их числа.

— Андрей, а чего больше футбол тебе принес: разочарований или «взлетов»?

— И того, и другого хватает. Сначала, пожалуй, больше было разочарований. Первое из них — я тогда учился в шестом классе — самое, наверное, сильное. Тренер, которого я боготворил, каждое слово которого было для меня законом, решил перейти из спортшколы «Смена», где мы тренировались, в другой клуб. И взял с собой одиннадцать наиболее, на его взгляд, перспективных ребят. А остальных, и меня в том числе, бросил на произвол судьбы. Ночами тогда не спал, плакал в подушку... Потом, когда уже играл в команде мастеров, пришлось пережить потерю лучшего друга. Мы с ним были знакомы с детских лет, потом вместе попали в динамовский дубль, жили всегда на сборах в одной комнате. А когда у меня дела пошли в гору (его карьера складывалась не так удачно): в «основе» закрепился, получил приглашение в сборную — он вдруг перестал со мной разговаривать. Очень болезненным был тот разрыв.

— А «взлеты»?

— Ну что тут сказать? Сбылась мечта детства — играть в сборной. А кроме того, не стань я футболистом, вряд ли смог бы создать нормальные — в материальном плане — условия для нашей с Олей семейной жизни. Хотя выходила она за меня замуж три года назад, когда мое будущее было в сплошном «тумане». Ей перед свадьбой звонили доброжелатели: «Опомнись, что ты делаешь? Чернышов — это же полная бесперспективность с пустым карманом».

— Выскажу предположение, что сейчас твой карман отнюдь не «пуст». Вообще насколько ты знаком с реальной жизнью своих «рядовых» сограждан? Говорят, что вам, футболистам, все достается на блюдечке с голубой каемочкой...

— Да нет, все проблемы известны не понаслышке. Продукты в очередях добывают жена и родители. Живем мы сейчас в Выхино, в квартире Олиных родителей, а прописаны в комнате «коммуналки»... Правда, машину я купил несколько месяцев назад. Хотя с этим приобретением что-то потерял: раньше — на метро и троллейбусе — добирался до «Динамо» часа за полтора. Успевал прочесть газеты, книги. Сейчас же на все интересное не хватает времени. Так что читаю в основном на сборах.

— Если не секрет: что?

— Как правило, книги на исторические темы. Недавно прочел романы Мережковского о Леонардо да Винчи и Сенкевича о царствовании Нерона.

— А более актуальными вещами не интересуешься?

— Года два назад старался не пропустить ни одной «политической» статьи. А в последнее время что-то охладел: столько слов уже сказано — и ничего не меняется. Я ведь до того, как в первый раз — в 1988-м — выехал за рубеж, был «правверным» комсомольцем. Но с тех пор мои взгляды изменились на 180 градусов.

— Ты ведь даже комсоргом в «Динамо» успел побывать?

— Да, я уезжал с молодежной сборной, и в это время на

динамовском собрании «без меня меня женили». Потом был как-то на приеме у секретаря комсомольской организации Центрального совета «Динамо». Он мне стал рассказывать о перспективах моей политической карьеры. Смешно это все вспоминать. Собраний мы уже год как не проводим, взносы не собираем. Все само собой отмерло.

— Сакраментальный вопрос: собираешься поиграть на Западе?

— Конечно. Но непременно в приличном клубе, где будет возможность не только заработать деньги, но и сохранить игровую репутацию.

Да, нынешние ребята куда как отличаются от «распахнутых» (может, чересчур широко «распахнутых» — вспомните судьбы Воронина, Стрельцова, Численко) «шестидесятников» и от своих замкнутых предшественников — «семидесятников» и «восемьдесятников». С одной стороны, все у них просчитано, а с другой, репутацию на деньги, пожалуй, не променяют.

Ну, скажите, кто мог подумать в июле прошлого года, когда 18-летний Юра Тишков впервые появился в основном составе московского «Торпедо», что в конце сезона этому юному форварду будет посвящена сенсационная «шапка» в одной из газет: «Миллион за Тишкова»?! Но шума за полгода Юрий действительно наделал немало. Легкий, быстрый, прекрасно играющий головой, он с шестью мячами долгое время лидировал в споре бомбардиров в турнире Кубка УЕФА, и лишь весной его смог обогнать чемпион мира немец Феллер...

Так получилось, что свое первое в жизни интервью — осенью 1990-го — Тишков дал автору этих строк. И меня в те десять — пятнадцать минут разговора накоротке удивили его не по возрасту серьезные, взвешенные ответы, интеллигентная манера общения. Да и биография у парня была нестандартная: выяснилось, что, уже играя за дубль «Торпедо», он ни в какую не соглашался переходить в так называемый спортивный спецкласс, а продолжал совмещать тренировки с учебой в... физико-математической школе. «Знаете, все-таки нужно было и какой-то культурный уровень набрать. Жизнь ведь не ограничивается одним футболом», — сказал он тогда.

Снова мы с ним встретились уже в мае, в разгар нынешнего сезона. Тишков, два месяца не игравший из-за травм, постепенно набирал форму, провел несколько матчей за «Торпедо», «подключался» и к сборам олимпийской команды, в которой ему предназначена одна из ключевых ролей.

— Юра, так что это за история была с «миллионным» контрактом?

— По-моему, газетчики выдали желаемое за действительное. После матча с «Монако» в Монте-Карло ко мне, и вправду, подходили какие-то люди с предложениями... Однако потом о них не было ни слуху ни духу. Но я точно могу сказать: даже если бы такой контракт существовал в действительности, я бы сейчас его подписывать не стал. Надо сначала здесь заиграть по-настоящему.

— Что значит — «по-настоящему»?

— Во всяком случае, не так, как наше «Торпедо» сейчас играет. Ведь настоящий футбол — это красивое зрелище, на которое публика валом валит. А у нас на матчах — по 2—3 тысячи зрителей. Главная беда в том, что есть команда, но нет коллектива. Все-таки мы (сейчас в основном составе «Торпедо» еще несколько ровесников Тишкова. — Д. П.) и «старички», те, кто «отпахал» на поле уже по десять лет, не можем найти общий язык. Меня не покидает ощущение, что многие из них думают только об одном: «хорошо» уехать в любой норвежский или финский клуб и безбедно дожить доиграть там еще отпущенные в футболе годы. Я их ни в коем случае не осуждаю, но ведь хочется, чтобы «Торпедо» имело свое лицо. А как этого добиться, если и к футболу, и к жизни мы с ними относимся совершенно по-разному? Самое страшное, что может быть, — это если через 15—20 лет болельщики скажут обо мне: «А, Тишков? Ну как же — «работяга», «пахал» на поле будь здоров». И совсем другое дело если так: «Тишков? Он играл...» А иначе зачем тогда все это?..

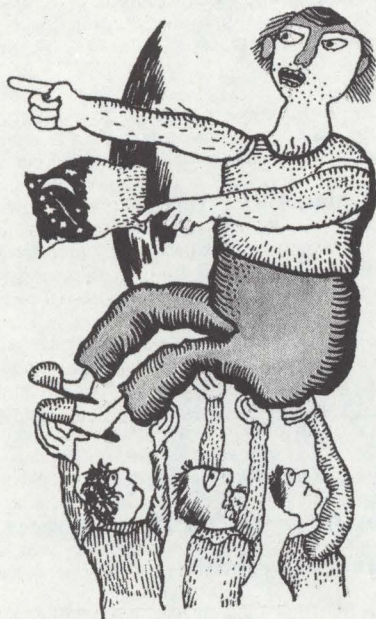
Пусть меня обвинят в пристрастиях и субъективизме, но мне симпатичны эти ребята — футболисты начала 90-х — и те, кто в сборной, и те, кто на подступах к ней. Импионируют как игроки, импионируют как личности. Они — благополучные, перспективные, неозлобленные — символы еще не утраченных нами иллюзий. А может, не иллюзий — надежд?





Герман ДРОБИЗ

Из цикла «ВХОДЯТ ТРОЕ»



## Генсек

Снится Сергею Ивановичу, что раздается звонок в дверь и входят трое мужчин. Один смущенный, другой улыбочивый, третий строгий.

Смущенный говорит:

— Извините за беспокойство.

Улыбочивый говорит:

— Поздравляю от всей души!

Строгий говорит:

— Но не вздумайте отказываться.

— Не понял, — отвечает Сергей Иванович. — Прощу садиться.

Смущенный говорит:

— Как можно в вашем присутствии.

Улыбочивый говорит:

— Это для всех такая радость, такая радость!

Строгий говорит:

— Сергей Иванович, в клубе коммунальников идет первый учредительный съезд нашей партии. И товарищи только что единогласно избрали вас генеральным секретарем. Поэтому просим вас пройти с нами в президиум съезда и выступить с политическим докладом.

— А почему именно меня? — растерялся Сергей Иванович.

Смущенный говорит:

— Вы еще спрашиваете.

Улыбочивый говорит:

— Вы же наш человек, сразу видно.

Строгий говорит:

— К сожалению, более крупной фигурой не располагаем.

— А что за партия у вас, товарищи?

Смущенный смутился, улыбочивый улыбнулся, а строгий говорит:

— Люди ждут, Сергей Иванович. В троллейбусе поговорим.

Но в троллейбусе поговорить не удалось: теснота, шум.

А вот и клуб коммунальников.

— Как все-таки называется ваша партия? — спрашивает Сергей Иванович, поднимаясь по лестнице. — Мне как генеральному секретарю это важно.

Смущенный говорит:

— Вы правы, Сергей Иванович. Я тоже считаю, что название должно быть другим. Покороче.

Улыбочивый говорит:

— Как назовете, так и будет. На то вы и генсек!

Строгий говорит:

— Такие вещи с кондачка не делаются. Если вас не устраивает название — давайте соберем Центральный Комитет, подумаем, обмозгуем. А сегодня этот вопрос лучше не поднимать, потому что и без того есть фракционеры.

Зал встретил Сергея Ивановича овациями. Все встали.

— Товарищи! — говорит Сергей Иванович. — Благодарю за доверие. Теперь о нашей политической линии. Я не ошибусь, если скажу, что она нацелена на... демократию?

Аплодисменты. Выкрик из зала:

— Смотря на какую!

— Совершенно верно. Не на такую, на какую нацеливают народ наши оппоненты, а на демократию в нашем партийном понимании!

Бурные аплодисменты.

— Теперь о нашей государственной линии. Это... я думаю... суверенитет?

— Смотря в каком смысле!

— В том-то и дело. Суверенитет, но в нашем смысле, а не в том, в котором его подсовывают народу наши соперники!

Бурные аплодисменты.

— Теперь о нашей экономической стратегии. Это... если я правильно понимаю настроение моих товарищей по партии... многоукладность?

— Смотря что понимать под «много-го»!

— Под «много», я думаю, надо понимать столько, сколько поддержит и выдержит народ!

Бурные аплодисменты.

«Пока угадываю, — с удовлетворением думает Сергей Иванович. — Но что же это, черт побери, за партия? Скажут когда-нибудь?»

— И, наконец, в плане свобод и прав человека. Тут я, может быть, совпаду не со всеми, но полагаю, что плюрализм нам...

— Не нужен!

— Вот, совершенно верно. Зачем нам плюрализм...

— За тем, чтоб был свободный обмен мнениями!

— Вот, товарищи, зачем нам нужен плюрализм...

— Да не нужен! Не нужен!

— ...казалось бы, но с другой стороны...

— Плюрализм и без всяких сто-рон!

Сергей Иванович наклонился к президиуму и шепчет:

— Ну?

Смущенный говорит:

— Извините, товарищ генеральный секретарь. Пестрая социальная база.

Улыбочивый говорит:

— Гни свое, генсек, если имеешь.

Строгий говорит:

— Неужели непонятно, товарищ генеральный, что по вопросу плюрализма съезд раскололся. Вы-то еще зачем нагнетаете?

— Товарищи, — говорит Сергей Иванович, — как известно, по всем вопросам мы имеем одну линию, а по плюрализму — две. Зачем же нам нагнетать в знаменательный день заключительной работы съезда? Оставим вопрос на проработку, создадим комиссию, на следующий съезд она вынесет. А пока будем работать, кто хочет — с плюрализмом, а кто хочет — с чем хочет. И давайте, товарищи, работать, а не болтать! Народ ждет!

Бурные аплодисменты. Сергей Иванович тоже зааплодировал. Да так громко, что жена проснулась. Видит, супруг во сне в ладони бьет.

— Ты чего расхлопался ни свет ни заря, спать не даешь?

Открыл Сергей Иванович глаза, аплодировать прекратил. И говорит:

— Неудобно получилось. Меня там, во сне, генеральным секретарем выбрали. А что за партия, так и не понял.

— А ты спроси.

— Неудобно. Я уж доклад сделал. Или спросить?

— Спроси, спроси, только дай поспать.

Решил-таки спросить Сергей Иванович и с этой целью снова уснул. Но как ни старался, больше в этот сон не попал. Так и живет генсексом, а какой партии — неизвестно.

## Морильщики

Снится Сергею Ивановичу, что раздается звонок в дверь, и входят трое мужчин с чемоданчиками. Один смущенный, другой улыбочивый, третий строгий.

Смущенный говорит:

— Извините, вы нас, конечно, не звали. Но так уж нам сердце велит. И совесть подсказывает.

Улыбочивый говорит:

— Мы, Сергей Иванович, нехороших насекомых морим. Чистота — залог здоровья.

Строгий говорит:

— Ну, ближе к делу. Клещи, тараканы, сионисты имеются?

— От клопов и тараканов в настоящее время бог миловал, — отвечает Сергей Иванович. — А сионисты... Это вы кого имеете в виду? Сами мы с женой русские.

Смущенный говорит:

— На вас никто и не думает.

Улыбочивый говорит:

— Вот все такие наивные! Нет у нас и нет! А потом еще благодарить будете.



Строгий говорит:

— Ну, давайте работать.

Смущенный под тахту полез, улыбочивый ящики в кухне открывает, а строгий в платяной шкаф углубился.

— Да вы что, ребята! — говорит Сергей Иванович. — Вы кого там ищите?!

Смущенный говорит:

— Сионисты, Сергей Иванович, заводятся в самых неожиданных местах. Так что уж извините.

Улыбочивый говорит:

— В любую щель лезут, гады, представляешь?

Строгий говорит:

— Не нравится мне, товарищ, что они у вас так тщательно спрятались. Не вы ли им с женой помогали?.. Ну, что, друзья? Визуально не обнаруживаются — значит, как всегда, хорошо замаскировались. Будем обрабатывать.

Достают они из чемоданчиков противогазы и пульверизаторы. Натянули противогазы и как ударят из пульверизаторов: и по стенам, и по шкафам, и там, сям!

У Сергея Ивановича в носу засвербило, горло обожгло, слезы выступили.

— Прекратите, ребята! Ведь невозможно дышать!

Смущенный говорит через противогаз:

— Бу-бу-бу-бу бу-бу-бу-бу!

Улыбочивый говорит:

— Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!

А строгий говорит:

— Бу-бу! Бу! Бу!

Закончили обработку, уложили пульверизаторы, за порог вышли, противогазы стянули.

Смущенный говорит:

— Извините за беспокойство.

Улыбочивый говорит:

— Будь спок, хозяин: ни одного не осталось. Гарантия.

Строгий говорит:

— Вы, если патриот, так чем орать, лучше бы форточки закрыли. Для концентрации.

— Да я от вашей концентрации первый загнусь! — кричит Сергей Иванович.

Смущенный говорит:

— А вы сходите в поликлинику, там наш человек сидит. Он всем, у кого мы дезинфекцию проводили, бюллетень дает. Уж извините.

Улыбочивый говорит:

— Не бойсь! Русского мужика эта холера не берет.

Строгий говорит:

— Если загнетесь, значит, вы

и были сионист. Советую, прежде чем загибаться, хорошенько подумайте.

С тем и ушли. А Сергей Иванович чихнул со страшной силой.

И проснулся.

— Простыл, что ли? — спрашивает жена.

Он, оказывается, и наяву чихнул.

— Да нет, сон приснился, — говорит Сергей Иванович. — Спи.

И вдруг видит, по стене ползает что-то махонькое. Он схватил с полу тапок, по стене шмякнул.

— Неужели клоп?! — встревожилась жена. — Еще не хватало!

Сергей Иванович подметку у тапка понюхал.

— Фу-ты... — вздохнул с облегчением. — Слава богу, обыкновенный клоп.

## Подполье

Снится Сергею Ивановичу, что раздается звонок в дверь, и входят трое. Один смущенный, другой улыбочивый, третий строгий.

Смущенный говорит:

— Извините за беспокойство. Немножко у вас поживем.

## ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ»?

Посмотрите нашу программу и сделайте выбор. Но точно знаем: без нашего журнала вам будет жить скучно!

Уважаемый читатель!

Как известно, с начала 1991 года была поднята розничная цена нашего журнала. Мы предвидели, что потеряем часть тиража, что многие давние почитатели и друзья «Юности» не смогут подписаться на журнал, ибо для них это стало слишком дорого. Об этом рассказали ваши многочисленные письма в редакцию.

В нынешнем и следующем году нас ждут новые трудности — грядет повышение цен на бумагу, удорожание доставки и типографских расходов. А это все должно вновь повлечь повышение розничной цены. Уже сейчас многие редакции вынуждены увеличивать стоимость своих изданий.

И мы решили рискнуть — ОСТАВИТЬ ПРЕЖНЮЮ ПОДПИСНУЮ ЦЕНУ НА ЖУРНАЛ. Чтобы дать возможность большему числу наших читателей выпустить «Юность» на 1992 год.

Мы надеемся на вашу поддержку. Только вместе с вами, уважаемые читатели, мы сможем выжить и сохранить «Юность». Заранее благодарны всем, кто нас поддержит.

Ждем ваших писем.

Ваша «ЮНОСТЬ»

Заполнив квитанцию, вы сможете оформить подписку на «Юность» с 1 августа с. г. в любом отделении связи.

Стоимость подписки

на три месяца —

5 руб. 25 коп.,

на шесть месяцев —

10 руб. 50 коп.,

на год — 21 руб.

Ф. СП-1

Министерство связи СССР  
«Союзпечать»

71120

АБОНЕМЕНТ на журнал (индекс издания)

«ЮНОСТЬ»

(наименование издания)

Количество комплектов:

на 1992 год по месяцам:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ДОСТАВочная КАРТОЧКА

на журнал

71120

(индекс издания)

«ЮНОСТЬ»

(наименование издания)

| Стоимость | подписки       | руб.   | коп.   | Количество комплектов: |
|-----------|----------------|--------|--------|------------------------|
|           | пере-адресовки | — руб. | — коп. |                        |

на 1992 год по месяцам:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Куда

(почтовый индекс)

(адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)



Улыбчивый говорит:

— Только это секрет, мужик, понял?

Строгий говорит:

— Вякнешь кому-нибудь — по стенке размажем.

— Не понял, — отвечает Сергей Иванович. — Почему вы у меня будете жить? Вы кто такие?

Смущенный говорит:

— Горе у нас, Сергей Иванович. Партию нашу запретили. Надо переходить на нелегальное положение. Уж извините.

Улыбчивый говорит:

— Будут приходить наши люди — запомни пароль: «Макулатура есть?»  
Ответ: «Сдаем сами».

Строгий говорит:

— Ну, ближе к делу. Осмотрим квартиру. Так. Здесь у нас будет штабное помещение. Здесь партийная библиотека. Здесь школа молодых борцов. А это что — холодильник? Здесь будет база боевого питания.

Открыл строгий дверцу холодильника и говорит:

— Зайдем, товарищи, ознакомимся с обстановкой.

А сам сковородку с жареным мясом вытащил. А улыбчивый — банку

шпрот. А смущенный — бутылку водки.

— Ставьте обратно, ребята, — говорит Сергей Иванович. — Мне не жалко, но от жены достанется.

Строгий разложил мясо по тарелкам и говорит:

— Когда победим, сделаем вас наркомом продовольствия.

Улыбчивый раскрутил шпроты и говорит:

— И рыбной промышленности.

Смущенный разлил водку по стаканам и говорит:

— И наркомом виноделия.

Выпили они за успехи в предстоящей борьбе.

Смущенный говорит:

— Совсем забыл. Сергей Иванович, лом, лопата имеются?

— А зачем?

— Подполье будем рыть. Для тайной типографии.

— Так ведь у меня третий этаж.

Смущенный в окно выглянул:

— Действительно, третий.

Улыбчивый говорит:

— Вообще тесновата квартирка. Где, к примеру, будем пристреливать оружие?

Строгий говорит:

— И база боевого питания скудно-

вата. Идемте, товарищи, на первый этаж.

Смущенный говорит:

— Будут заходить наши, вы уж посылайте их на первый этаж.

Улыбчивый говорит:

— Пароль не забывай. «Макулатура есть?» — «Сдаем сами!»

Строгий говорит:

— Если не выдашь нас — сделаем наркомом госбезопасности. А если выдашь — расстреляем.

С тем и ушли.

Утром за завтраком только собрался Сергей Иванович пересказать этот сон жене, как звонят в дверь. Открыл — а за порогом мальчик стоит:

— Макулатура есть?

Растерялся Сергей Иванович. Не ожидал, что будут приходить такие юные подпольщики. И чувствует, ответ забыл.

— Чего молчите? — спрашивает мальчик.

— А что... говорить?

Усмехнулся мальчик:

— Будто не знаете, что. «Сдаем сами!»

## ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонемента должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонемента проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Союзпечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Союзпечати».

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца этого года  
и в первой половине  
1992 года вы прочтете  
в нашем журнале:

- Василий АКСЕНОВ.  
Московская сага.  
Вторая книга
- Виктор АСТАФЬЕВ. Затесн
- Владимир ВОЙНОВИЧ. Жизнь  
и необычайные приключения  
солдата Ивана Чонкина.  
Книга третья
- Князь М. М. ВОЛКОНСКИЙ.  
Мальтийская цепь  
(авантюрно-исторический  
роман)
- Геннадий ГОЛОВИН.  
Новая повесть
- Сатирические рассказы  
Гр. ГОРИНА и Мих. МИШИНА
- Неизвестные письма  
Николая Михайловича  
КАРАМЗИНА
- Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ.  
Главы из «Невоенного  
дневника»
- Владимир НАБОКОВ.  
Рассказы
- Валерия НАРБИКОВА.  
«Великое кня...». Повесть
- Эльдар РЯЗАНОВ.  
Предсказание. Повесть
- Алексей СКАЛДИН.  
Странствия и приключения  
Никодима Старшего. Роман
- Ирвинг СТУН.  
Страсти души  
(романизованная биография  
Зигмунда Фрейда)
- Граф Николай  
ТОЛСТОЙ-МИЛОСЛАВСКИЙ.  
Толстые: 24 поколения  
в русской истории.  
1353—1983 гг.



# КОМНАТА

Журнал в журнале  
№ 4 (43)



Фото Леонида Шимановича

## Городок

Торез — не самый скверный городишко из всех шахтерских городов Донбасса. Есть хуже, много хуже. Зачумленную Макеевку вспоминаю с ужасом. В Торезе по крайней мере воздух чище, хотя 14 горящих терриконов исправно поставляют в атмосферу токсичный угарный газ, серный газ, сероводород, окислы азота. Но дышать еще можно.

С севера к Торезу примыкает великолепный Глуховский лес. Много речек и прудов, однако, как сообщили в местном центре защиты и укрепления здоровья населения (бывшая СЭС), в городе нет сейчас ни одного водоема, пригодного для купания. Мальчишки купаются. Барахтаются, достигают дна, лежат на спине и считают ворон. Потом приходят домой и отдраивают мылом черные разводы со всего тела.

## Без остановки

В Торезе нынешней весной не бастовали. В разгар страстей ходили по рукам листовки, в которых небастующих шахтеров обвиняли в измене. «Предаявая сегодня бастующих, ты предаешь и собственное будущее», — крупно, в рамочке.

В Торезе неостановку объясняли

## Жизнь как жизнь

Александр  
МАЛЮГИН

темное  
дело  
черным  
ЗОЛОТОМ

по-разному. Дескать, горняки в таких маленьких, разбитых на почти деревенские поселки городах фактически деполитизированы, ибо живут, как правило, в частных домах, имеют огород, свиней, кур и с работы в шахте приходят на работу домой. Не до политики.

В теркоме отраслевого профсоюза

мне говорили, что нет забастовочного фонда для поддержки шахтеров. А Владимир Темнов, член торезского стачкома, горнорабочий очистного забоя («гроз»), предложил на выбор несколько версий, из которых наиболее убедительной показалась следующая: в Торезе добывают антрацит, а это уголь бытовое, идущий в детсады, больницы, школы. У тех, кто бастует, в основном другая специализация — коксующиеся угли для нужд металлургии, и те забастовки соответственно оказывают сильное давление именно на правительство.

## Откровения чань-буддиста

Мой бывший одноклассник, живущий в Торезе с молодой беременной женой («временно, — он говорит, — скоро уеду»), на мой вопрос: «Как ты можешь бросить ее в таком положении, подлец?!», он медлительно, с расстановкой отвечает: «Понимаешь, она мне не принадлежит, поэтому мне некого бросать. Это по буддизму». Так вот, этот наркоман, бездельник, а ныне еще ко всему прочему чань-буддист патологически не любит шахтеров.

Сразу же предупреждаю: мнение автора статьи совсем не совпадает с мнением чань-буддиста.



«...Психология какая у шахтеров? Считают себя «белой костью», «центром земли». Кто не в шахте — тот белоручка, даже рабочий на заводе. Кто пошел в институт — тот отлынивает от настоящего мужского дела... На самом деле они кто? Кроме лопаты, ничего не знают. И думают, что должны получать больше инженера. Если честно, их требования, скажем, повысить зарплату — это перетягивание из одного кармана в другой.

У них и так привилегии, которых нет у других категорий. Ни у строителей, ни у медиков или, скажем, шоферов. Среди шахтеров в первую очередь распределяют поступающий в город дефицит. Все оорсы (отделы рабочего снабжения) шахтерские, от обедынения. Куда ни кинь — везде профсоюз шахтеров. У меня отец врач, ни разу в больницу ничего путевого не поступало.

Кто «за так» полезет в шахту? А раз там дефицит дают, зарплата приличная, жена еще подталкивает — лезут.

А как они отдыхают? К примеру, день рождения и прочее — обязан выставить три литра. Пьют после смены, прямо на работе. В бригаде, скажем, 14 человек, вот и посчитай.

Сама работа а глупая накладывает на них жуткий отпечаток. У меня полно бывших одноклассников, работающих сейчас в шахте, — не о чем стало говорить. Только об «упряжке» (так они свои рабочие смены называют), кому сколько закрыли — не закрыли. Но, зарабатывая приличные бабки, черта с два когда меня на тачке провезут. Все копят, копят... В общем, конченные люди».

### Кто не рискует...

По пути на шахту «Донецкая» Темнов рассказывал всякие страшные истории. Дело было в полночь. Я не всегда понимал, каким образом приходила та или иная смерть. Однако за профессиональной лексикой нет-нет да и проступало живое, и тогда я представлял, как обрушивается порода, как, ломая шейные позвонки, она приносит мгновенную смерть. «Дедовские методы крепления. Наша лава — одна из самых опасных в объединении», — говорил Темнов, жалея погибшего недавно Алексея Аладьева.

После 2—3 лет в забое шахтер, по словам Темнова, как правило, теряет бдительность и начинает работать по принципу «так сойдет». Один рассказ Володи я почти вызубрил, путанный текст с заморскими словами.

«Менял один резцы на угледобывающем комбайне. А под комбайном проходит скребковый конвейер. При обслуживающих работах машинист обязан взять управление конвейером на себя. Паренек подумал: «Так сойдет». А на конвейере была порода. На расстоянии 200 метров по лаве очень трудно состыковаться. Кто-то включил конвейер, порода пошла, ее начало расклинивать. Комбайн сорвало — и несколько тонн металла на голову пареньку. Голова разлете-

лась, как арбуз. Скинулись по десятку на похороны — нет человека».

Темнов, как член стачкома, интересуется цифрами:

— На каждый добытый миллион угля по Донбассу кладут 5—6 человек. По всей угольной промышленности за год погибают 650—700 человек. Травмированные шахтеры, умершие, скажем, через месяц после получения травмы, в это число не включены. Профессиональные заболевания — силикоз легких, туберкулез, сердечно-сосудистые — уносят в могилу по всей стране несколько тысяч человек в год.

«Спроси, — говорит Темнов, — у потомственных горняков, у кого отцы живы? А если и живы, то в таком состоянии... на ладан дышат. 3—4 года после пенсии — и все. Обычное дело».

Самого Володю два раза заваливало, два серьезных перелома. По его собственному признанию, если пройти ему стопроцентное медицинское обслуживание, запросто можно вывести на инвалидность.

### Городок (продолжение)

В Торезе, как и по всему СССР, людям живется плохо. По мне, самое большое неудобство — отсутствие воды, точнее, непредсказуемый график ее подачи. На бывшей СЭС объяснили, что вместо 82 тысяч кубов «воды питьевой» в сутки город получает 42,3.

Почему?... А почему рабочий автобус появляется на остановке точно по графику и доставляет горняков на шахту тюленька в тюленьку — только паши, выдавай на-гора, — а домой со смены шахтеры, как правило, возвращаются пешком или, если повезет, городским?..

А что дома? Ничего. То есть буквально. Есть нечего, сходить некуда. По талонам на месяц — 7 яиц, масла сливочного 300 граммов, круп, макарон, конфет по полкило. И то пойдешь сыщи это в магазинах.

В нынешнее время и диабет «приносит пользу». Диабетикам по пригласительным книжкам иногда продают мясо, кур, плавленые сырки. Это замечательно, потому что мяса в госторговле г. Тореза фактически не бывает.

Количество диабетиков в Торезе пока незначительно.

Есть льготный магазин для инвалидов Отечественной войны. В магазине для семей погибших фронтовиков записывают на промтовары. Бабушка чань-буддиста, Анна Григорьевна, записалась на швейную, вязальную и стиральную машины. В течение 10 лет обещают отоварить. Анне Григорьевне уже за 80.

Вероятно, это последние потребители дефицита в городе («блатные» не в счет), ибо на «Донецкой» начальник одного из участков жаловался, что донашивает последний костюм, его бестактно перебивали: «Да что костюм! Ты про тусы скажи! Три месяца не могу достать!»

Ну а что тусы? Вся страна не может достать тусов.

Приходит и Темнов домой. А семья

волком смотрит — две дочки и жена. Папа работает в шахте, а ничего не имеет. На сберкнижке — 20 рублей. А что можно иметь с такой зарплатой (и повысили вроде, в среднем уже около шестисот набегает, но по нынешним-то временам?)? С такими ценами?

С тем, что большую часть зарплаты приходится относить на рынок, где ведро картошки 25 рэ...

Естественно, приходится себя во многом ограничивать. Темнов уже так доограничивался, что с 86 кг собственного веса «скатился» на 72. Согласитесь, для человека, занятого тяжелым физическим трудом, это «результат» пугающий.

### Династия заложников

Пакуясь в великоватую застиранную робу, разговорился с банщицей Марией Ивановной Шевчук. Эти самые роботы, белье, сапоги выдает шахтерам уже 33 года.

Муж тоже работал на шахте — запальщиком, раздатчиком, грозом. Вышел на пенсию, два года пожил и умер от инфаркта. Здесь же, на шахте, два сына. У старшего уже хронический радикулит. Работает крепильщиком, сорвал спину — тяжести неподъемные. «И сейчас таскает, а что делать?» Младший постоянно простужается, потому что всегда по колено в воде, на сквозняках.

«Чего же не гоните с шахты?» — спрашиваю. «А куда, куда, хлопцы?»

И действительно — куда? Есть, правда, в городе один завод союзного значения. Электротехнический, 2800 человек. Есть какие-то филиалы, мелкие мастерские. Но их самих сокращают. Да и на зарплату «наземную» сейчас не прожить.

Другое дело, что, по словам Марии Ивановны, сыновья, и в шахте работа, еле концы с концами сводят.

Такая вот династия заложников.

### Последний круг

Распрощались мы с Марией Ивановной, да и двинулись в «последний круг ада». В шахту.

В трясушейся и злобно громяющей клетки мы спустились по трехсотметровому стволу в магистральный штрек и сели в людскую вагонетку. В темноте, чуть расщепленной тусклым противным светом, мы сидели «фэйс ту фэйс» с молодым грозом, и такую безнадегу на лице я видел раньше только у себя — в армейском зеркале, на первом году службы. Эдакий кандидат в самоубийцы. Гроз был сосредоточен и молчалив, как врубелевский Демон, и вместе с быстрым ходом вагонетки мрачнел все больше и больше.

У меня хватило ума не задавать ему дурацких вопросов за «жисть».

Освещая путь «коногонками», мы добрались до людского уклона и в том же безмолвии сели в следующую вагонетку, которая с грохотом покатила вниз по уклону и вывела нас к обходной третьего горизонта. 400 метров по квершлагу, вентиляци-



онный штрек 4-й восточной лавы и, наконец, сама лава.

Мы влезли в дыру чуть больше канализационного люка, скатились с невысокой горки. И двинулись. На четвереньках, в холодной водяной жиже — вниз, вниз, вниз.

Через минуту штаны и перчатки промокли насквозь. И еще этот низкий потолок — 0,85 метра. Приходилось все время поглядывать вверх, чтобы не задеть каской деревянные крепления. И тогда я наткнулся коленями на острые куски породы и вскоре изранил их в кровь. Слева виднелся угледобывающий комбайн, и я еще чего-то хрипло уточнял у ползущего впереди Темнова: как да что, да как работает эта хреновина. И, не дослушав, подталкивал: «Пошли, пошли». Стоять в холодной воде было совсем уж невыносимо.

«Сколько еще?» Не расслышав, Темнов деловито объяснял мне, что вот если бы был здесь угледобывающий комплекс, а не комбайн, ему бы не пришлось по 6 часов работать в этой жиже. Было бы сухо и цивилично. Честно говоря, у меня вообще не укладывалось в голову, как можно работать в такой тесноте и сырости, под этим гниющим деревянным креплением, рискуя каждую минуту получить куском породы по кумполу...

Матерясь, мы наконец выбрались из лавы. 140 метров на четвереньках. И это одна из самых коротких лав в объединении.

Еще с час мы плутали по этому «последнему кругу» и, когда наконец добрались до все того же магистрального штрека, откуда начинали путь и шли 2 километра пешком, потому что на работу вас довезут, а с работы вы уж сами добирайтесь, распаренные, рискуя подхватить воспаление легких, ибо температура здесь точно такая же, как и на воле, около 2 градусов тепла (а что творится зимой?). Так вот, мы возвращались, и я не чувствовал себя способным повторить это путешествие.

...Темнов сидел на лестнице, курил одну за другой — в шахте курить нельзя — и говорил о своем единственном утешении. «До пенсии 4 года. К сорока выйду. Не знаю, правда, дотяну ли?»

Дотянет, наверняка дотянет. Хотя темное это все-таки дело с черным золотом.

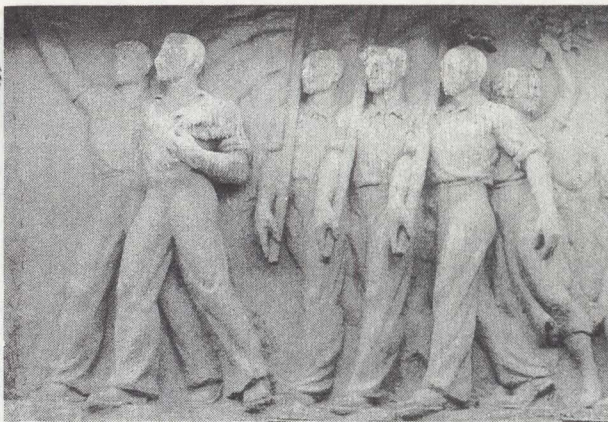
г. Торез, май 1991 г.

### В ближайших номерах «20-й комнаты» читайте:

— «Звездный билет» — портреты тех, кто станет знаменитым завтра, кто среди сегодняшних разброда и шатаний не опускает рук;

«Сказание о тридевятом царстве» — специальный выпуск на тему «Молодежь и эмиграция»;

Совместный выпуск «20-й комнаты» и «Русской экспедиции»



## Эпохалка

Андрей ЛЕВКИН

# РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭТЮД

По набережной, служащей в Риге торжествам, одиноко идет человек. Красивые флажки, красивые ткани. Опережая шум цивильных шеренг, звеня трофейными пятаками в карманах, идет с флагом одиночный поэт. В ноябрь лета 1989 от Р.Х., 7 числа...

На всякий случай — с узелком: белышко там, махорка, купленная возле Пампуша. Слева — река, внутри поэта — Россия, ветер против течения, в лицо.

Мы договорились так: делимся на три группы — одна группа наставит поэта на путь возле бронзовых, падающих с твердым знаменем, коммунаров; другая группа в составе четырех-пяти человек, основная, расположится в Пушки (Валера, Алена, Фельдман, Верочка, Буре, Буре Мотель, Бакалов, Тяжелов, Маленькая Зомби, а остальных я не знаю), вооруженная театральным биноклем и пустыми бутылками из-под Иверии. Третья группа находится в конце его пути, под козырьком Агропрома: мы уже открыли банку с огурцами и ждем.

С первого контрольного пункта нам сообщают, что поэт идет уверенно, но флаг еще не развернул. За флагом, между прочим, специально ездили в Питер: красивый, стоит денег.

Нам сообщают о сложностях: вслед военному парадному проезду часть вышли подметалы в оранжевых бронежилетах и собирают гильзы по счету; поэт тем временем миновал уже здание Политехнического института.

Мы отслеживаем время по своему пульсу, остается еще девять — пятнадцать минут — если, конечно, все пройдет благополучно: так, скрываясь в топкой жиже под мостом, Желябов ожидал после взрыва Перовскую.

Древко почти тлеет от держания, кругом — пустой воздух, трибуна впереди видна, но — полупуста: отстояв железные шеренги, руководство спустилось вниз, в дощатый низ трибуны. Партсекретарь Рубикс сча-

стливо смотрит на Кузьмина, Кузьмин на Малиновского, Малиновский — на Ворошилова, тот — на Баграмяна, Баграмян — на Багратиона, который, в свою очередь, предполагая земляка, изучает портрет В. Линдермана с рекламы эротической газеты «Еще».

Поэт не обнаружен пока еще никем — лишь только впереди приближающийся духовой оркестр напрягся, увидев — как показалось капельмейстеру — начало шеренги.

Поэт, по сводкам, где-то возле Центральной сберкассы. Он то есть совсем уже близко от нас, о нем уже отчасти позабывших.

Конечно, откуда нам знать тогда в подробностях, что и как именно происходит. Мы, конечно, положились на погоду, на мелко моросащий туман, на икру минтая, на отсыревший запах толя, на игольное только ушко, на горбушку рубля, ах, да что там за новости, ведь мы знаем и так: нам выпал счастливый билет, негодуйбой берет, корнет Рыжков, поручик Горбачев, генерал Родионов, окрыленные трактора. Вот о чем единственно жалею — не купил я когда-то красивый серебряный алюминиевый небольшой луноход на луне, он и стоил ведь всего-то пятнадцать копеек — такой красивый значок, как он там теперь?

А поэт все идет: ему некуда деться. Слева — желтые кустики с дебаркадером для речных пароходиков, не ходящих теперь, не приставших даже, исчезнувших; справа — трибуны, не туда же! ни назад — там провозгазы, как правило, третьего номера с арийским лицевым углом.

Поэт против трибуны. Родина?! Слышит, Родина знает... Ее сын пролетает: мимо трибун, мимо парашута, мимо капельмейстера, погрязшего в оркестре. Прижмись ко мне, Родина, всем телом и душой — что из того, что мы знакомы так давно. Я слышу, как в тебе пульсирует. Позволь мне оценить тебя, твой распрямленный крест, твой нос — кривокрасивый, как у Данте: вдохну в себя и выдохну на лист.



Как тяжело шагать с краю страны: мы здесь, здесь!..

Мне снится: я иду всегда, светясь исправно, ночью инфракрасной, скрипя диваном, волосы отбросив, лизнуть и укусить, отбросив волосы, так почему же слезы льются мне из глаз? Я, с крыльями наперевес, но время налипает на подошвы, свобода лишь в равелине с пятиметровыми стенами; как княжна Тараканова под водопадом: там хорошо засыпать.

Там все, что надобно для рая: фарфоровые изоляторы, фарфоровые черви, сантехника, фарфоровые звери, фарфоровые боевые сервизы и слоны, фарфоровые кремлевские звоны с китайской музычкой. Кочегарка шумит, коптит, тренькает: фарформейстер, сутулящийся ныне под Агропромом, все запускает в простуженное небо — как птичек по весне — тоже мне, Благовещенье — тени ящеров, клеток и Троцкого.

Не знаю, возможно ли поверить в то, что вначале было названо жизнью, ветер, ветер, один на белом свете. Еловые оборки стены в глухом коридоре; под песню будильника мы возлюбили глухой коридор. Россия, родина слонов, ты слышишь? ты знаешь?

Но, Господи, непогода, косой документальный растровый снежок, все уже кончено и ничего уже не произошло, мне осталось двести метров по спокойному тротуару, под облетевшими липами, как жемчужный след улитки на губах наших тел одиноких здесь, на берегу Остзея.

Страна имени Чайковского, духовая, самоваром блестящая желтым страна, широка и без края: край вот он, здесь — ветер, на всем белом свете, ветер-ветрило, не дуй ты мне в лицо... Каким нас ветром занесло? Каким нас ветром занесло, как снегом? Каким нас ветром занесло направо-налево? Мне направо, спасибо, я подарю вам флажок, видите: пятнадцать копеек для первой зоны, а также желтая голубка имени члена французской компартии Пикассо, и две цветущие веточки в зубах ее клюва, спасибо, не надо меня поддерживать, тут, за углом, меня уже ждет группа товарищей, спасибо, но я уже могу различить свечение их лиц в сей дневной полутьме, спасибо, сержант, ваши услуги замечательны, но избыточны, ведь я в себе — а значит, и в своей стране.

...А мы к тому времени уже забыли о поэте. Нам было уже хорошо, и мы ушли прочь от Агропрома в сторону парка с опавшими листьями, в сторону канала, в сторону города, еще кое-как отзывающегося на свое имя, прибегающего на зов с копченной стремижкой в парадонтонных зубах.

Поэт остался один. Конечно, он был отчасти пьян. Конечно, его телодвижения отчасти ограничивал сержант, конечно, сержант не имел понятия о том, каким образом на него вышел поэт, равно как и о том, что вышедший на него поэт — поэт.

А мы ушли и были уже далеко. Мы пришли в какую-то квартиру, там было сухо и спокойно, уже смер-

калось, мы ели зеленый горошек, а также другие продукты и вовсе, признаюсь к стыду своему, не думали о России.

Я должен думать о России. Я обязан думать о России: родине слонов и Ярославля с шинным заводом; я обязан обложить ее своим вниманием к ней — в доступных мне пределах: отсюда и до психбольницы под Смоленском, где однажды ожидал автобус до Смоленска, чтобы вернуться в Ригу, чтобы стать чистым, вымытым и хорошим; а немые психи топорились щетиной и спрятанными под платками опасными бритвами, меня, по счастью — в отличие от России — не коснувшимися.

Не знаю, стоит ли мне говорить о Смоленске вам, думаю, что нет. Там нет ничего такого особенного — кажется мне теперь, отделившись, отделившись от его пыльных улиц с фиолетовым какао в тени злокачественных опухолей смоленских лип, среди выгородок, отражающих отсвечивающую траву от кирпичных шагов решительных непоэтов; внутри этих чугунных, гнутых, крашенных желтым, красным и синим выгородок; среди простора государственной плоскости главной площади Ленина, с ним, тяжело глядящим нам внутрь; на этих скользких пьяных откосах до восьми с чем-то вечера отбытия общего вагона в гор. Ригу, со собственными той туманами и поэтами, где фотографический свет этих низких звезд припер нас к стенке, так что лишь этот слабый, мерцающий изнутри инеем пустырь, облекающий собой каждого отдельного поэта, лишь этот пузырь с заполняющими его постепенно облаками золотой испарины — как маленький Успенский собор, убегающий, чтобы не придумали горло треугольным галстуком, наматывающимся на всю катушку, о чем, впрочем, тут договаривать: мы не золотые даже, как скумбрия, наше золото сродни тоненькому ободку на сигаретке — что тут же, кстати, и красиво отводит нас в полутемную мглу кабинетов с морфием, кокаином и прочим диснейлендом, а поэт — уже в воронке, так ведь мы и не надеялись его дожидаться.

## До востребования

### ПИСЬМО СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА

*Один мой знакомый говорит, что счастливые люди стихов не пишут. При этом его крыжовенные глаза становятся как у длинного плюшевого медведя. Пишут ли счастливые люди о России? Что пишут счастливые люди вообще, кроме записок любовно-гастрономического содержания, вроде каша на плите, суп в холодильнике? Это прекрасные тексты, достойные быть высеченными на Розеттском камне, но...*

Надежда АГАРУНОВА, Москва

*...«20-я комната» надеется, что есть где-то люди, способные поддержать своими письмами идею странной рубрики «Письмо счастливого человека». Судьба рубрики — в ваших руках!*

Его профессия — брокер, то есть посредник в торговых сделках. «Спекулянт в законе», — улыбаясь, добавляет он. Евгений Горodenцев относится к самой ненавидимой категории кооператоров, к тем, которые, по мнению большинства, «ничего не делают, а только наживаются». На этом поприще Горodenцев работает совсем недавно, но зато весьма успешно: не прошло и двух месяцев с тех пор, как он, будучи всего лишь охранником при бирже стройматериалов «Алиса», попробовал себя в качестве брокера — и вот он уже миллионер, со своим местом на бирже, стоившим ему 750 тысяч. Горodenцеву 21 год, он здоров, как бывший охранник, красив, как американский киногерой, обаятелен, безмятежно уверен в своих силах и — богат... Впрочем...

— Как сказать! Сейчас у меня в кармане три рубля, — замечает Горodenцев. — А если серьезно, моя мама, например, даже не подозревает, какими деньгами я здесь ворочаю. Она интересуется, где моя зарплата. А у меня полтора месяца как нет зарплаты, — биржа не платит нали-

# ИСКУСТВО

ными, я работаю на свои проценты, которые идут на счет. Сколько там, я даже точно не знаю, — счет общий. Знаю только, что порядка миллиона, может, больше. Но эти деньги не совсем в моем распоряжении. Я пока оформляю свое малое предприятие — ни бухгалтера, ни штата, ни печати еще нет. Не могу же я вдруг взять и выписать себе зарплату! Но меня это как-то не очень волнует — я достаточно богат, чтобы осуществить любое свое желание.

— Значит, получить наличные все-таки можно?

— Ну, если постараться...

Вот вам главное отличие советского миллионера от всех остальных: ему надо очень постараться, чтобы воспользоваться своими деньгами. Причем, чем он богаче, тем это верней. Представьте себе американского предпринимателя, старающегося добыть собственные деньги! Даже обидно. Что ж мы, у нас и миллионеров не может быть нормальных?

Что же реально означают деньги для советского брокера? В первую очередь это показатель стремительности взлета. Посредничеством сейчас занимаются многие — такой же модный в наше время способ зарабатывать деньги, как, скажем, в семидесятые «шабашить». Но большинство «посредников» за много лет не зарабатывают и половины той суммы, что Евгений заработал за месяц. Какие же особые способности тут нужны? Женя считает, что скорость и хватка, умение работать с людьми. А если задуматься над сущностью биржевой «спекуляции», то стоит вспомнить, что само это слово произошло от латинских «выслежива-





# НОСИТЬ БЕЛЫЕ ШТАНЫ

ние», «высматривание».

— А если не бизнес, чем бы занимался? — спрашиваю я у Евгения.

— Не представляю. Я кандидат в мастера по боксу. Потому и оказался в охране. Но я понимал, что это только начало, и сменил не одно место работы — искал то, где будет перспектива заняться бизнесом. И вот в декабре я пришел в «Алису», а через пару месяцев мне предложили самому провести биржевый торг с клиентами, которых я нашел. Получилось так, что с первого раза я заработал пятьдесят тысяч. Ну и пошла работа. И теперь, извини за нескромность, среди брокеров я здесь самый-самый...

После первой сделки у Жени была пара неудач. Зато потом пошло: стройматериалы, техника, продавал даже миллионные заводы — бельгийские и советские. Кстати, по заводам на фирме специализируется только он. Работа заключается в непрерывном контакте с людьми (в день до восьмидесяти человек), расчетах, сборе информации. Он приходит на фирму в девять и уходит в одиннадцать вечера.

— Что тебя больше всего радует в твоём занятии?

— И большие деньги. И интересная работа. Я давно искал интересную работу.

После десятилетки Городенцев успел окончить техникум, отслужить в армии, поучиться в трех вузах: пищевом, физкультурном и строительном. «Всюду окончил по одному курсу, всюду решил, что это бессмысленно, и бросил». Работал холодильщиком, обувщиком.

Вполне «правильный» парень,

даже с «советской» точки зрения, у нас таких не так много. Если написать ему характеристику, она будет выглядеть «на отлично»: хорошо учился, прекрасно работал всюду, спортсмен, хороший товарищ, не пьет, толковый, дельный. Ему и в партию предлагали вступать, на работе он шел в гору, хотели выдвигать на бригадира. Мог получить «передовик производства» — получился миллионер.

— Я оттуда вовремя ушел. Если повязнешь в этой системе, то это надолго, — говорит Городенцев.

Он вышел из нее на самом деле гораздо раньше. Потому что еще с детства он «высматривал» для себя иной, не общесоветский вариант существования. Свои первые крупные деньги он заработал в 15 лет. Как посредник в торговой сделке между двумя предприятиями.

— Как же ты нашел тогда эти предприятия?

— У меня был очень большой круг знакомств, люди самого разного возраста. Так, в разговоре услышал информацию, вовремя провернулся, и вот...

(Родители Евгения никакого отношения к бизнесу не имеют. Живут в Подмоскowie в Павловом Посаде, отец — рабочий, мать — продавец, сестра учится в техникуме.)

— У тебя есть какое-нибудь невыполнимое желание? Купить самолет, например?

— Зачем? Он мне не нужен, я в армии налетался. Я мог бы купить машину, но она мне тоже в данный момент не нужна.

Не нужна оказалась и квартира в Москве, дача, видак. Его пока

вполне устраивает жить с родителями в Подмоскowie в двухкомнатной квартире, ездить на работу на электричке и метро, а на все остальное просто нет времени.

— Самое мое фантастическое желание — это стать президентом брокерской конторы на Лондонской бирже. Личная жизнь? Безделье, развлечение, проведение свободного времени? Так у меня его нет.

У него, конечно, есть девушка. Она работает парикмахером. Хотя он предпочел бы, чтобы она вообще не работала, во всяком случае, если они поженятся. Вредная специальность. Так вот, если выкраивается свободное время, он проводит его с ней. «Гуляем, ходим в кино — обычное советское времяпрепровождение». Ни тебе прогулок на яхте, ни казино... Нет, здесь воображению делать нечего.

— А увлечения?

— В данный момент я увлекаюсь английским языком. Больше всего мешает работать то, что наши советские законы очень плохо продуманы. Вот на меня вышли 12 инофирм. Но государство просто не дает с ними

работать: все эти лицензии, вывозные визы... И ведь нет никакого убытка, могла бы быть только прибыль для страны. И речь идет не только о тех ситуациях, когда не дают вывезти отходы, вещи, которые гниют у нас. Например, фирма хочет купить за валюту материалы — не вывозить, построить что-то для нашей же страны, нам же помочь. Но зачем продавцу отдавать товар за валюту, если у него 80 проц.(!) суммы отберут государство и местные власти? Это ужасно, иногда возникает чувство, что бьешься головой об стенку!

— Ты хотел бы иметь детей?

— Сейчас нет. Эти деньги то ли мои, то ли государственные. Сегодня они есть, а завтра скажут: все, и хорошо еще если не арестуют. В каком-то смысле я боюсь будущего — и того, что нам не дадут развернуться, прекратят нашу деятельность, и того, что в нашей стране все-таки ничего не выйдет, и тогда придется уезжать. А не хотелось бы.

— А «там» ты можешь развернуться?

— Думаю, да. Судя по моему общению с представителями инофирм, во мне видят перспективного человека.

— Как же ты рискнул войти в клуб молодых миллионеров? Зачем «светиться»?

— Мы для того и создали этот клуб, чтобы заявить о себе. Мы же не преступники. У нас много проектов, и настолько грандиозных, что мы сами с трудом в них верим. И что, сидеть и прятаться?



# «ТЮРЬМА и ВОЛЯ»

С председателем Московского фонда помощи осужденным (первоначальное, а ныне «неформальное» название — «Тюрьма и воля») Мариной РУМШИНСКОЙ беседует корреспондент «20-й комнаты» Вероника МАРЧЕНКО.

— Как возникла «Тюрьма и воля»?

— В Москве есть международный фонд «За выживание и развитие человечества», куда входил Андрей Дмитриевич Сахаров, он поддерживал идею Валерия Абрамкина о необходимости создания общественной организации, которая бы занималась «тюрьмой». У нас два основных направления работы: общее — гуманизация, то, с чего мы начинали, этим по-прежнему Абрамкин занимается, и борьба за конкретные изменения на законодательном уровне, конкретная помощь заключенным.

— Полтора года назад к нам пришло письмо от одной женщины, которая предлагала ворам отрубать правую руку, ну, и так далее по всем видам преступлений, и делать это на Красной площади, «чтоб неповадно было»... Поэтомu предлолагаю, что для кого-то весь наш разговор звучит «диком»: помогать преступникам??? Ведь вы помогаете не только невинно осужденным, но ВСЕМ?... Вообще за чем заниматься этим?

— Сейчас объясню. По официальной статистике, в стране 762 тысячи заключенных. По «внутренней» — около двух миллионов. А это как заразная болезнь, и с ней соприкасаются чуть не четыре миллиона: внутренние войска, администрация тюрем... В эту систему вовлечено гигантское количество людей, которые варятся в собственном соку. Картина на самом деле страшная: преступность растет, а система не меняется, и сами конвойные, администрация становятся преступниками, потому что условия нечеловеческие, и система с такими условиями действует на всех, кто в ней находится: и на заключенного, и на его стража... В Мордовии существуют поколения тюремщиков: «Кем был твой дедушка? — Тюремщиком. — А папа? — И папа...» И сам тюремщик — он не знает другой профессии, — это ведь дико, это надо ломать! Во что играют дети администратора лагеря? В конвойного и заключенного...

И самое главное, почему надо этим заниматься: ведь осужденных за людей никто не считает... Реакция одна: уничтожить. А ведь туда попадают невинно осужденные люди, и самое страшное, туда попадают дети — их калечат на корню! Не существует «положительного» лагерного опыта! Людей ломают — вся система, изначально построенная как система подавления, уничтожения «врагов народа», — она такой и осталась! Если человек преступил закон, мы долж-

ны его изолировать от общества — да. И все. Мы не имеем права называть его как-то еще, потому что иначе это замкнутый круг: у человека наказывающего почему-то появляется внутренняя уверенность во вседозволенности, он почему-то начинает олицетворять себя с Законом и Властью, и не замечает, как сам преступает границу, черту — и становится таким же преступником... Вот поэтому ЭТИМ надо заниматься, надо менять эту СИСТЕМУ...

— Если можно, приведите, пожалуйста, несколько примеров, кому и как вы помогли?

— Зимой 1990 года по нашему ходатайству получила помилование Ткач Е. Б. У нее четверо детей, один из которых инвалид. За кражу на улице эта женщина получила 9 лет лишения свободы, в то время как за убийство по некоторым делам дают 10—11 лет — соизмеримы ли эти преступления? Помилование она получила, так как у администрации не было к ней претензий, состояние ее здоровья было плохое плюс тяжелое положение в семье... Другая женщина с астмой была направлена на сельхозработы, которые ей противопоказаны. Нам удалось устроить ее на другую работу.

Третья судьба трагична. Фимонова Г. Г. — отец был расстрелян в 38-м году, мать отсидела в сталинских лагерях 14 лет, — была увезена в детдом. Потом ее оттуда забрала сестра матери. Была выгнана из медицинского института, как дочь «врагов народа». Устроилась работать в магазин. Ей предъявляют обвинение в растрате и иск на 20 тысяч рублей! Этот срок она отсидела полностью. Выходит на свободу и оказывается без жилья, так как ее квартира (где жила ее дочь) занята родственницей председателя горисполкома. Фимонова пытается отсудить квартиру своей дочери и свою, и это ей удается, но местная власть, встав «на защиту своих прав», вновь заводит на нее уголовное дело. Ее осуждают без состава преступления на 7 лет лишения свободы... Нами была подана в Верховный суд СССР надзорная жалоба с просьбой пересмотра дела. Его пересмотрели и снизили срок до 4 лет...

— Чем в перспективе или в идеале должна стать ваша организация?

— В принципе это должна быть надзорная инстанция, которая не допускала бы «беспредела» в тюрьме и суде... Я смотрела, как это происходит в других странах: везде по-разному, но тенденция одна — там человеку дается шанс, здесь ему его не дают. Сама система задумана так, чтобы получать экономическую выгоду от заключенных и подавлять их же.

— И вы верите в то, что ломаете эту систему унижения?..

— Да. Я сейчас хожу по разным организациям: фондам милосердия, в «Мемориал», организацию независимых психологов, чтобы понять, кто есть кто и где можно рассчитывать на поддержку. Я думаю, если каждый из нас будет «расчищать» свой маленький участок, мы сломаем эту систему унижений и станем нормальным обществом.

## ПИСЬМА СМЕРТНИКА

(Из книги, подготовленной «Тюрьмой и волей»)

Перед нами исповедь, комментировать которую очень непросто. Автор писем предполагал, что он столкнулся с коррупцированной верхушкой района, в котором он в то время жил и работал. Столкнулся же он потому, что в борьбе с этой верхушкой погиб его друг, который был участковым милиционером, расследовал какое-то темное дело. Очевидно, друг был на верном пути, так как стал получать анонимные советы не заниматься этим расследованием. В один из дней милиционер был сбит грузовиком. Дело прикрыли. Автор имел причины не верить в «несчастный случай», ему удалось найти тот грузовик и шофера, который ездил на нем. После этого как бы ни с того ни с сего на автора посыпались неприятности, а закончилось все роковой дракой, в которой жизнь автору спас вмешавшийся человек. Спасая автора исповеди, у которого к тому времени уже было сломано ребро, этого посторонний, сам того не желая, убил соперника автора. Спасать свою жизнь ценой выдачи того, кто его спас, автор не стал...

Силы юридического документа эти письма не имеют: тут нет улик и т.д. Но здесь есть психологический портрет человека, который был лишен жизни как опасный преступник именно в то время, когда перестал им быть.

Александр ШИНДЕЛЬ

«Лю, родная моя девочка, любимая моя и единственная! Сейчас глубокая ночь и ты сладко спишь за стеночкой, а мое сердце рвется куда-то... Лю, девочка моя! Как ты отправила мое и свое письма домой, с тех пор жду, жду каждый день наступления вечера с надеждой услышать голос, зовущий меня оттуда, с того мира, за этими заборами, и каждую ночь эти надежды сменяются острыми приступами тоски и душевной боли. Эх, знать бы причину их молчания, хоть что-нибудь бы узнать, что с мамкой! Или сказали бы: «отрекаемся от тебя», и мне легче бы стало бы, не мучил, не изводил бы себя догадками и предположениями. Очень тоскую по своим пацанатам, часто они мне снятся».

«Мила моя, здравствуй! Спасибо тебе, родная, за позму, за чашек и за конфетку. Ты знаешь, разворачиваю — Бог ты мой, какой аромат! Я в детстве очень мало видел этого и поэтому взрослым стал сладкоежкой, постоянно покупал шоколад и конфеты. Тут уже и запах забыл, и вдруг такая неожиданность! Я и сейчас беру фантик и нюхаю. Какая ты у меня заботливая, солнышко!»

...Людмила, Мила моя, ну зачем ты этой женщине правду говоришь, упекут же куда-нибудь, а как я тут без тебя буду? Вон мне экспертизу судебно-психиатрическую как провели: приехала женщина, с полчасика со мной говорила: «Ах, ты был высшего образования и с тремя судимостями работал начальником строительств? Значит, не дурак и не болеешь ничем, значит, можно и расстреливать!» Вот и вся экспертиза...

Самое основное, Людмила, ты поставь себя направлять в нужное русло, в правильное при твоём положении. Если бы я начал упиваться теми обидами и несправедливостями, что на себе испытал, то что бы было тогда? Удивительная жизнь и не менее удивительные люди, надо только стремиться к хорошему и удивительному — и придет оно. Ты вот отаекала меня и заставляла отвернуться от мысли, что не стоить больше жить и спасибо тебе за это...»



«...Не твоя вина, что ты такой стала, не твоя вина, что на тебе арестантское клеймо, судьба есть у каждого человека... Ты, что ли, виновата в том, что тебе, девятинадцатилетней девушке, надо было добывать деньги, красть, когда твои ровесницы, ухоженные и обеспеченные, ходили на концерты, ездили отдыхать в Крым и т.д.? Нет, Людмила, строишь свою судьбу ты должна сейчас, и строить на том фундаменте, о который опираешься: на ошибках прошлого. Да и не ошибки это вовсе — это жизнь наша, судьба...

Тебе всего 29 лет, в 35 наступает самый расцвет жизни, время собирать и пожинаать плоды, чувствовать всю прелесть жизни.

...А Люся мне писала, что вы вместе читаете мои письма, вместе спите, и хотела получить от меня малаюска с ласками. Да ну их всех, правда, Мил? Надо было тебе тащиться по-своему, я ведь не ревную, когда женщина с женщиной, а же писал тебе...

«Людмила, добрый день! Для меня пока еще ночь, но когда ты получишь мою писанину, будет уже день, и пусть он будет добрым, верно? Спасибо тебе за песни, что ты пела. Я слушал, не отходя от окна, но тут аборигены нашли время поговорить, помешали. Эх, жизнь, каких только не насмотрелся. Вон Юрка с Юсифом — люди как люди, а ведь каждый тоже этапа ожидает. И как это одной мерой измерять разных людей с их разными мотивами — неужели не видно, кто есть кто? Мне кажется, давно пора вместо судей поставить компьютеры, и они для каждого поступка будут определять, как должно быть: у машин нет ни симпатий, ни антипатий, им не нужны ни деньги, ни связи, ни все прочее. Только не будет этого никогда, потому что люди любят быть судьями других судеб и жизней, в каждом из нас сидит судья, правда, Люда?

Отправила я в Президиум Верховного Совета челобитную, только не знаю, как бы не просрочил время...

«Людмила, сейчас сказали мне, что вызовут к прокурору. Я проснулся, побыстрее заварил цитрамон, написал вкратце на одной страничке, как было по моему делу, покурив, вот уже и проверка прошла — и тишина...

Чингисханчик, родной мой, как я тебя сильно люблю, и хочу встречи с тобой наяву, моя Лю! Уйдут мои жалобы и мое дело в Москву, и обязательно разберутся во всем, не может такого быть, чтобы шлепнули безвинного, сейчас не то время. Я тебя вытащу на свободу, главное, чтобы ты сама это время держала себя в руках. Наша страна огромна, и каждый год мы с тобой будем ездить всегда в разные места, увидим все моря, побываем в горах... И всегда мы с тобой будем рядом, близко-близко...

«Добрый день! Я ничего не мог тебе написать, лег и уснул. Одним словом, мне сказали, Люда, чтобы я сам писал просьбу о сохранении жизни до выяснения обстоятельств дела...

«Цыганочка моя, здравствуй! Знаешь, я объявил голодовку, держу третий день и дважды открывал вены. Сегодня только-только пришел в себя и решил написать тебе. Голова кружится от слабости, а еще больше от собственного бессилия изменить ход событий...

«Людмила, вот ты много сидела, много повидала, а вот скажи, доводилось ли тебе хоть раз встречать человека, который сидит, а у него одновременно есть звание, допустим, как у начальника режима? И начальство считает, что он просто уголовник? А про журналиста, который хотел испытать, что чувствует приговоренный к смерти, ты не читала? Вот ты подумай хорошо и напиши, что ты чувствовала бы на месте этого человека и как ты все это себе представляешь, ладно? Целую тебя всю-всю-всю. Твой рыцарь».

## Почта «20-й комнаты»

# ОДИНОКАЯ ВЕРА

Ответ Андрею Новикову  
«Дилемма веры и свободы»  
«Юность», 1991, № 5

Так получилось, что я читал статью Андрея Новикова одновременно с «Бунтующим человеком» Камю. Кажется, Новиков вслед за Камю мог бы повторить: есть два человеческих универсума: благодати и бунта. Человек, потерявший чувство цельности мира, оказывается среди осколков, ранивших его своими острыми краями, и не может этого принять. Внешний Бог, сидящий где-то на облаке и оттуда посылающий Иову страдания, умер. Умер морально, даже если где-то сохранил бытие, и Иван Карамазов возвращает Богу билет на торжество всеобщего примирения. Новиков нашел для этого собственные слова:

«Верующий — дитя, поручившееся волей высшей. Неверующий — похож на подростка, в стремлении обрести свободу убежавшего от родителей. Он одинок и заброшен — именно таковы центральные понятия экзистенциализма. Он понимает невозможность вернуться назад — можно вернуться к родителям, но невозможно вернуться в детство...

Верно, нельзя. Но можно, пройдя через анализ, разорванность и раскол, искать нового, более глубокого, непосредственного переживания мира как живой вечности. Переживания, основанного не на доверии старшим, а на собственном открытии. Можно понять слова Христа: «Будьте как дети». Не буду громоздить примеры, а просто спрошу: где место пророка Исайи, Иисуса Христа, Гаутамы Будды в классификации Новикова? Явно не дети, но и не подростки, убежавшие от родителей. При подступе к «сильно развитой личности», готовой «отдать себя всю всем» (Достоевский), измеритель Новикова зашкаливает. Сильно развитая личность взламывает систему.

«Попытки возвращения к религии сегодня так же фальшивы, как попытки возрождения партий с кадетскими и эсеровскими названиями», — пишет Новиков. Верно, слушая с экрана телевизора, что Мария Магдалина поднесла пасхальное яичко кесарю Тиберию, чувствуешь фальшь. Но никак не могу согласиться, что «вера невозможна в стране, где отсутствуют те религиозные и философские категории, оперируя которыми — в процессе воспитания, образования, жизни — человек осознал бы свою внутреннюю гармонию и единство с мирозданием, свое происхождение и свое предназначение». Новиков думает, что вера — утешительная иллюзия, которая воспринимается, задается традицией, и не может быть веры одиночки, неоткуда ей взяться. Однако Гаутама Будда,

Иисус Христос, пророк Мохаммед нашли свою веру в совершенном одиночестве. Все три современные мировые религии авторские, основное ядро их было создано одним человеком. Это запись и осмысление личного опыта. Впоследствии, погрузившись в народное сознание, мировые религии приобрели фольклорное измерение, обросли легендами, мифами, которые разум ставит перед своим судом. Но никакой ум не может посягнуть на очевидность первоначального духовного факта. Можно спорить о природе этого факта, о возможности передать его словом. Все основные трудности были ясны здесь еще две с половиной тысячи лет тому назад, и Людвиг Витгенштейн (в своем «Логико-философском трактате») не сказал ничего нового сравнительно с Буддой: «Мистики правы, но правота их не может быть высказана: она противоречит грамматике». Отсюда — невозможность религии без смешения духа и буквы, без религиозных распрей и кривотолков. Не может быть совершенной религии. Но неверно, что не может быть никакой религии.

Религия начинается с одиночки. Иисус и Мохаммед решительно преобразовали традицию, Будда ее вовсе отбросил и никогда не говорил о Боге, утверждая только «Благородные истины» своего бесспорного личного опыта.

Слова, в которых выражен внутренний опыт, могут быть разными, и можно обойтись вовсе без слов — одной любовью к высшему образу. В Индии этот путь называется бхакти. Достоевский нашел его на каторге. Едва выйдя из «мертвого дома», он пишет Наталье Фонвизиной: «...Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа... Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной»...

С благодатью веры, как с благодатью музыки. Я сперва читал о настоящей музыке — и поверил, что музыка — огромный духовный мир. Потом пришло первое живое впечатление, первые пять минут, когда я слушал — и слышал! — «Лунную сонату». Потом я долго искал возвращения этих минут и не находил. Только лет через пятнадцать я вошел в мир музыки. Так же не сразу, отдельными рывками, я входил в мир созерцания, в мир молитвы (и сейчас еще не очень глубоко вошел, но не перестаю на старости лет искать, куда поставить ногу, чтобы сделать следующий шаг). Это не связано ни с каким катехизисом, ни с какими готовыми ответами на вопросы Иова. Я и сейчас не принимаю веры друзей Иова, поучавших его благочестию. Моя вера оставляет открытыми все болезненные вопросы — но выносит меня в иные минуты поверх вопросов.

Григорий ПОМЕРАНЦ



Кто ищет ночь  
тот должен считаться со звездами

Тиас

Тиас

Книги Тиас 1,2,3 - многообразие тем, оригинальное оформление.  
В трех томиках - стихи, афоризмы, рисунки, слова-картины.

Перевод с немецкого под общей редакцией Андрея Вознесенского,  
оформление и рисунки д-ра Ханса Фика.

Выпускается в твердом переплете,  
японские двойные страницы с тиснением и вырубками.

КВАДРАТ  
QUADRAT

СП "Квадрат"  
103009, Москва, Калашный пер. 10  
тел. 291-94-91, телефакс 095/230-22-14

DA Verlag Das Andere



Главный редактор  
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:  
Татьяна БОБРЫНИНА —  
редактор отдела прозы  
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ —  
редактор отдела культуры  
Натан ЗЛОТНИКОВ —  
консультант главного редактора  
Олег КОКИН —  
главный художник  
Михаил КУРКОВ —  
коммерческий директор  
Виктор ЛИПАТОВ —  
заместитель главного редактора  
Константин МИХАЙЛОВ —  
редактор отдела публицистики  
Эмилия ПРОСКУРНИНА —  
редактор отдела рукописей  
Анна ПУГАЧ — редактор  
отдела международной жизни  
Юрий САДОВНИКОВ —  
ответственный секретарь  
Александр ТКАЧЕНКО —  
редактор отдела поэзии  
Александр ХОРТ —  
редактор отдела сатиры и юмора  
Ирина ХУРГИНА —  
редактор отдела писем

**К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:**  
Редакция не рецензирует рукописи, а только  
сообщает о своем решении. Рукописи редак-  
ция не возвращает. Рукопись может быть воз-  
вращена только при условии предварительной  
оплаты автором почтовых расходов редакции  
на ее пересылку. Рукописи, присылаемые на  
дом работникам редакции, не рассматривают-  
ся.

Во всех случаях полиграфического брака в эк-  
земплярах журнала обращаться в издательство  
«Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137,  
ГСП, ул. «Правды», 24.

Технический редактор Ольга Трепенко  
Оформление рекламы  
Вадима и Владислава Игониных

Сдано в набор 03.06.91. Подп. к печ. 27.06.91  
Формат 84 × 60%. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Усл.печ.л. 11,68.  
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75  
Тираж 999 000 экз. Заказ № 591  
Цена 1р.75к.

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6,  
ул. Горького, 32/1.  
Телефон для справок — 251-31-22  
Отдел рекламы — 251-14-21

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции  
издательства имени В. И. Ленина  
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

© Журнал «Юность», 1991 г.



«Автопортрет». Холст, масло. 1989 г.



## Наталья ПАШУКОВА г. Москва

Пашукова — профессиональный театральный художник, окончила Московский художественный институт им. В. И. Сурикова еще в начале 70-х годов. Но не театр, а исключительно живопись стала судьбой Натальи Пашуковой — живопись самобытная по манере и содержанию.

Она работает очень быстро, ее активная творческая натура перенасыщена идеями, в ее сознании живет бесчисленное количество образов, рвущихся на холст. Это особый мир, фантастический и яркий; в нем живут странные существа — люди с лицом животных; мир народных поверий, буйных гуляний и цирковых буффонад. Очень многое в картинах исходит, наверное, из слышанного и виденного в детстве, ведь Наталья родилась в Ужгороде, на Западной Украине. И все-таки в ней живут отзвуки профессии — художника театра: ее живопись — это ощущение задника сцены, где персонажи — участники водевиля по сценарию художника.

Если кому-то видится в картинах Пашуковой беспечный, веселый лубок, то это не так. Ее живопись в основном драматична, если не сказать — трагична, особенно если вспомнить, какое время на дворе.



«Площадь № 2». Холст, масло. 1990 г.

«Мясо». Холст, масло. 1990 г.





# КРЕДО-АСПЕК

# ИСКУССТВО

# ПРЕВРАЩАЕТСЯ

# В ВАШУ ПРИБЫЛЬ



Коммерческое представительство КРЕДО—АСПЕК СП «АСПЕК»  
(СССР — ИСПАНИЯ)

предлагает вам на льготных взаимовыгодных условиях:

- новейшие фильмы — советские и зарубежные — на любой вкус с гарантией их прокатного успеха
  - все виды кинорекламы и оптимальные варианты сотрудничества
- КРЕДО — АСПЕК — это оперативность и точность в выполнении обязательств!

121883, Москва, пр-т Калинина, 19, телефоны: 291-72-69, 291-73-70